

Октябрь

Юрий Буйда

ДОМЗАК

Ильдар Абузаров

ВОЗ ДУШНЫХ
КОШМАРОВ

Дмитрий Пригов

НЕВЫНОСИМОСТЬ
ПОДОБНОГО

Дмитрий Стахов

ИЗДАТЫЙ
В ПОЛНЫЙ РОСТ

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

6 2004

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

| | |
|--|-----|
| Юрий БУЙДА. <i>Домзак. Роман</i> | 3 |
| Ирина ЕРМАКОВА. <i>Зерна гранита и зерна граната. Стихи</i> | 106 |
| Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР. <i>Два рассказа</i> | 110 |
| Ильдар АБУЗЯРОВ. <i>Воздушных кошмаров. Рассказ</i> | 119 |
| Герман ГВЕНЦАДЗЕ. <i>В Объятиях Призрака. Стихи</i> | 127 |

Нечаянные страницы

| | |
|---|-----|
| Дмитрий ПРИГОВ. <i>Невыносимость подобного</i> | 129 |
| Дмитрий СТАХОВ. <i>Изданный в полный рост</i> | 140 |

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

| | |
|--|-----|
| Геннадий ВДОВИН. <i>Памяти памяти. Главы из книги</i> | 145 |
| Сергей ФИЛАТОВ. <i>Типичная история, почти документальная</i> | 157 |

Кирилл КОБРИН.
Европейский поэт XX века 163

Панорама

Олег ЮРЬЕВ. И т.д. (Игорь Булатовский. Полуостров).* Алла БОЛЬШАКОВА.
Мытарства земные и небесные (Борис Евсеев. Отреченные гимны).*
Юлия ЧЕРНОВА. Русские в Германии (Die Russische Lirik).* Ирина НЕРОНОВА.
След в след (Афанасий Мамедов. Хазарский ветер. Афанасий Мамедов. Фрау Шрам).
Борис ХАЗАНОВ. Король умер. Да здравствует король! (Наталья Иванова.
Скрытый сюжет).* Борис КОЛЫМАГИН. Остров Крым и сад над ним (А.П.Люсый.
Крымский текст в русской литературе).* Анастасия ЕРМАКОВА. Потерянная связь
(«Paris – Париж. По-русски о Франции»). 172

Главный редактор
Ирина БАРМЕТОВА

Редколлегия:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Алексей АНДРЕЕВ | <i>зам. гл. редактора</i> |
| Инесса НАЗАРОВА | <i>отв. секретарь</i> |
| Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ | <i>зав. отделом критики</i> |
| Афанасий МАМЕДОВ | <i>исполнительный директор</i> |
| Павел БЕЛИЦКИЙ | <i>отдел прозы</i> |
| Инга КУЗНЕЦОВА | <i>отдел прозы</i> |

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский,
Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин,
Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов,
Людмила Петрушевская, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
500 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, 214-69-37,
отдел поэзии – 214-62-05, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-79-49,
приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь», 2004. Электронная версия журнала <http://magazines.russ.ru>.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Компьютерная верстка – Лидия Сеницына.

Подписано к печати 24.05.04. Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6.
Тираж 4020 экз. Заказ № 1428. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»,
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

Юрий БУЙДА

Домзак

РОМАН

Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти; потому что мы сделали позорищем для мира, для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии.

Первое послание Коринфянам, IV, 9-10

—Сто двадцать, – возразил старик, подняв свою бледно-желтую, словно отполированная латунь, широкую ладонь и строго глядя на внука, жадно доедавшего холодную курицу. – В монастыре, где впоследствии устроили Домзак, жительствоваало шестьдесят монахов. У каждого была отдельная келья. Совсем маленькая келья. Когда монастырь превратили в Дом заключения, мы впихнули в каждую по двое заключенных. В основном это были пересыльные: их собирали со всей округи и держали до тех пор, пока тюрьма не наполнялась под завязку. Тогда за ними приезжали и уводили на станцию – четыре километра к северу от реки. Ну а куда их потом увозили – одному Богу ведомо. Я просто сдавал их под расписку уполномоченному НКВД. И все. Остальное было его заботой. Мы же на скорую руку мыли камеры с хлоркой, чтобы принять новые партии осужденных. Иногда мы не успевали почистить камеры, и тогда приходилось заставлять новых зеков заниматься уборкой. Если не было хлорки – а такое случалось часто, – использовали толченую древесную золу. Летом еще ничего, а вот зимой руки к ведам примерзали – воду-то брали из проруби. Ты меня слушаешь, Байрон?

– Из проруби, – откликнулся внук, вытирая руки вафельным полотенцем. – Ты же рассказывал мне эту историю. Когда мне стукнуло шестнадцать, я сам спросил тебя об этом. То есть – правда ли, что заключенных Домзак сжигали в кочегарке? Будешь еще?

Он взял со столика узкогорлый стеклянный кувшин и налил себе полный стакан.

– Мне пока довольно. – Старик закурил папиросу, вставленную в длинный деревянный мундштук. – Сыт? – Пыхнул едким дымом дешевого табака. – Я помню, конечно. Многие в городе считали, что заключенных сжигали в тюремной кочегарке. Может, потому, что на станцию их перегоняли по ночам. Там, где сейчас ликеро-водочный завод стоит, была пустошь – по ней и гнали. Конвоиров было немного, да никто никогда и не пытался бежать. Куда? К родным? Так тогда любой родственник побоялся бы даже дверь открыть беглецу. Побоялся бы даже заговорить с ним. Да и брали нередко семьями, судили быстро, раз, два – и ты в Домзаке. Или в телеге под конвоем, если забирали из деревни. Это ж не Москва, чтоб показательные процессы устраивать. В столице-то судили самых матерых врагов народа, а здесь брали сочувствующую мелочь. Уцелевших интеллигентов с дореволюционным прошлым, бывших служителей церкви, кулаков и подкулачников... Хотя какие на наших серых землях были кулаки? Просто ме-

стные власти выслуживались перед Москвой. Татар брали за разжигание национализма, а уж если при обыске находили в семье Коран, накручивали срок на всю катушку. Русских... этих за все подряд брали...

Байрон не торопясь выпил самогон, настоянный на травах, и кивнул деду.

Старик Тавлинский позвонил ему ночью и сказал, что они непременно должны встретиться. А когда внук, с университетских пор бывавший в Шатове лишь изредка, не каждый год, попытался отговориться занятостью, Андрей Григорьевич проговорил своим четким металлическим голосом, в котором не было ни гнева, ни даже оттенка раздражения: «Вчера я понял, что начинаю умирать. Это не телефонный разговор. Я хочу, чтобы ты приехал немедленно. Пожалуйста». И положил трубку. Он никогда не шутил такими вещами. Не любил – и все это знали – разговоров о смерти. Лишь дважды побывал на кладбище: когда умерла жена – ночью после похорон, когда умер сын – через три дня, тоже ночью. Заговаривать в доме при нем о покойных было категорически воспрещено. После смерти жены он запер супружескую спальню, и только Ниле, поселившейся у Тавлинских, когда родились близнецы, разрешалось раз в год – обычно под Пасху – прибираться в комнате наверху, и всякий раз после этого старуха проносила одну и ту же фразу: «Душистое место. Лампадку я затеплила – пусть светится, пока масло не выгорит». И лишь однажды старик сделал исключение из правил, разрешив внуку, вернувшемуся из Афганистана, посидеть полчасика на стуле в простенке между окнами, рядом с высокой тумбочкой, на которой стояла фотография бабушки Алины Дмитриевны – женщины крупной, черноволосой, с красивым полноватым лицом и тонким изящным носом. Она была легка на ногу, скоро и ловка в движениях, и даже эта старая фотография, на которой Алина Дмитриевна была запечатлена в день своего пятидесятилетия, не могла скрыть обаяния ее легкой подвижности – может быть, причиной тому были тронутые улыбкой губы да живой, веселый блеск в глазах. Байрон даже не стал просить у деда ту фотографию, просто сам отправился в ателье, вместе с хозяином перерыл архив и отыскал негатив, с которого и сделал в Москве отпечаток. Это была единственная фотография, украшавшая его общежитскую комнату и пережившая обеих его жен.

Старик спал после смерти Алины Дмитриевны в кабинете на широченном кожаном диване или во флигеле, выстроенном одновременно с новым домом на ежевичном холме. К семидесяти годам у Андрея Григорьевича выпали все зубы, а в восемьдесят два начали расти новые – белые, ровные, узкие, придававшие его непривычному к улыбке лицу какую-то страшноватую свежесть. Чудо появления новых зубов вырвало старика Тавлинского из полусонного оцепенения, в которое он начал было погружаться, и в несколько месяцев он превратился из теряющего силы патриарха в энергичного хищника, безжалостного к конкурентам, и неукротимого бабника, который с трудом подавлял утробное рычание при виде голоногих девчонок из гимназии, стоящей напротив его конторы. Байрон только похмыкивал, слушая телефонные рассказы матери о скандальных похождениях девяностолетнего старца, который вновь, как в былые годы, завел себе любовниц по всему городу и району, предпочитая при этом женщин моложе тридцати. «А вдобавок эти малолетки, – вздыхала мать. – Ему уже два раза приходилось откупаться, иначе его потащили бы к Иисусу за растление несовершеннолетних».

Байрон, как и многие жители Шатова, привык думать о старшем Тавлинском как о существе бессмертном, способном к перерождениям, тем более неожиданным оказался для него ночной звонок старика, который – чужаку этого не понять – вопиал о помощи, звал, требовал; чтобы внук тотчас же прыгнул в машину и примчался в городок, бросил свой новехонький «Опель» посреди двора и, не умывшись и не перекусив (спасибо Ниле, притащившей во флигель холодную курицу, хлеб и виноград и ус-

певшей вскользь поцеловать Байрона в лоб), отправился во флигель, высившийся на ежевичном холме метрах в тридцати от дома, и, плюнув на все и вся, уселся перед стариком в роли внимательного слушателя истории, случившейся больше шестидесяти лет назад, историю, которую, пусть фрагментарно, он знал назубок, ну так что ж – придется выслушать еще раз, коль так взбрендилось – а вдруг и впрямь напоследок? – старому хозяину этого дома, этого города и всей округи, включая даже речку со странным названием Ста, об имени которой гадали все кому не лень, но так ни до чего и не догадывались.

– Сто двадцать, – повторил он за дедом. – Это случилось шестьдесят три года назад. Проклятый сталинизм и так далее. Кому сейчас это интересно? – Он улыбнулся. – Только мне.

Дед кивнул узкой, как у породистой лошади, головой, обритой наголо.

– Я понимаю, что ты имеешь в виду, – сказал он. – Когда я почувствовал слабость, какой еще никогда в жизни не чувствовал, я понял: это конец. И тогда стал думать... вспоминать... – Отхлебнул из своего стакана, понюхал хлебную корку. – Даже отца вспомнил... ну я тебе рассказывал...

Внук кивнул, снова закуривая.

– В истории каждой жизни, – все тем же ровным тоном продолжал старик, – есть тайная глава – или такая, которой до поры до времени не придаешь никакого значения, – но я предпочитаю говорить о тайной главе, в которой и записаны все главные прегрешения или благодеяния человека (чаще же вперемешку и то и другое). Во всяком случае – мои. И эта тайная глава – с какими угодно оговорками – и есть то, что есть этот человек.

– Ты, – сказал Байрон, глядя на деда сквозь табачный дым.

– Я. – Он помолчал. – История случилась в конце октября сорок первого года, когда немцы приблизились к Шатову на восемьдесят километров, а я не знал, как мне разместить новых заключенных. Война не повлияла на ту машину, изнутри которой в Домзак поступали осужденные. В июне, июле да вплоть до начала октября, когда над городом впервые заметили немецкие самолеты, летевшие на Москву, ко мне прибывали уполномоченные за товаром – так мы между собой называли зеков. Мы ж были арендаторами. В Домзаке люди надолго не задерживались. А тут машина дала сбой: о нас словно забыли. То есть новых людей присылали, но тут они и застревали, хотя численность их давно перевалила за двести. Камеры были битком набиты, зеки, особенно всякие калеки да больные, не успевали протолкаться к параше, ссали и срали в штаны. За два дня до прибытия того последнего уполномоченного к нам пригнали партию в пятьдесят человек. Мы загнали их в монастырскую церковь, где хранился уголь для кочеварки, и завалили дверь бревнами, потому что церковная дверь давным-давно не запиралась, не было никаких засовов, ни замков – кому они понадобились? – ничего не было. Не хватало продуктов – плановые запасы кончились, а подвоза не было. Я кое-как выпросил у городских властей немного хлеба – тем зеков и кормили. Мне еще предложили картошки, но я отказался: в переполненные камеры и миску нельзя было всунуть, а тем, которых загнали в церковь, охрана кидала буханки в окна. Стекол-то не было. Как они там в темноте отыскивали хлеб – не знаю. Слышно было только, как они руками разгребали уголь да ругались в крик. Тем же вечером я написал очередной рапорт по начальству, обрисовал ситуацию. А потом заперся в своем кабинете и напился. К черту рапорт, если курьеры у нас не появлялись, а по телефону я мог дозвониться только в Шатов. Думал: что делать с зеками, если немцы возьмут город? У меня было два взвода солдат – шестьдесят винтовок. Монастырь окружен пятиметровой стеной и соединен с берегом узким бревенчатым мостом – двум грузовикам не разъехаться. Мост можно было взорвать – динамит у нас был, мы же каждую зиму взрывали лед вокруг острова, чтоб никто не подобрался к стенам. А дальше? Что с зеками-то делать? Их же к тому времени двести девяносто четыре души

грешной набралось. Расстрелять? Но такого выхода никакие инструкции не предусматривали: мы же считались лишь арендаторами, то есть не было у меня приказа, позволявшего покушаться на права собственника. С тем я и заснул в кабинете на деревянном диване. Водку, правда, допил, а бутылку – от греха – в польную бросил. Проснулся затемно – дежурный в дверь барабанит: уполномоченный прибыл. Майор Синицкий с секретным предписанием. Коренастый такой, ходил враскоряку, как старый кавалерист, лицо скуластое, глазки маленькие, голос хриплый – вот и все, что запомнилось. Я вытянулся, рапортую, а он махнул рукой и бросил на стол конверт. Вынул я приказ, прочитал, расписался внизу – «ознакомлен», подпись, звание, дата. Из несгораемого шкафа достал список зеков. «Некоторые без имени-отчества, особенно из последних партий, товарищ майор, – докладываю. – Занесли в ведомость так, как значилось в сопроводительных документах». Он скривился – вроде как усмехнулся – и говорит: «Двести девяносто четыре заключенных. Когда управимся? К утру успеем?» «Если прямо сейчас начнем», – говорю. «Прямо сейчас и начнем. Где?» Я отвел его за церковь – там как раз перед войной длинный сарай из кирпича-сырца построили для хозяйственных нужд: пилы, ломы, топоры там хранились, упряжь лошадиная да прочий хлам. Синицкий приказал сей же час очистить помещение и подвесить к потолочным балкам керосиновые лампы. А пока мои солдаты занимались сараем, послал своего шофера в город с запиской. Шофер быстро обернулся, привез две десятилитровые бутылки спирта. Работа-то предстояла долгая да на морозе, – каждому солдату для начала по полстакана неразбавленного. Мы с майором прикинули, сколько времени уйдет на перемещение заключенных, на саму казнь да на уборку сарая от трупов, которые решили складывать между монастырской стеной и церковью, а если все не поместятся – у стены поблизости от главных ворот (были еще черные ворота, через которые тюрьма получала с барж уголь). Когда сарай расчистили, Синицкий шагами промерил его в длину – вышло, что можно одновременно ставить к стенке по двадцать пять человек. Двадцать человек из охраны с лопатами и кирками отправили через реку на пустошь – готовить могилу. Они с собой два ящика динамитных шашек прихватили: а вдруг земля закаменела? Я крикнул заместителю, чтоб выводили, а тот спрашивает: «Раздетыми?» Синицкий окрысился: «Они ж вмиг замерзнут – как ты их потом таскать будешь? А за одежду ухватиться можно – удобно». Опытный человек. Когда первых двадцать пять поставили лицом к стене, вдруг выяснилось, что лампы слишком низко висят. Ну да делать нечего – стреляли с колена. Били метров с трех-четырёх – не промахнешься. Позвали врача – доктора Лудинга. Он одной рукой – пальцем – очки на своем носу придерживает, чтоб не соскользнули, а другой проверяет, кто живой, а кто нет. Живых не было. Пока солдаты вытаскивали трупы, я Лудинга отвел в сторонку, к столу, на котором фляги со спиртом стояли. Спирт уже для удобства в три чайника разлили. Я ему из чайника стакан налил и заставил выпить. Исаак выпил и говорит мне: «На таком морозе что убитый, что тяжелораненный – все равно». Тело к телу укладывали боком – для экономии места. Пошла вторая партия. У нас в том проходе к сараю горел только один прожектор, но я разглядел, что многие в рот что-то суют. Подбежал к одному, дернул шнурок – изо рта с кровью крестик нательный вылетел. Откуда? Ведь тогда ношение нательного креста каралось, даже в крестьянской среде боялись носить кресты, а тут очкастый интеллигент. Ну да Бог с ним, не до того уже было. И этих одним залпом уложили. Синицкий с пистолетом в руке сам за Лудингом прошел вдоль убитых: все в порядке. Тут мой заместитель опять: «Товарищ начальник, а может, обольем их керосином, подпалим – и как не бывало?» Майор усмехнулся. «Чтоб одного человека дотла сжечь таким способом, несколько часов потребуются. А тут – триста почти. Голова! Химию в школе учить надо было лучше». В какой же школе такой-то химии учили? Я сам школу НКВД заканчивал, но там нас такому не учили. Да...

Байрон, не спуская взгляда со старика, налил ему в стакан самогонки.
– Сейчас ты, наверное, можешь сказать, были ли среди заключенных родители бабушки... твоей жены...

– Они провели в Домзаке дней пять, не больше. Их увезли задолго до войны.

В большой комнате было тепло: в огромном камине горели толстые дубовые и березовые плахи. Бра на стенах и расставленные полукругом торшеры под палевыми абажурами ярко освещали зальчик с низким столом, за которым устроились в креслах дед и внук Тавлинские, две широкие тахты, покрытые клетчатými пледами, и узкий журнальный столик в дальнем углу, заваленный бумагами. Деревянная лестница с широкими перилами, изогнутая дугой, вела на второй этаж, где в углу, под скатом крыши, помещалась старикова кровать с тумбочкой у изголовья. Между тумбочкой и кроватью – Байрон знал это – был спрятан топор с широким лезвием на длинной рукояти. Когда однажды он спросил деда, зачем ему тут топор, тот с обычной своей невыразительной улыбкой ответил: «Это на случай, если я вдруг новой жизни вздумаю возжелать. А как на Руси новую жизнь начинают? Родных – топором, дом – поджечь да и утечь в ночь, вручив судьбу Богу». Шутки у него были такие. А может, просто боялся: мало ли врагов у самого богатого в округе человека, добывавшего богатство не стесняясь средствами? Но все равно – топор казался какой-то особенно дикой деталью в этом домике, стены которого были украшены хорошими копиями гравюр Дюрера и Доре: Диана постаралась. Племянница Нилы. Байрон почувствовал, как погорячело сердце при мысли об этой тонколицей девушке, с трех лет жившей в доме Тавлинских.

– Соскучился? – без тени усмешки спросил старик, любивший демонстрировать свою пронизательность. – Ты ж ее года три не видел?

– Три. Или больше?

– Узнать узнаешь, но не поверишь: принцесса.

– А что с ногой?

– Выровняли в больнице. В Москве, конечно. И почти не прихрамывает.

Когда Нила принесла девочку к Тавлинским, выяснилось, что у малышки левая нога короче правой на четыре сантиметра. Теперь, значит, решились – раскошелились на операцию и лечение. Впрочем, одернул себя Байрон, старика можно было попрекнуть чем угодно, только не жадностью, особенно в отношении домашних.

Он встряхнулся, поднял стакан.

– Двести девяносто четыре, – напомнил он старику. – Как я понимаю, больше всего мороки было с очисткой сарая: все-таки двадцать пять трупов, поди-ка потаскай...

Тавлинский кивнул.

– Именно. Умучились. Если б не спирт, и вовсе попадали б от усталости. Завалили весь проход между стеной и церковью, потом стали оттаскивать к воротам – еще больше мороки... А уж когда дошло дело до тех, которых в церкви заперли... – Он махнул рукой. – Тут-то и оконфузились. Вытащили из церкви последних, затолкали в сарай, дали залп – и вдруг стена рухнула. – Он сделал паузу, уставившись на внука. – Я же говорил, что сарай сложили из кирпича-сырца. Говно, а не кирпич. А тут в него без устали молотят и молотят пулями. С трех-то шагов пуля из трехлинейки не то что одного – десятых насквозь пробьет, вылетит и еще воробья подшибет на лету. – Хмыкнул. – Вот стена и не выдержала последнего залпа – рухнула. Крыша накренилась, того гляди сарай завалится. Все растерялись, даже майор столбом замер. Стоим и смотрим на кучу кирпича, из которой руки, ноги, плечи, головы торчат, кто-то стонет – хаос! Я очнулся, велел быстро поснимать керосинки с балок и вытаскивать битых из завала. Сам таскал – рук не хватало. Даже майор со своим шофером вытаскивали. Кто смеется, кто матом материт, кто стонет... Наконец извлекли всех. Их девятнадцать было – последняя партия. Стонущих штыками прикололи. Лу-

динга отправили к чертовой матери, пользы от него никакой: напился свински, да и вообще слабак...

Он выпил и с удовольствием выдохнул.

– Умеет же Нила из простого самогона нектар сделать.

– Как же вы их вывезли? До пустоши-то – если с мостом считать – не меньше километра.

– Поменьше. А все равно целая эпопея вышла. У нас четыре лошади да четыре фуры с высокими бортами. За один раз около ста человек загрузили – и вперед. Охрана следила, чтоб трупы за борт на свалились, да не уследили – один соскользнул с кучи и упал с моста на лед. Его веревкой обвязали и на берег выволокли, так и тащили до самой пустоши. Земля сверху морозом схвачена, так что первая ездка прошла ничего себе, лошади тянули будь здоров – хоть и в гору. Прибыли на место. Там яма была, из которой в старые времена глину брали. Глиняный пласт бедный оказался – под ним песок, вот яму и забросили. Солдаты ее динамитом и вручную подрастили и углубили. Туда и свалили покойничков. Следующие рейсы были тяжелее. Лошади копытами землю размолоти до песка, стали вязнуть... Э, долго рассказывать. Уже на востоке засерело, когда последнюю партию привезли. Этих разложили аккуратно поверх прежних – чтоб холм не образовался. А потом по периметру ямы заложили динамит, рванули – песок внутрь обрушился. Даже ровнять не пришлось. Теперь там крест поставили, отец Михаил, который в береговой церкви служит, раз в год на том месте молитвы поминальные читает. Народу мало собирается: расстрелянные все больше из дальних деревень и городков были. Приходил он ко мне, спрашивал, какого числа это случилось. Я сказал. Бесплатно служит. У него там дед лежит – настоятель Вознесенского монастыря, который после разгона монахов скрывался по лесным деревушкам. Долго скрывался, даже удивительно, как долго: после московских процессов люди как пошли доносы строчить друг на дружку – ого! А его берегли. Взяли летом, уже война шла вовсю. Случайно взяли. Дезертиров ловили – уж больно много их, чертей, оказалось – и наткнулись на этого архимандрита Гаврилу Никонова. Сначала в нашей НКВД держали, а потом ко мне – в Домзак. Он дольше всех у меня просидел. Других еще увозили, а на него разрядки все не было и не было. Может, забыли о нем, не знаю. Астма у него была, я все думал, что он сам собой концы отдаст, да вот, видишь, дождался. Слово нарочно. А может, и нарочно, ты не смейся...

– Не смеюсь, – сказал Байрон.

Старик с усилием поднялся из кресла, прихватил прислоненную к стене кочергу и, присев на корточки, принялся ворочать обгорелые плахи в камине.

– Все силы собрал, чтоб дожидаться мученической смерти, – проговорил он не оборачиваясь. – Теперь ему молятся. Святым стал – официально. Новомучеником. – Прислонил кочергу к каминной решетке. – Тебе сны страшные снятся, Байрон?

Внук напрягся, но промолчал.

Старик вернулся в кресло, закурил.

– Ты вот в Афганистане воевал, людей убивал. И в Чечне людей убивал. Они тебе снятся? Ты же крещеный.

– Тебя ведь после тюрьмы тоже на фронт отправили, тоже, наверное, врагов убивал. Фашистов. Но они же тебе не снятся.

Дед поморщился.

– Какой там фронт! Я в заградотряде служил, да и то полгода, пока не отозвали по службе. Я не в фашистов стрелял – в спины своим, чтоб не отступали...

– Да знаю я, что такое заградотряды. – Байрон с трудом подавил вспыхнувшее вдруг раздражение. – Снятся мне страшные сны, и знаешь, какой самый страшный? Когда меня в госпиталь под Грозным привезли с оторванной ступней, бросили на каталку и укрыли какой-то простыней. С го-

ловой укрыли. И я как будто в другой мир попал. Лежу – боюсь пошевелиться, а вокруг какие-то звуки, голоса, и я вдруг понял, как дважды два: так мне и лежать до скончания века. – Дернул плечом. – Мне тогда показалось, что я под этой простыней несколько дней пролежал. Несколько жизней прожил. Долго рассказывать, да и не хочу. Страшно. Потом оказалось, что пролежал я под простыней всего-то несколько минут, пока операционную готовили. А я себе напридумывал!.. Жуть. Под пулями такой жути не испытывал. Страшнее страха. Вообще никаких чувств. Просто – брошен и забыт, а люди продолжают другой какой-то жизнью жить, в которой меня как будто и не было. И уже не будет. А пройдет сколько-то лет, думаю, кто-нибудь случайно заглянет под простыню и скажет: «Выкиньте это – это – куда-нибудь». И зевнет – и дальше пойдет.

– Ну и фантазии у тебя. – Старик неодобрительно покривился. – Офисер. Не хочешь рассказывать – не надо. Я ведь тебя не за этим позвал.

Внук прищурился.

– Они тебе снятся? Все эти безропотные бедолаги с крестиками во рту... – Он перевел дух. – Ты же крестился на старости лет, вроде бы в Бога уверовал, вот оно все и...

– Цыц, – не повышая голоса, остановил его старик. – Бога трогать не будем. Он сам по себе, я сам по себе. Верующий из меня хреноватенький, скажу тебе честно. Да и в церковь ходить не люблю. И в загробную жизнь, Байрон, не верю. Вся жизнь здесь, и только здесь нам воздается по заслугам, только здесь имеют значение все наши грехи и благие дела. Потому что только здесь ты человек, а после смерти ты никто. Так, добыча мелких хищников. Но это уже не ты, не человек с живой душой, а кусок мяса на живодерне – вот и вся Божья добыча.

– В душу, значит, веришь? В бессмертную свою?

– А вот про это ничего не знаю, а когда думаю – ни до чего не додумаюсь. Хотя предполагаю, что вряд ли душа бессмертна. Если она есть... Скорее всего – нету ее. Есть инстинкты, мысли, слова и поступки. Я прожил почти сто лет, был дважды женат, похоронил обеих жен и сына, твоего отца, испортил жизнь другому сыну – Ване, у меня было много женщин, очень много, в последние лет пятнадцать-двадцать прожил внутри большой жизни еще одну, сам себе царем стал...

– И всея Шатовского района...

– Не язви, не надо. Я построил дом, фирму, сколотил капитал, взял все в свои руки. Есть что вспомнить и чем гордиться. Есть чего стыдиться... Но вот тот расстрел в Домзаке стыда у меня почему-то не вызывает. Он просто снится и снится. Понимаешь? Просто так снится. Не потому, что мне стыдно, а потому только, что я во всем том участвовал. Был бы верующим – страшно было б перед Богом представлять. Но этого-то я как раз меньше всего боюсь. И нет такого человека, который пришел бы ко мне сейчас или даже перед смертью и сказал бы: ты виновен. Чтобы искренне сказал, а не потому, что сталинизм – зло. Я бы еще понял, если б ко мне вдруг родственник какой-нибудь заявился – сын, внук или правнук расстрелянных тогда, – но ведь никто не заявился. И не заявится. Тогда мне казалось, что я все понимаю. Линия фронта рядом, фашисты вот-вот возьмут Шатов, а у нас тут врагов народа полон рот. Я ж не сомневался в том, что они все были врагами народа. Ну, конечно, это тебе не Троцкий с Бухариным, не Зиновьев с Каменевым – охвостье. Ведь не могут же крупные враги существовать без тайных и явных дружков, у которых тоже есть дружки – еще мельче. Опилки. Мусор. А тут чрезвычайная ситуация: война, фронт все ближе. Так что сомнений у меня не было: справедливое дело сделали. И я долго так думал, очень долго. А потом косяком – ночь за ночью – пошли эти сны...

– А! – догадался Байрон. – Детали! Кирпич, тусклый свет, руки, стоны – это?

– Это. Событие казалось воплощением железной необходимости, таким, знаешь, стальным шаром – без трещинок и вмятин. А эти детали... то

есть моя душа (назовем уж это душой) растащила цельное событие, факт, который можно просто обозначить одним словом – «расстрел», – на детали, детальки, кусочки, просяные зернышки... Все рассыпалось в прах. И возьмешь отдельную какую-нибудь детальку – видишь: абсурд. Абсурдичесимус! Несколько месяцев – вообрази только! – пытался вспомнить клички тех четырех коняг, которые таскали фуры с трупами. Лебедь, Рак и Шука – вспомнил. А как же четвертого звали? Как? Чуть не свихнулся.... но так и не вспомнил... А зачем я это вспоминал? Я было решил, что съезжаю с ума, да спохватился – выкинул этих лошадей из головы, я это умею. Выкинул – и все. Или вот тоже – все убивался мыслью: почему фитили в лампах прикрутили? Керосин-то у нас был. Почему же решили сэкономить на освещении того сарая? Какой смысл был в той экономии? И кто приказал? Помню, солдаты еще жаловались на темноту в сарае, а я на это и внимания не обратил. Какой такой свет нужен, чтоб не промахнуться с трех шагов? А эта вонь в камерах и в церкви! Мы после расстрела дня три или даже четыре с утра до вечера говно убирали, полы драили, сарай тот разбирали – кирпичи в аккуратные кучи складывали. Зачем? Все событие распалось на мелочи, которые дробились на какие-то оттенки, но не исчезали, напротив – разрастались эти мелочи до размеров не только самого события, но чуть ли не до вселенских масштабов! Иногда мне казалось, что вся тайна моей жизни, а значит, и смысл ее сводятся к забытой кличке четвертой лошади. Тут не совесть, а всего-то – лошадь. А? Я жил себе своей жизнью, гулял с детьми, строил дом, владел женщинами, и не вспоминалось ничего, потому что жизнь – штука захлестывающая, электрическая, текущая, но внутреннее мое «я» подспудно жило всем этим абсурдом, который наполнялся непонятным мне смыслом, тяжелея, как беременная баба, и неизвестно было, что она там еще родит... черт знает что! Все люди живут двойной жизнью, внешней и внутренней, но моя внутренняя жизнь внутри себя таила какую-то третью, сверхвнутреннюю, совершенно непознаваемую...

– Ты никогда не считал это чувство, ну, например, чувством вины? – пробормотал Байрон.

– Да нет же! В том-то и дело! Я бы понял, что это такое, если б это было чувством вины, но в чем не грешен – в том не грешен. Я много, очень много читал, ты знаешь, и много думал о том, что читал, так неужели ж я мог до такой степени отупеть, чтобы не почувствовать вины? В других-то случаях – во всех других случаях – чувствовал. Не хотелось признаваться в этом, прятался от себя, но рано или поздно признавал: виноват. А тут шестьдесят лет прошло – и ничего. Значит, тут что-то другое... абсурд... Может, это-то и есть настоящее имя Бога? Да нет, это из какой-то книжки... я читал... не помню...

– Ты устал, – сказал Байрон. – Может, отложим разговор, а завтра...

– Никаких завтра не будет! – вскинулся старик. – Накурили тут... Поднимись туда, открой окно.

Байрон взбежал по лестнице, с усилием налег на рычаг – окно поднялось до жестяного козырька, и сразу стал слышен шум дождя, начавшегося, когда он только подъезжал к Шатову, и хлынул влажный душистый августовский воздух. Он вздохнул. Потер виски. Голова начинала разбалчиваться.

– Ты не уснул там? – крикнул Тавлинский. – Сейчас дым вытянет – полегчает.

Вну спустился к камину, подбросил в огонь несколько смолистых плах.

– Налей-ка по полной! – скомандовал дед. – Я звонил твоему врачу. Позавчера. Он был со мной откровенен.

– И сколько он мне отпустил? – неприязненным тоном поинтересовался Байрон.

– От моего прямого вопроса он уклонился. Сказал, что поначалу они подозревали какую-то редкую форму саркомы...

– Это было еще в прошлом году.

– Так точно. Не перебивай меня, пожалуйста. Доктор сказал, что эти подозрения окончательно не отпали. Врачей беспокоит состояние твоего костного мозга и проблемы кровообращения. Все это, вместе взятое, они и считают причиной опухоли. Во всяком случае, они убеждены в том, что это не простой отек...

– Ну да, – засмеялся Байрон. – Эта нога, черт бы ее взял, опухает у меня раза три-четыре в год, и всякий раз они делают большие глаза. Наше здоровье!

Он выпил самогон залпом.

– По возвращении в Москву тебе назначат химиотерапию, – продолжал дед. – Может быть, речь пойдет о новой операции.

– Догадываюсь, – мрачно откликнулся Байрон. – Они хотят оттяпать ногу по колено. Стоит только начать... – Махнул рукой. – Я все знаю. Дай твою папироску. – Пыхнул дымом. – Друзья устроили мне консультацию в Германии. Диагноз хуже, чем думают мои гуманные врачи. И срок короче.

Дед выпил с закрытыми глазами и только после этого спросил:

– Год?

– Или меньше.

Старик понюхал куриную косточку, фыркнул и швырнул ее в камин.

– Месяц назад я обследовался в Москве. Я почувал, что дело нечисто, и так оно и оказалось.

– А чего ко мне не заехал?

Старик пожал плечами.

– Кардиомиопатия. Запущенная, разумеется. Не пить, не курить, диета, полный покой и так далее и тому подобное. Максимум – полтора-два года.

– Да ты богач, – вяло усмехнулся внук.

Тавлинский-старший опустил голову.

– Байрон, это несправедливо. Ты не прожил и половины срока, который отпущен мне...

– А, ты об этом... Справедливость тут, увы, не при чем. В Чечне меня могли убить дважды. Первый раз во время зачистки одного села километрах в тридцати южнее Грозного. Я там находился в своем официальном качестве – как следователь военной прокуратуры. А пришлось ввязаться в драку. Столкнулись с боевиками. Крутая вышла заваруха. Подобрал автомат убитого бойца и отстреливался, как в Афгане. Когда же все вроде закончилось и начали эвакуироваться, откуда ни возьмись – пацан с гранатометом. Пацан и старуха – она его то ли защитить пыталась, то ли за обломок стены затолкать, чтоб мы не засекали. А он вскинул гранатомет и поверх ее плеча прицелился в БМП, в которую раненых подсаживали. Никто не видел пацана, кроме меня. Если бы он выстрелил, машина накрылась бы вместе с ранеными и живыми. Я убил обоих. Выпустил в них весь рожок, чтоб не жалеть задним числом. С боем вырвались из того села, еще сколько-то народу положили. Как в Афгане. Там ведь мне пришлось раненного командира заменять, выводить своих из ущелья. В Чечне, видишь, все в точности повторилось: командир тяжело ранен, я взял командование на себя – как старший по званию. Прорвались. Отделался легкой контузией. А через неделю нарвался на пехотную мину на окраине Грозного. Саперы сказали, что я правильно прыгал, иначе вообще без ноги остался бы. Да и яйца оторвало бы. Нас всех подстерегает случай.

– Вот именно. – Старик поднял голову. – Хаос, абсурд, белиберда рассобачья. Я так не хочу. Не хочу, Байрон. Я не в силах выкарабкаться из абсурда, но могу и должен сам поставить точку в этой истории. Чтоб не остаться просто-напросто тенью ее. Истории, я имею в виду. Все мои жизни текли по каким-то правилам. Одни я принимал и подчинялся им, другие не принимал, но подчинялся, потому что нельзя было иначе, третьи я не принимаю и не желаю им подчиняться. Единственное разумное деяние, на которое я еще способен, – поставить точку. По своей воле.

– Это очень даже по-русски получается, – глухо проговорил Байрон. – В Бога я не верю, а последним моим поступком станет карикатура: я этому вашему Богу язык покажу. Где-то я про это читал. Разумеется, у Достоевского...

– В «Бесах», – уточнил старик. – Но русскому ли человеку оглядываться на Бога, если он, даже верующий, всю жизнь на начальство оглядывается? А теперь-то... теперь и вовсе не на кого оглядываться и некому язык показывать. Бездна вокруг, и лететь в этой бездне можно бесконечно и бессмысленно.

– И хочется.

– Видишь ли, я тут задумал...

– Покончить с собой, – сухо сказал Байрон. – Чтоб замкнуть круг абсурда и остаться в нем навсегда.

Старик помолчал.

– Когда я вернулся домой после расстрела, жена и дети спали. Раннее утро было. Я тихонько разделся в прихожей и остановился в растерянности: приказ выполнен, все в порядке, но... Как будто в машине что-то заклинило. И тут из своей комнатенки выскользнула Нила. Сколько ж ей было – двенадцать? тринадцать? а может, четырнадцать? – не помню. Глянула мне в лицо, схватила за руку и потянула. Я за ней – как мертвый. Она воды согрела, помогла мне умыться, расчесала... Тут-то я и попытался – первый раз в жизни – рассказать о том, что произошло. Путано, скомканно, о многом, конечно, умалчивая... А она мне: «Бог все видит, не бойся». Чего мне бояться? А она все твердит: не бойся да не бойся, и дотвердилась до того, что во мне бес взвырвал. Схватил я ее в охапку, сжал, смял... она в одной рубашонке была... крепенькая такая... такой грудастенький и жопастенький лягушонок... Изнасиловал. У меня много женщин было... разных... Но такой, как Нила – та Нила, – никогда не было. Ни одна женщина не вызывала во мне такого бесовского желания... разорвать ее хотелось... изувечить... – Старик помолчал. – И помирать буду – ее тогдашнюю вспомню, потому что она меня спасла. Спасла. Знаешь, может, это как-то даже полудоедски сейчас звучит, но во всей той истории случай с Нилой оказался единственным моим человеческим деянием. С годами понял: единственным подлинно человеческим. А остальное – явление технического порядка. Понимаешь?

– Кажется, да, – тихо ответил внук. – Во всяком случае, после Нилы ты уже мог вернуться к жене и детям человеком. Ты это имел в виду?

– Я мог жить дальше. И вот дожил до того дня, когда должен опять совершить что-то подлинно человеческое.

Байрон попытался улыбнуться, но ничего у него не получилось. Оскаллился – и все.

– Значит, – хрипло сказал он, – тебе опять Нила нужна. Поэтому ты и позвал меня. Но ведь я никого никогда не расстреливал. И даже не присутствовал при смертных казнях.

Старик достал из кармана халата связку ключей, бережно положил на стол.

– Никакая женщина, будь она хоть трижды, хоть растрижды Тавлинской, не отважится на такое. – Он смотрел в глаза внуку, и взгляд его был тверд, как лед. – Ты выслушал меня, ты все знаешь...

– Не все, – возразил внук.

– Остальное – узнаешь. Вот. – Он прижал указательным пальцем головку ключа. – Это от сейфа в моем кабинете. В домашнем. Отпирается этим ключом, а внутри большая шкатулка – для тебя. Нижний отсек открывается просто: нужно набрать мой год рождения – девять, ноль, семь. Сам увидишь. Стрелять нужно в упор. Лучше в висок. Только разбуди меня, прежде чем... Словом, обязательно разбуди меня перед этим.

– Я еще ничего не решил, – проговорил Байрон, с трудом выдерживая прямой взгляд старика. – Да и с чего это ты решил, что я соглашусь?

– Я не жду помощи ни от Бога, ни от людей... от других людей... Ты – единственный, кто может мне помочь.

– Это потому, что и мой срок отмерян?

– И потому – тоже. Ты должен меня понять. – Он вдруг улыбнулся. – Ты же и сам думал, как покончить со всем этим одним махом. Не ждать, пока тебя подсадят на морфий, не хвататься за соломинку, а вот так, разом. Иначе какого черта было столько жить? Чтобы в корчах, говне и соплях сдохнуть, так ничему и не научившись? Подумай. Возьми ключи и подумай. Необязательно принимать решение немедленно. Я готов ждать. А тебя прошу ответить только – да или нет. – Он встал. – Теперь я пойду спать. Устал. Иди, Байрон, с Богом.

Внук встал, сунул связку ключей в карман, растерянно огляделся.

– Может, окно закрыть? – предложил он, не глядя на старика. – Простуду схватишь...

– У меня пуховое одеяло. Спокойной ночи. Не забудь включить сигнализацию. Моя – седьмая кнопка, черный ход – третья. Дождь, правда, а в дождь она барахлит...

– Да она у вас уже сколько лет барахлит – и в дождь, и в сушь...

Старик стоял перед внуком прямо, сунув руки в карманы. Лицо его было бесстрастно и непроницаемо, взгляд же не выражал ничего, кроме усталости.

– Спокойной ночи, – сказал Байрон, направляясь к двери.

– Перчатки не забудь, – напомнил старик, глядя внуку в спину. – Отпечатки пальцев должны быть только мои.

Дождь, кажется, усиливался. Байрон поднял лицо и постоял несколько минут неподвижно, прислушиваясь к ночным звукам. За рекой взбреднула и тотчас умолкла собака. Ей никто не ответил. Только шумный шелест дождя, струи которого переливчато блестели на черепицах крыши флигеля, острым конусом возвышающейся над деревьями. Он дождался, когда старик погасит свет, и, пригнувшись, быстро зашагал по мощеной дорожке к дому, держа путь на круглый фонарь, горевший над входом в кухню. Взявшись за литую дверную ручку, окинул взглядом двор. Будка у ворот никла под дождем напоминанием о давно издохшем ротвейлере. Его «Опель» кто-то заботливо укрыл брезентом. Гараж был рассчитан лишь на две машины – матушкин BMW и легендарный линкор старика – лимузин ЗИС-111, якобы подаренный ему самим Хрущевым, лично принявшим решение о закрытии тюрьмы на речном острове. (Рассказывали, что глава правительства со свитой приехал на знаменитую тогда Шатовскую шубно-меховую фабрику, чтобы лично заказать охотничий полушубок, а заодно и познакомиться с провинциальным городом. К тому времени дед дослужился до полковничьих погон. Хрущев был в хорошем настроении, и кто-то – только не Тавлинский – решил потешить главу государства историей Домзака. Выслушав рассказ о расстрелянных и сожженных в кочегарке врагах народа, Хрущев расвирепел. «Только дураки и паникеры могли пойти на такое! – якобы прокричал он в ярости. – Неужели кому-то могло в голову прийти, что мы сдадим Шатов и откроем немцам еще одну дорогу на столицу? Энкаведешники! Берия расстарался, конечно! Первый был среди трусов и паникеров!» Тогда же, не сходя с места, он и распорядился закрыть Домзак, а начальнику тюрьмы: «Да тебе еще баб валять, полковник! Здоров, как бык! Подыскать ему настоящую работу!» И подыскали: на следующий же день назначили председателем правления районного потребобщества. А заключенных – кого на волю (если оставалось сидеть менее полугода), кого в другие тюрьмы. В монастыре же после небольшой реконструкции поселили тех, кто мыкался в прибрежных бараках. Люди были рады: в тюрьме жизнь была организована лучше, чем на воле, – работал водопровод, отопление, туалеты. Сорок семей, получивших жилье, три дня праздновали новоселье с таким размахом, что сожгли дотла конюшни и

лесопилку: тюрьма поставляла строителям обрезную доску и столярку – дверные и оконные блоки, балки для перекрытий и прочий товар).

Через этот вход, считавшийся черным, можно было попасть в кухню или же, сразу сдав направо, подняться по узкой лестнице на второй этаж, где располагались спальни детей, занятые теперь Дианой, Байроном и его двоюродной сестрой – «двоюродной любовью», как он ее называл, Оливией. Спальня, предназначавшаяся Ивану Тавлинскому, дяде Ване, была закрыта на ключ, как и супружеская спальня на третьем этаже, где единственной жилой комнатой была спальня Майи Михайловны Тавлинской, матери Байрона. Кабинет деда был встроен между спальнями на втором этаже, над большой гостиной. Нила занимала комнату на первом этаже – ближе к кухне.

В доме было тихо, темно и прохладно: старик следил за тем, чтобы температура в доме не превышала восемнадцати градусов, а в спальнях – шестнадцати. Зимой и летом, – все равно. И еще он не выносил скрипучих лестниц и дверей, поэтому при строительстве дома нанял специального старичка (из какой-то деревни привез), который с молоточком, топориком, стамеской и связкой клиньев и клинышков, обмотанных берестой, недели две прослушивал дом, каждую лестницу и каждую дверь, и, если обнаруживал дефект, стучал молоточком или пускал в дело топорик и стамеску. В результате старый Тавлинский добился своего: поставленный на кирпичный цоколь трехэтажный деревянный короб, разгороженный на комнаты и службы и пропитанный какой-то особой противопожарной смесью, не откликнулся ни на тяжесть человеческой поступи, ни на сезонные колебания температуры. Раз в две недели старик обходил дом с масленкой и тряпичной, смазывая дверные и оконные петли.

В кухне звякнуло стекло.

– Нила?

– Это я, сынок, я. – Байрон узнал голос дяди Вани. – Рюмочку спустил-ся выпить – не спится.

– Да заberi ты кувшин к себе, чтоб не шастать в темноте. А я пойду. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, сынок, спокойной.

Байрон в темноте пробрался к панели сигнализации, нажал третью и седьмую кнопки. Все двенадцать маленьких лампочек на пульте разом вспыхнули и погасли. Чертыхнувшись, он отключил сигнализацию, снова включил и снова нажал третью и седьмую. Лампочки замигали. В сердцах захлопнул дверцу пульта.

Напольные часы в кабинете нежно пробили три часа, когда Байрон, распахнув двустворчатую дверь, ощупью – тяжелые плотные шторы не пропускали сюда свет уличных фонарей – пробрался к письменному столу и нашарил выключатель настольной лампы. В углу за тумбочкой, на которой поблескивали гранями высокий графин и большие стаканы, расставленные кругом – вверх доньями – на чистой салфетке, темнел выступающий из стены сейф. Байрон отпер дверцу, присел и, пыхтя, вытащил из глубины шкафа тяжелую шкатулку, украшенную висячей сургучной печатью. Трижды крутанул телефонный диск, набирая номер 907, и потянул на себя толстую дверцу нижнего отсека. Взял в руки револьвер, проверил барабан: заряжен. Сунул револьвер в карман и, взяв шкатулку под мышку, вышел из кабинета. Захлопнув за собой створки двери, чертыхнулся: настольную лампу забыл выключить. Но возвращаться не стал. Во рту пересохло, хотелось одного – выпить и заснуть.

Толкнув дверь ногой, он ввалился в свою комнату и едва удержался на ногах, споткнувшись о дорожный баул. Присел на корточки, кривясь от боли в ноге, поставил шкатулку и расстегнул сумку. Не глядя вытащил бутылку, со скрипом отвернул пробку, понюхал (слава Богу – виски) и сделал солидный глоток, потом еще один. В груди потеплело. Он рывнул и, выг-

нувшись, полез в карман за сигаретами. В этой неудобной позе и замер, уставившись на крупную фигуру, укрытую с головой одеялом.

– Наконец-то, – хрипловатым спросонья голосом проговорила Оливия, вдруг вынырнувшая из-под одеяла и встряхнувшаяся всем телом, как собака после купанья. – Привет, герой. Или ты кого-то другого ожидал встретить в своей постели?

– Привет, – прошептал он. Откашлялся. – Никого. Хочешь выпить?

– Хочу. – Она села на постели, опершись спиной о подушку. – Как тебе моя грудь?

– Лучше не бывает. – Он с трудом поднялся с пола и протянул бутылку Оливии. – Оставь мне.

– Старик умучил? – Она приложилась к бутылке.

– Я сейчас. – Он сел на кровать, отстегнул протез, снял носок, хмыкнул. – Из-за всей этой кутерьмы я даже душ не успел принять. Извини.

Она провела ладонью по его бугристой широкой спине.

– Ничего, как-нибудь вытерплю. И не такое терпела. – Снова глотнула виски. – Только чур – никаких разговоров об инцесте. Терпеть ненавижу. Старухи брешут – караван идет.

Он тихо рассмеялся. Отнял у нее бутылку.

– Три года, – сказала она. – Я ждала тебя три года. Поэтому не обижайся, если я кончу первой.

– Постараюсь. – Байрон поставил бутылку на пол. – Господи, да ты вся мокрая! Потная... – Уткнулся носом и губами в ее влажный живот. – Ино поплыли, Оливия, по рекам райским...

– Нет, – прошептала она, шаря руками по его животу. – Давай я сама... сама, Господи, я сейчас закричу или зареву!.. Как мне плохо было, вонючий мой!

Они жили в старом доме и Байрону шел шестнадцатый год, когда дядя Ваня – в семье о нем говорили только шепотом или вовсе не поминали – вернулся из тюрьмы. Этот рослый широкоплечий мужчина в сером пальто и серой же кепке с пуговкой, вяло улыбавшийся всем, даже ротвейлеру Бризу, оказался мирным, мягким человеком с замедленными и вместе с тем пластичными движениями. Если в комнату кто-то входил, он непременно вставал в ожидании то ли приветствия, то ли приказа. Первым делом он спросил Байрона, нравится ли ему Чехов, а когда мальчик стал перечислять прочитанные рассказы, уточнил: «Я имею в виду его пьесы. Это очень необычные произведения. Советую». «Что же в них такого?» – удивился Байрон, с трудом одолевший скуотищу «Вишневого сада». «Воздух», – кротко ответил дядя. А вечером, за ужином, после рассказа Нилы о замужестве сестры, которого она не одобряла («Изменять ей будет – как пить дать. У него и отец такой был, и дед»), дядя Ваня, изменившись в лице, слезливо проговорил: «Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству!» Взрослые засмеялись, а Майя Михайловна, все ждавшая чего-то с плохо скрытым напряжением от Вани, – громче всех. «Дядя Ваня, – сказал дед, глядя на недоумевающего Байрона, – процитировал реплику обалдуя Телегина из пьесы Чехова «Дядя Ваня». Похоже, ты выучил Антон Палыча наизусть». Сын только рассеянно улыбнулся.

В доме Тавлинских дядя Ваня прожил месяца полтора, и все это время, мальчик чувствовал это, в семье нарастало напряжение и ожидание какого-то важного события. И напряжение и ожидание явно были связаны с дядей Ваней, которого дед каждый вечер вызывал в свой кабинет, где они подолгу беседовали. Иногда в этих таинственных беседах участвовала Майя Михайловна. Днем дядя сидел в своей комнате и здорово смущался, когда Нила приходила звать его к обеду. «Книжки читает, в окно смотрит или спит, – ответила она на вопрос Байрона. – Ты его не бойся. И зря он хочет сменить фамилию. Он не позор семьи – он беда семьи. Он

никогда не был плохим человеком. А ошибаются даже ангелы – прости, Господи».

История, стоившая дяде Ване пятнадцати лет тюрьмы, случилась за год до рождения Байрона, но, и дожив до сорока, он узнал только одно: его дядя до смерти занасиловал какую-то девушку. Несовершеннолетнюю. Изнасиловал и задушил. Ему грозила высшая мера социальной защиты – расстрел, но он сразу во всем сознался, взял всю вину на себя и тем самым, как обронил однажды дед, если и не спас честь семьи Тавлинских, то постарался причинить как можно меньше ущерба ее репутации. «Взял всю вину на себя? – удивился тогда Байрон. – Значит, были и другие подозреваемые?» «Придет время – спроси у него сам, – сказал дед. – Просто я чувствую себя настолько виноватым перед ним, что боюсь касаться подробностей того дела – даже в разговоре с тобой».

А через полтора месяца по выходе из тюрьмы дядя Ваня покинул Тавлинских. Старик купил ему дом в Заречье, в деревушке, выросшей позднее в поселок ликеро-водочного завода. Говорили, впрочем, что никакой покупки не было: старик женил сына на хозяйке дома, чтобы одним выстрелом двух зайцев убить. Андрей Григорьевич частенько навещался к миловидной молодой вдове, которая таки понесла от него. Прикрывая свой грех, старый козел женил бесхребетного Ваню на этой самой Лизе Чаликовой, а что до денег, так это были отступные. Не прошло и семи месяцев, как Лиза родила девочку, которую называли Оливией, и это тоже вызвало пересуды: старик дал чудное имя единственному внуку, теперь вот у Байрона появилась – пусть незаконная – сестра с чудным именем Оливия. «Кривые толки! – отмахнулась Нила. – Уж я-то знаю, что Байрона именовала сама Майя. А насчет настоящего отца Оливии одному Богу ведомо. Да и неужто Ванюше не хватило бы сил объездить кобылку? Людям – лишь бы ветер пожевать». Байрон высокомерно отмалчивался, когда одноклассники строили предположения насчет Оливии и дяди Вани – впрочем, соблюдая при этом осторожность: младший Тавлинский в драке был стоек и безжалостен.

После ухода отца из семьи «к этой шлюхе домзаковской», как говорила Нила, после его случайной и нелепой смерти (упал на мосту пьяный в приступе эпилепсии – утром, когда спешил в школу, – и был задавлен тяжелым грузовиком, за рулем которого сидел непротрезвевший водитель) Байрон лишь изредка звонил в Шатов – матери либо деду, но домой не приезжал. И только после того, как рухнул его первый брак и бывшая жена, невзирая на все его ухищрения (лишь в суд он не стал обращаться), отказала ему во встречах с их сыном, Байрон стал проводить отпуск в Шатове. Развод резко осложнил его продвижение по службе, да вдобавок к тому времени умер главный его покровитель – тесть, служивший в Главной военной прокуратуре в генеральском чине. Его держали на мелкой уголовке, и он подчас спасал от провала самые гиблые дела, но к делам о коррупции в высших эшелонах военной власти, на которых многие делали карьеру (или ломали шею), Тавлинского и близко не подпускали. Он застрял в капитанах, в то время как иные из его сверстников успели сменить шапки на папахи. После второго развода на нем и вовсе поставили крест. Возвращаясь со службы, он запирался на три замка в своей пустой квартире (четырёхкомнатную квартиру на Чистых Прудах, подаренную тестем и не оспоренную первой женой, он продал и переехал в двухкомнатную в Орехово-Борисове) и, отключив телефон, напивался в одиночку, пока не падал замертво.

Приезжая в Шатов, он даже с близкими держался высокомерно-замкнуто, избегая участливых взглядов матери и напряженно-испытующих взоров старика. Щеголявший своим умением с одного-двух взглядов разгадывать любую шахматную задачу, скрупулезно собирать факты и виртуозно их комбинировать, он и себе не хотел признаваться в том, что жизнь его пошла как-то не так, не туда, а попросту говоря – в провал, в круг бессмысленного существования. Лишь однажды старику удалось вызвать его на откровенность, но и тогда обстоятельного разговора не получилось. «Рано

отчаиваться, – начал Тавлинский-старший, – ты еще не прошел земную жизнь до середины...» «Но оказался в сумрачном лесу, – с усмешкой подхватил игру Байрон, – утратив правый путь во тьме долины». Старик лишь покачал головой, уже тогда обритой наголо («Бильярдный шар – значит, шар, а не куриное яйцо в пухе и перьях»). «Если мне память не изменяет, наш Алигьери в той долине обрел благо навсегда». «Девочки заждались. Пойду-ка я, если не возражаешь».

Тем летом он играл с девятилетней Дианой в шахматы и учил ее плавать. На речку хромоножка отваживалась выбираться только с наступлением вечера, место выбирали подальше от чужих глаз. Она без визга входила в воду по грудь и доверчиво обхватывала его за шею, если ему взбрело прокатить ее на себе до середины реки. К тому времени дед уже выстроил новый дом, поражающий воображение шатовцев, три четверти которых ютились в деревянных избушках, разгороженных фанерой на комнаты, украшенные картинками от конфетных коробок. В новом доме Диане выделили комнату с видом на реку. Иногда вечерами Байрон читал ей книжки на сон грядущий. Нила посмеивалась: «Цыпленок-то мой, Динка, говорит, что вырастет и выйдет замуж за Байрона». «Байрон умный, – тотчас откликнулась Майя Михайловна. – Уж он-то найдет способ вовремя разочаровать принцессу».

Иногда же он без всякой цели гонял на подаренном дедом мощном мотоцикле по шатовским окрестностям, выбирая дороги погаже или и вовсе забираясь в район песчаных холмов за рекой. Здесь вполне можно было свернуть шею, и Майя Михайловна нервничала, беспокоясь за сына-сумасброда и шестнадцатилетнюю Оливию, составлявшую ему компанию в гонках на выживание. Обхватив Байрона руками покрепче, девушка прижималась к нему своими твердыми большими грудями и громко стонала, когда мотоцикл с нарастающим воем проваливался в песчаную ямину, из которой по кривой, срывая пласты песка вперемешку с лепешками мха, вылетал на сыпучий гребень. Тут Байрон притормаживал. «Страшно?» «Оргазм!» – кричала в ответ Оливия. И они снова срывались вниз – на этот раз в ложбину, дно которой поросло плесневелой травкой и хлипкими кустиками черной ольхи. «У-у-у!» – стонала девушка. – Газу! Газу!» И они на всем газу вылетали в поле, посреди которого высилась столетняя липа с огромным дуплом, в котором могли уместиться пять человек и собака. «Почему собака? – спросила Оливия, задыхаясь, когда они, оставив мотоцикл снаружи, спрятались в дупле от внезапно обрушившегося ливня. – И разве липы живут до ста лет?» «Реже редкого, – ответил Байрон, рывком снимая рубашку через голову. – Если стоят в одиночку среди поля, как эта. А вообще-то жизни липовой – лет тридцать-пятьдесят». «Отвернись, – сквозь зубы велела Оливия. – Я тоже хочу разнагишаться. Раз, два, три!» Байрон и не подумал отворачиваться. Они поцеловались. «Только не откуси мне язык, – пробормотала Оливия, опускаясь на слой сухой теплой трухи и не выпуская его руки. – Чур я сверху...» Когда они, потные и с ног до головы вывалявшиеся в древесной трухе, в унисон замычали и Оливия вытолкнула из пересохшего разверстого рта: «Еще раз!», вдруг все вокруг потемнело, а через мгновение осветилось ослепительно-голубым светом. Раздался оглушительный треск, и они потеряли сознание. Очнувшийся первым Байрон вытащил Оливию из-под навала веток. Правое плечо ее было обожжено. Он дал ей пощечину – девушка открыла глаза. «Молния! – закричал он. – В нас попала молния!» «А я думала, это такой оргазм, – еле ворочая языком, выговорила она. – Настоящий». Он разгреб ветки, отыскал обе рубашки, кое-как одел Оливию, усадил ее на мотоцикл, отброшенный ударом молнии в поле, но неповрежденный, и, вырвав на глухое шоссе, отвез ее в больницу. Позвонил домой. Через полчаса примчалась на машине Майя Михайловна. «Ничего страшного, – успокоил ее врач. – Молния добралась до нее самым кончиком. Ожог плюс шок. Повязку мы наложили, сделали укол – часа через два она проснется». Мать обернулась к

Байрону. «На ней твоя рубашка». «Перепутал в суматохе, – спокойно ответил сын. – Ты сама ее заберешь или мне дожидаться?» Его отправили домой. Оливии было строго-настрого заказаны мотоциклетные прогулки. А Байрон через два дня уехал в Москву: отпуск закончился.

На исходе следующего года началась Первая чеченская война, завершившаяся для Байрона производством в майоры и новой попыткой наладить семейную жизнь, которая, однако, продлилась лишь одиннадцать месяцев.

Оливия же, едва закончив среднюю школу, вышла замуж за мастера с трикотажной фабрики – Михаила Звонарева, известного весельчака и выпивоху. Родители были против, но девушка и слышать ничего не желала. Когда же в дело вмешался старик Тавлинский, она ему прямо сказала: «Отец мне не указ, потому что пьяницы мне вообще не указ (к тому времени дядя Ваня, слезший с таблеток, на которые подсел в тюрьме, стал пить тихим бесконечным запоем). Мать – тоже. На старости лет пошла в монахини, а в молодости – весь город знает – чего только не вытворяла. Если же правда, что вы мой отец, то в таком случае вы мне и подавно нет никто и звать никак: тайком сблудовали, а от дочери – отказались». И в завершение разговора заявила, что беременна. Сыграли свадьбу, и вскоре в положенный срок Оливия родила мальчика, умершего почти тотчас: у него не было черепной коробки и части мозга (акрания и гемицефалия, как было записано в медицинском заключении). «Скорее всего, – сказал доктор Лудинг несостоявшейся матери, – это результат генетического нарушения. Наследственность. В семье Тавлинских никаких отклонений не было: Лудинги наблюдают их больше ста лет, так что вы уж мне поверьте. Насчет же Звонаревых не могу сказать – они в Шатове после войны появились. Надо бы поинтересоваться, да вот захотят ли отвечать – вопрос...» Оливия заплакала без слез: «Какая у них может быть наследственность, если они из поколения в поколение всю свою генетику пропивали».

Муж встретил ее из больницы пьяный, со слезами на глазах, но Оливия слезам не поверила – жестоко избила полубесчувственного Михаила скалкой и не пустила под одеяло. Наутро муж похмелился и прибил ее так, что она две недели не выходила из дому, стыдась показываться на людях с синяками под глазами. Развернулась война, прерывавшаяся редкими и краткими перемириями. Оливия спасалась учебой в финансово-экономическом колледже, задерживаясь на занятиях допоздна, чтобы по возвращении домой – а жили молодые в Домзаке – рухнуть без сил рядом с пьяным мужем, глотнуть снотворного, которым ее тайно снабжала Майя Михайловна, и обесчувствовать до рассвета. Дело шло к разводу, но помешал случай. Однажды во время пьяной драки молодые выбежали на галерею второго этажа, Оливия вернулась от удара, пихнула Михаила обеими руками в грудь, и тот, перевалившись через перила, упал спиной на булыжник, которым был вымощен двор Домзака. В больнице он провел два месяца под капельницей, пока спинномозговая жидкость не приобрела естественный цвет и прозрачность, однако из больницы Оливия вывезла его в инвалидной коляске: у Михаила отнялись ноги. «Сука, – сказала пьяная свекровь, потрясая двустволкой. – Теперь слушай мою команду: если увижу, что ты его обижает, пристрелю. А вернется младший из Чечни, он тебе за Мишку отомстит по полной программе». Оливия словно окаменела. Она по-прежнему училась в колледже, но теперь не задерживалась на занятиях: дома ждали муж-инвалид, свекровь да вернувшийся с армейской службы Виктор Звонарев. К измученной красивой золовке он отнесся сдержанно, чтобы не сказать – сочувственно. Правда, однажды все же высказался: «Брат для меня всю жизнь вместо отца был. Пример для подражания, герой и все такое. А теперь он полужверь-получеловек, и это случилось не без твоего участия. Ты скажешь: он виноват, пьяница одичавший, и мне тут возразить нечего. Но все равно он моим родным братом был и останется, Оливия. Обижать я тебя не стану и другим не позволю, но привета

от меня не жди». Этот жилистый ловкий парень с суженными, как от нестихающей боли, глазами, цыкнув на мать, установил новый порядок: по субботам и воскресеньям брал на себя все заботы о вечном пьяненьком брате-инвалиде, отпуская Оливию к родным. В доме Тавлинских она отсыпалась, нормально ела, вечерами сидела с Майей Михайловной и Андреем Григорьевичем у камина в большой гостиной, потягивая через соломинку простенький коктейль собственного изобретения – душистый самогон пополам с соком красного винограда. Старик, поглядывая на нее, думал о чем-то. Майя Михайловна гладила ее плечи, ноги, грудь – так они и засыпали обнявшись в гостиной на широком диване.

Старик не сидел сложа руки. Именно он предложил невестке нового шофера-телохранителя – Виктора Звонарева. Именно он купил на свое имя недостроенный дом одного бандюгана, бросившегося в бега после убийства милиционера. Дом был доведен до ума и подарен Оливии – правда, знали об этом лишь несколько человек, умеющих держать язык за зубами. Она по-прежнему жила в Домзаке, делала мужу уколы, кормила предписанными таблетками и даже бегала за водкой. Выезжая в коляске на прогулку – по двору и за ворота на поросший травой мыс, Михаил привязывал к животу бутылку, из которой через трубочку «подмлаживался» водочкой. Той весной Оливия, как всегда, вывезла Михаила на мыс. По реке с шумом шел лед, и она боязливо держалась подальше от обледеневшего края обрыва. Что потом случилось – мало кому известно. Люди слышали выстрел: как оказалось, это упившаяся Надежда Звонарева выстрелила в открытое окно утиной дробью по Оливии. Виктор вырвал у матери ружье и принялся ее вязать полотенцами, а когда она вырубилась, позвал Оливию. Соседи видели ее: после выстрела она кинулась в Домзак и спряталась под галереей. Выглянув в окно, Виктор увидел, что на мысу пусто, и бросился вниз. Оливия – за ним. За воротами быстро собралась толпа. Следы колес вели к обрыву. Михаила никто не видел. Кто-то утверждал, что темное пятно вон на той льдине – его шапка. Цыганка Румыния клялась, что видела каких-то двоих незнакомцев, которые после выстрела быстро бежали по мосту в сторону ликеро-водочного завода. Ринулись туда, но ни на пустоши, ни на продуваемой ветром дороге незнакомцев не заметили, а заводские охранники только руками разводили: «Были б чужие – мы б заметили».

Так в одночасье и стала Оливия вдовой.

На следующий же день старик Тавлинский увез ее из Домзака на своем легендарном лимузине ЗИС-111 – больше ее на острове не видели.

Только летом узнали, что живет она то у Тавлинских, то в собственном домике в районе кинотеатра «Марс», и, когда ночует в том домике, покой ее стерегут молодцы с бычьими затылками – с такими лучше не связываться. Еще во время учебы в колледже она занимала какую-то неприметную должностишку в компании старика Тавлинского. Получив же весной диплом, стала вдруг членом совета директоров ликеро-водочного завода. Говорили, что старику Тавлинскому удалось таки перехитрить шатовскую водочную мафию и завладеть на законных основаниях блокирующим пакетом акций предприятия. Как это произошло, никто в городе не знал, зато все заметили, что на похоронах старика Таты, отца братьев-близнецов, контролировавших доселе прибыльнейшую шатовскую водку, первой у гроба, спрятав лицо в букет черных роз, стояла Оливия.

А недели через две после похорон ни с того ни с сего случился пожар, за два часа сожравший ее дом у «Марса». Оливия наблюдала за отсветами пламени на низко плывших облаках с галереи дома Тавлинских. Она прихлебывала мятный чай из тонкой чашечки и даже не слышала громкого шепота Майи Михайловны, звавшей ее спать...

Байрон очнулся и, глянув на часы, застонал. Только полпятого. Он нашарил горлышко бутылки и сел. Окна уже светло-серые. Дождь, кажется, поухит. На тумбочке у изголовья стакан. Вверх дном на чистенькой сал-

фетке, как это заведено у Нилы. Сердце колотилось, во рту – будто толченого угля наелся. Бульканье виски в глухой тишине дома показалось особенно громким. Стоп. Одна таблетка и полстакана пошла – этого хватит на полтора-два часа глубокой дремы. Как раз то, что нужно. В шесть он встанет под душ, потом проглотит еще одну дозу, но уже без таблеток, что-нибудь насоро сжует и с револьвером в кармане отправится во флигель. Дед, конечно, и виду не покажет, но обидится и наверняка попросит подумать еще разок. Он же предложит ему свой вариант.

Наконец-то в голове зашумело, тяжелые веки опустились. Он устал в этой шумной толпе. Устал от нескончаемого гула. От страшной пустоты, только кажущейся неосязаемой. На самом деле об нее можно до смерти ушибиться. Шум, гул, шлепанье босых ног – звук, удаляющийся, сливающийся с дыханием раздраженной толпы.

Омерзение было таким сильным, что подпираемая сзади толпа, тупо стремившаяся к лестнице, которая вела из узкого тоннеля к выходу на платформу, вдруг остановилась, закричала, заругалась, словно проклятия могли что-то изменить, – на ступеньках, лицом к людям, раскорячилась обмотанная лохмотьями женщина с задранной выше лиловых колен юбкой, из-под которой била струя мочи. Самые нетерпеливые, продолжая ругать этих чертовых беженцев, засравших Москву, прижимаясь к стенам и отворачиваясь, бросились наверх, норовя поскорее миновать это чудовище, как вдруг и раздался взрыв. Никто не понял, что произошло. Слово граната, разорвавшая грязную бабу в ключья, находилась у нее в животе. Но явно не в руках, которыми она поддерживала юбку. Ключья мяса и брызги крови ударили во все стороны – в стены, в потолок, в лица. Обтянутая синей тряпицей рука упала в лужу мочи. На мгновение Байрон замер, уставившись на судорожно сжимавшиеся пальцы с криво обкусанными ногтями, но тут его толкнули, кто-то диким голосом взвопил: «Шахиды!», и он побежал в беснующемся и ревущем стаде вверх по лестнице. Кто-то упал. Сверху к месту происшествия пытались прорваться милиционеры, размахивавшие дубинками, но охваченные паникой люди не обращали на них внимания. Всеми безраздельно владело лишь одно желание – поскорее убраться с этого места, выбраться наверх, туда, где не разит мочой, кровью и тошнотворной гнилью внутренностей, которые блестящими петлями расплескались по гранитным ступеням и стенам. Охая и заполошно вскрикивая, люди слепо стремились к эскалаторам и поездам, не соображая, похоже, куда бегут...

Оказавшись на улице, он метнулся в узкий промежуток между газетным киоском и телефонной будкой. Опустился на корточки, зажмурился, выдохнул. Боже. Жив.

Наконец ему удалось вытряхнуть из мятой пачки сигарету и закурить. Надо было взять себя в руки. Немедленно. Упорядочить мысли и обуздать чувства. Тпр-ру! Что произошло? На его глазах только что погибла пьяница – отечное лицо с коричневыми вислыми подглазьями, лиловые колени – синяк на синяке – и криво обкусанные ногти... Хватило нескольких мгновений, чтобы навсегда запомнить черты этой погибшей представительницы московской фауны. *Lebensunwertige Leben*. Он вздрогнул, вспомнив ее оторванную руку, пальцы, судорожно сжимавшиеся в кулак посреди лужи мочи. Не похоже, чтобы в нее бросили гранату. При таком взрыве – в узкой трубе короткого тоннеля, битком набитого возбужденной живой человеческой, пострадали бы десятки людей: осколки, взрывная волна... Быть может, гранату или какое-то другое взрывное устройство она прятала за пазухой? Кто знает.

Вернувшись домой на такси, он отыскал початую бутылку и выпил одним духом из горлышка. В спальне едва хватило сил раздеться. Лег. Наверное, он был слишком возбужден происшествием в метро. Стоило закрыть глаза, как он вновь оказывался в тоннеле, метрах в пяти от лестницы, ведущей на платформу, в раздраженной толпе, лицом к лицу с жуткой бабой,

которая, раскорячившись на верхней ступеньке, мочилась под ноги людям. А потом – взрыв. Словно очень-очень громкий всхлип. Влажный всхлип, изнутри разорвавший человека в клочья. Не взрыв, но всхлип. Кому она была нужна? Кому мешала или угрожала эта вконец опустившаяся бабища, вызывавшая лишь омерзение, брезгливость, разившая мочой, веч но пьяная, забывшая, может быть, и имя свое, и пол, и возраст? Странно: неужели кто-то и впрямь подсунил ей в тряпье бомбу? Просто так, беспричинно? Все может быть: этот город пропитан злом, как кусок хлеба в чае – водой. Эти дома, фонарные столбы, улицы...

Сердце вздулось, как переполненный мочевой пузырь, и он проснулся. Поворочал головой на мятой влажной подушке и сел на кровати. Не было никакого метро, ничего не было. Просто очередной кошмар, который всемогущий господь сновидений подсовывает ему каждую ночь вместе облаков, красиво змеящихся женщин или хотя бы тараканов. Лучше тараканы, чем эта кошмарная метрополитен-опера с беженцами, мужчинами, которые всякий раз узнают в нем какого-то опасного знакомого, и детьми, падающими замертво там, там и там...

На часах – без малого шесть. Пора.

После теплого душа он тщательно вытерся огромным махровым полотенцем, натянул высокие носки, осторожно всунул обрубок ноги в протез, застегнул пряжку на икре – она служила страхующим креплением, накинул на плечи халат и поднялся к себе, вспоминая, что сказал ему на прощание этот немец, главный врач ортопедической клиники Джонатан, кажется, Курц: «С нашими протезами, Herr Oberst, пациенты с парашютом потом прыгают».

Одеваясь, он тихонько напевал, одновременно прислушиваясь к звукам просыпающегося дома. Револьвер он сунул за брючный ремень сзади, надел короткую кожаную куртку. Повел плечами. Налил виски в стакан, выпил и с сигаретой в зубах вышел на внешнюю галерею, обтекавшую дом на уровне второго этажа. Из подземного гаража легко выехала и резко остановилась перед воротами темно-синяя BMW. Ворота без скрипа поехали вбок, и в этот момент к машине подошли Майя Михайловна и Оливия. Обе разом оглянулись и радостно замахали руками. Байрон ответил им шутовским поклоном, прижав руку к сердцу.

– Мы боялись тебя разбудить! – крикнула мать. – Увидимся вечером, да? Дед, наверное, совсем замучил тебя разговорами.

Оливия молча улыбалась.

Байрон послал ей воздушный поцелуй.

Женщины сели в машину, которая тотчас сорвалась с места и, стремительно выписав вираж, умчалась, скрылась за деревьями.

В кухне он расцеловался с Нилой – «Хоть и не молодеешь, но – хорошеешь. Клянусь. Диана еще спит, наверное?» – и устроился за столиком у окна, смешав табачный дым с паром, поднимавшимся от чашки с мятным чаем.

Нила села напротив.

– Ты теперь свою Диану не узнаешь, – с улыбкой проговорила она. – Хорошенькая стала – страх и страсть! Только вот в больнице вся извелась. Поживи-ка на таблетках!

– Обезболивающее, – кивнул Байрон, прихлебывая горячий чай. – Надо отвыкать, не то втянется – никакой нарколог не поможет. Чур, чур меня! И ее.

– Джинсы-то ты ей привез?

– Ага. Думаешь, велики будут?

Нила усмехнулась.

– Ты ее ляжки еще не видел.

Он встал, снова закурил.

– Еще налюбуюсь.

– Капризная стала, взбалмошная. По весне вдруг с Федор Колесычем взялась по ночам бродячих собак отстреливать. Хозяин как узнал... – Нила покачала головой. – Разбушевался, а она – тоже. Путаешься, кричит, под ногами, сами жить не умеете и другим не даете. Принцесса!

- Принцесса, – улыбнулся Байрон, уже взявшись за ручку двери.
- Засранка, – уточнила Нила.
- И это правда.

Было солнечно и ветрено, с деревьев летели капли воды, и хорошо, так хорошо дышалось.

Байрон поднял руку, приветствуя неспешно шествующую тушу – Александра Зиновьевича, дедова шофера.

– Это ты мою колымагу брезентом закрыл?

Старик остановился, широченное его лицо с узкими глазками расплылось в улыбку.

– А кто ж еще! Ты к хозяину? Пора, пора – заспался!

Махнув рукой и чуть согнувшись под тяжелой от влаги кроной молодого дуба, уже поднимавшего корнями плитки мощеной тропинки, Байрон толкнул дверь флигеля и замер на пороге. Что за черт! Откуда этот запах? Бензин. Бензином разило всюю. Пахучая жидкость разлилась небольшой лужицей на полу в шаге от погасшего камина. Ступени лестницы, ведущей наверх, блестели. Он тронул пальцем, нюхнул: бензин.

– Дед! – позвал Байрон, ступив сбоку на нижнюю ступеньку. – Ты жив там, нет?

Молчание.

В несколько прыжков он одолел лестницу, шагнул к тахте и остановился. Взялся рукой – Господи, почему рука дрожит? – за край одеяла, потянул. Выпрямился. С хрустом в шее повернулся к окну. Закрыто.

– Вот тебе и точка, дед, – прошептал он. – Ну и точка.

Плотно прикрыв за собой дверь флигеля, он, не разбирая дороги, зашагал к своей машине. Обдирая пальцы, кое-как освободил «Опель» от брезента. Извлек из-под сиденья сверток и быстро взбежал по парадной лестнице, хлопнул дверью и остановился только у комнаты Дианы. К двери была прикинута бумажка со смешной рожицей и надписью: «Ищу героя!» Не до того. Он постучал. Еще раз – нетерпеливее и громче.

– Ага! – раздался голос Дианы за спиной. – Отутбил!

Он поймал ее в охапку, поцеловал в нос, в губы, в лоб – «Богинюшка-матушка! Ай да ты!» – и бережно опустил на пол. Она была в халате, от нее пахло кофе – только что отзавтракала.

– Диана! – Он открыл перед нею дверь. – Все остальное потом, сейчас мне позарез нужна твоя помощь («Господи, как она похорошела, в самом деле!»). Это надо спрятать. – Он протянул ей сверток. – Это мой пистолет. Взял с собой на всякий случай – мало ли что в дороге случается. Пронесло, а теперь его надо хорошенько заныкать. Можешь? Можешь. Сейчас здесь будет полно милиции...

– Да погоди же! – сердито крикнула она, забирая сверток. – Конечно, спрячу, о чем речь! Ты стрелял в кого-то?

– Нет, дело не в этом. Я не стрелял. – Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание, выдохнул. – Деда убили. Ножом или топором, не знаю. Я сейчас буду звонить в милицию. Не хочу, чтобы они к этому (кивнул на сверток) прицепились. Я из него сто лет не стрелял, но он «левый». Понимаешь? Держал дома на всякий случай... из Чечни привез...

– Кто убил деда?

– Ума не приложу. Верить?

– Конечно. Когда? Ты ж с ним всю ночь провел.

– До трех часов. После трех я уже спал в своей комнате. Мы договорились встретиться утром, чтобы обсудить одно дело... одно важное для него дело... Потом расскажу. А сейчас не задавай больше вопросов, пожалуйста.

Спрячь это хорошенько. Дом обыскивать вряд ли будут, но чем черт не шутит... А потом я тебе все в подробностях расскажу.

Он уже успокоился. Даже улыбнулся Диане.

– Нила говорит, что ты страх как похорошела. Врет. Слов таких нет... но я поищу...

Она ответила ему напряженной улыбкой.

– Я тебе верю, Байрон. Иди звони. Про мать не забудь.

Он кивнул и быстро вышел из комнаты.

Уже оказавшись в дедовом кабинете, он вдруг пожалел о том, что отдал ТТ Диане. Глупость какая-то. Нелепейший поступок перетрусившего мальчишки. Перетрусившего ни с того ни с сего. За годы службы в военной прокуратуре ему доводилось видеть и не такие трупы. Это произошло здесь. Выпил. Произошло в нескольких шагах от постели, на которой они с Оливией – может быть, как раз в те минуты, когда кто-то убивал деда, – кувыркались до полного изнеможения. Или после того, как она ушла, или когда он очнулся после метрополитен-кошмара. Произошло, по сути, в родном доме. И жертвой стал родной человек, который годами заменял ему отца, никогда при этом даже не намекая на особую свою роль в жизни внука. Да еще после рассказа о Домзаке. Он успел поделиться с ним тайной. Быть может, лишь частью тайны. Объективно – она не имела никакого отношения к убийству, но так уж странно сложилось, что убийство как-то само собой стало составной частью тайны и истории Домзака.

Он вынул из кармана мобильник, набрал номер.

Мать ответила не сразу.

– Извини, милый, – пропела она запыхавшимся голосом, – рабочий день я начинаю с массажа и только что...

– Возвращайся домой. Деда убили.

Он выключил связь. Закурил. Теперь можно и собак будить. Набрал 02.

Он вышел во двор, машинально отметив, что воздух стал теплее. Его колотило, но руки – он по привычке вытянул их перед собой – не дрожали. Достал из внутреннего кармана куртки плоскую стальную фляжку и дважды, без передыха глотнул. Завинчивая пробку, услышал ленивое подвывание милицейской сирены. Однако первой из-за деревьев появилась машина матери. Байрон не двинулся с места, когда темно-синий автомобиль затормозил, едва не коснувшись бампером его колен.

– А твой водитель – ас. – Он обнял мать, взял за руку Оливию. – Такие дела, хорошие мои.

Мать заплакала в голос, обхватив сына руками. Оливия прислонилась к его плечу.

– Где он? – почему-то шепотом спросила она.

– Во флигеле. Идите в дом. – Он подтолкнул их к крыльцу. – Идите же.

Первая милицейская машина въехала во двор, вторая остановилась на улице.

Начальник милиции подполковник Кирцер – Байрон знал его еще участковым – приобнял внука старинного приятеля, похлопал по спине.

– Собрался, видишь, на пенсию, да вот тебе пенсия. Где он? Там? – Бросил через плечо своим людям: – Во флигель! И чтоб аккуратно мне там! – Посмотрел участливо на Байрона. – Я позвонил мэру – он, конечно, в шоке. Расстроился, да и понятно. А вот и «скорая».

Из белого микроавтобуса с красным крестом на борту выпрыгнул доктор Лудинг. Кирцер рукой показал, куда идти. Лудинг кивнул обоим и заспешил к флигелю.

– Пойдемте в дом, Евсей Евгеньич, – пригласил Байрон. – Может, по рюмочке?

– А вот и мэр. – Кирцер обдернул китель, шагнул навстречу сухопарому рослому мужчине в темно-синем костюме, который легко выпрыгнул из «Мерседеса» и быстрым подсакивающим шагом направился к ним. –

Здравия желаю, Иван Анатольевич. Опергруппа работает на месте преступления. В прокуратуру сообщили. – Он шагнул в сторону, представляя Байрона. – Тавлинский Байрон Григорьевич, внук Андрея Григорьевича. Подполковник военной юстиции.

– Бывший. – Байрон пожал горячую, сухую руку мэра. – Пойдемте в дом. Там Майя Михайловна и... пойдемте...

Майя Михайловна, Оливия и Диана – все уже в черном – ждали их в большой гостиной. Байрону показалось, что лица их обрамлены каким-то странным лиловатым ореолом. Сердце его билось тяжело и редко, и с каждым ударом тело тяжело, наполняясь болезненной тьмой. Что-то со зрением, подумал он, когда заговорил мэр. В голове тихо и противно ныло и звенело. Фигуры и предметы в поле его зрения как будто слегка сместились: некоторые утратили четкость очертаний, другие обесцветились, и уже через несколько мгновений все вокруг стало черно-белым – ни одного цветного пятна. Черно-белое и колеблющееся серое. Голова кружилась. Голос мэра доносился до него как через подушку. Бесшумно подошедшая Нила взяла Байрона под руку – он качнулся.

– Я сообщил губернатору об этом прискорбном для всех нас происшествии, и губернатор просил, во-первых, передать вам свои искренние соболезнования, а во-вторых, взял это дело под личный контроль... Уважаемая Майя Михайловна, надеюсь, что этот удар судьбы...

Звук пропал. Байрон со страхом неотрывно смотрел на шевелящиеся губы мэра, но ничего не слышал. Он с усилием повернулся к Ниле – та отшатнулась, но тотчас выхватила из нагрудного кармана платок и протянула Байрону.

– У тебя кровь...

Он прижал платок к носу, запрокинул голову, ужас захлестнул его, встряхнул и отпустил.

Оливия вскрикнула, обернувшись на шум.

Байрон лежал лицом вниз на полу, далеко откинув руку с окровавленным платком.

Мэр запнулся, растерянно оглянулся. Его шофер и помощник подхватили бесчувственное тело и положили на диван у камина лицом вверх. Байрон закашлялся, лицо его мгновенно осунулось и побледнело, на губах лопнул кровавый пузырь.

– На бок! Боком положите! – закричала Майя Михайловна. – Он же кровью захлебнется! Врача!

Когда через полчаса Байрон пришел в себя и открыл глаза, он увидел доктора Лудинга, задумчиво разглядывающего эстамп на стене – маяк, кусочек побережья, парусник, пляшущий на волнах. Байрон скосил взгляд: у двери со сложенными на груди руками замерла Оливия, рядом с ней пристроилась на корточках Диана.

– Опять я в Домзаке, – попытался улыбнуться Байрон. – Привет, господин Лудинг!

– Привет, – тотчас откликнулся Лудинг, склоняясь к нему. – Почему ты вдруг вспомнил про Домзак?

– Ночью дед рассказывал про расстрел в Домзаке... в сорок первом... вспомнил твоего дедушку... Что это было? Обморок?

Лудинг оглянулся. Из-за его спины выплыло лицо матери – сухое, бесстрастное, с темными кольцами вокруг глаз.

– Что-то вроде обморока, – сказал Лудинг. – Нужно обязательно сделать энцефалограмму: уж больно напоминает приступ эпилепсии. У тебя когда-нибудь прежде бывали такие обмороки?

– Шутишь, Игорь. – Байрон приподнялся на локтях. – Дослужился б я до подполковника с эпилепсией.

– Ранения? Контузии?

– Обе легкие. Одна в Афгане, другая в Чечне. Ранения – конечно... Два в Афгане, одно в Чечне. Но никаких черепно-мозговых травм в послужном списке не имею. Сушь в горле – дайте выпить чего-нибудь.

Присев на короточки перед кроватью, Диана протянула ему стакан. Доктор перехватил стакан, попробовал и только после этого отдал Байрону.

– Извини, но тебе сейчас воздержаться бы от алкоголя. Я помню, как у тебя года три-четыре назад сердце прихватило – едва откачали. Гипертонический криз – а тоже ведь, казалось бы, ни с того ни с сего.

– Это мой личный чеченский синдром. Когда я на mine подорвался, меня из-под обстрела долго вытаскивали, там чеченские снайперы работали. Разведчики ногу перетянули, кровотечение остановили, но боль была – не передать... отвык... Ну они мне и вкатили дозу морфина. В Чечне ведь все можно достать... А потом в госпитале, уже после операции...

– Тоже морфин?

– У медсестрички выпросил. Мочи не было терпеть.

Байрон залпом осушил стакан, поставил вверх дном на салфетку, которой была застелена тумбочка. Только сейчас он сообразил, что его перенесли на второй этаж.

– Как самочувствие?

– Вялость. Усталость. Немножко будто подмерз. Долго я был в отключке?

– Полчаса. Давление подпрыгнуло, но сейчас в норме. Однако с этим, – Лудинг кивнул на стакан, – не шути.

– Ага. Голова тяжелая-претяжелая. Можно я немножко посплю?

– Поспи. – Лудинг встал. – Может, тебе укольчик сделать? Анальгин с димедролом – легко и приятно. И это не морфин.

– Морфин я всего три... ну четыре раза получал... Сердце стало барабанить – испугался. Так что не надо мне сейчас ничего. Да я и так почти сплю. Вы идите, идите... Игорь, а ты подожди. – Когда женщины молча покинули комнату, он спросил, слегка понизив голос: – Расскажи про деда.

– Его уже увезли в морг, там им, наверное, уже занялись патологоанатомы. Что же тебе сказать... Слева от входа во флигель стоит бочка с дождевой водой – в ней обнаружили топор.

– Тот самый?

– Что значит – тот самый?

– Дед на кой-то черт держал рядом с кроватью топор с широким лезвием на длинной рукояти. В бочке с водой... Значит, пальчики не найдут.

– Возможно, этим топором его и убили. Во всяком случае, мы взяли несколько проб воды из той бочки: хорошее оборудование обнаружит растворенную в воде кровь, даже если там хотя бы одна молекула болтается. А у нас хорошее оборудование. Останется выяснить, чья это кровь. На это, как тебе, наверное, известно, ответит анализ ДНК.

– А такое оборудование у вас есть?

– Откуда! Пошлем в область, если потребуется. Орудовал очень сильный человек. Голову отсек с одного удара. Второй удар пришелся на левое подреберье. Смерть наступила предположительно между тремя и пятью часами. Трупные пятна уже появились.

– Мы разговаривали с ним до трех часов. То есть когда я вернулся в дом, часы в его кабинете порабили три.

– Ну это уже не по моей части. Спи, Байрон. Впереди у тебя тяжелый день.

Едва дверь за ним захлопнулась, как Байрон схватил валявшуюся на полу куртку, вытащил фляжку и вылил содержимое в стакан. Не сводя взгляда с двери, выпил до дна. Натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза. Игорь Лудинг, младший внук того Лудинга, который свидетельствовал смерть расстрелянных в Домзаке. Дед рассказывал, что встретились они уже после смерти Сталина. Лудинг провел всю почти войну на фронте, после служил по госпиталям, потихоньку свихиваясь, и был уволен в запас

по выслуге лет. Вернувшись в Шатов, устроился терапевтом в больнице. При первой же встрече – дед на радостях выпил, врач отказался – Лудинг понес какую-то ахиною насчет тайны половой жизни товарища Сталина. Он не мог допустить, что половой акт вождя с женщиной происходил так же, как и у прочих смертных. Ну никак не мог отец народов и генералиссимус всея Руси просто так взгромоздиться на женщину. Не мог, потому что не мог ни за что. Происходило все как-то иначе. И женщина должна быть как-то специально подготовлена. Но как? Что это были за женщины? Тавлинский сначала с раздражением, а потом с нарастающим смехом выслушивал всю эту белиберду, наконец не выдержал – расхохотался. Лудинг обиделся. Виделись они редко. Но до самой смерти старого врача Тавлинский окольными путями подбрасывал ему деньжат. Благодаря Тавлинскому же сын Лудинга, опираясь на связи старика с некоторыми московскими банкирами, основал свой ортопедический центр, а сейчас вот строит еще и центр психологической реабилитации для инвалидов. Именно он посоветовал Байрону того немецкого врача, который снабдил «господина полковника» чудо-протезом – за немалые, впрочем, деньги. Внуки тоже вышли в люди: Игорь стал врачом, Герман занимал какой-то важный пост в фирме Тавлинских.

Байрон пошевелил ногой. Протез сняли.

Повернулся на правый бок – лицом к двери. На пороге сидела на корточках Диана.

– Я сплю, – пробормотал Байрон. – Очнись у твоих ног. Отдашь то, что я тебе сдуру вручил на хранение. Отбой тревоги, любовь моя. Ага?

Диана испуганно кивнула и скрылась.

– Домзак, – прошептал Байрон. – Весь этот сраный мир – Домзак. Тайна половой жизни Сталина... надо же...

Проснувшись, он сразу, еще с закрытыми глазами, почувствовал, что в комнате кто-то есть. Потянул носом: пахло копченостями и человеческим телом. От матери, Оливии или Дианы непременно тянуло бы духами.

– Нила, ты? – пробормотал он. – Я не сплю. Жрать хочется – мочи нет. Нила у окна тихонько засмеялась.

Он лег на спину, подтянулся, поправил подушку.

Старуха, все еще посмеиваясь, поставила поднос с бутербродами и фарфоровым чайником на тумбочку. Села на краешек кровати.

– Ты как дед: тому тоже с похмела пищу подавай, да побольше, и все холодного, копченого, поострее. Голова-то не болит?

Байрон улыбнулся.

– Самую чуточку. – Вылил остатки виски в стакан, выпил и, выбрав бутерброд потолще, хищно впил в него зубами. – Сам не пойму, что со мной случилось. Вон и рубашку закровянил к черту...

– Я тебе свежую принесла. Ты ешь, ешь, закусывай. – Она легко вздохнула. – Доктор приступ определил... у твоего отца такие случались...

– Знаю.

– Бывало, упадет вдруг ничком без чувств, а через полчаса уже на ногах. Врачи все удивлялись, говорили, что вот у него ни пены на губах, ни судорог – странно... А как запивать стал, так падучая сразу свое взяла: и судороги появились, и пена. Они тогда оба маленькие совсем были, Гриша да Иван, на санках с горки катались, не удержались – на лед их вынесло, и оба сильно расшиблись. С Ваней вроде обошлось, в армию даже взяли, а Гриша лет с пяти-шести начал падать. То на улице, то дома. И помер с того, помани, Господи, душу несчастную!

– Что там? – Байрон мотнул головой. – Милиция уехала?

– Милиция уехала, хозяина Лудинг увез, завтра, говорит, вернем. Или даже сегодня к вечеру. А прокурорский сидит. Я его обедом накормила, он теперь в хозяйском кабинете сидит – Майя разрешила, тебя дожидается.

– Угу. – Байрон жевал уже третий бутерброд. – Из прокуратуры?

– Фамилию он назвал, да я забыла. Иваном Алексеевичем звать. Вежливый такой. Пока ты спал, со всеми успел поговорить – и с матерью, и с Оливией, и с Дианкой, и с Зиновьичем...

– А тебя о чем расспрашивал?

– Что видела, что слышала, да не видала ли в последнее время каких-нибудь чужих людей возле дома... А что я видела? Я спала – сурок сурком.

– Слушай, – оживился вдруг Байрон, подтягивая ближе к кровати дорожную сумку. – А зеркало ты по-прежнему на ночь занавешиваешь?

– А ну его! – Нила усмехнулась. – Днем-то я в него смотрюсь, в этом я уверена. А кто ночью из него выглянет? Не знаю. Вот и завешиваю.

– Ликер! С собой привез. Ликеру хочешь? Вкусный – кокосовый. Ну давай, давай! На доньшко. – Налил ей ликера, себе – виски. – Деда, говоришь, завтра привезут? Наверное, в гостиной положим. А гроб? И все такое?

– Да ты не беспокойся об этом: Андрей Григорьевич сам обо всем заранее позаботился.

– То есть?

– Еще в прошлом году ему гроб аж из Москвы доставили. Весь лаковый, с ручками, а внутри даже подушечка из толстого шелка... голубенькая...

Байрон закурил, пристроив пепельницу на одеяле.

– Нила, а мы с ним ночью о Домзаке говорили, и он тебя вспомнил. Говорит, если б не ты, не выжил бы. Это после того, как на острове всех зеков расстреляли... И когда он домой под утро вернулся, а ты его встретила...

Нила пригубила ликер, причмокнула.

– И правда вкусный. – Вздохнула. – Вон даже о чем вспомнил!

– А ты забыла?

– Как же такое забудешь, Байрон? – Она посмотрела в окно. – Такое и захочешь, а не забудешь. Он же всегда такой крепкий был, плечистый, с лица хоть и строгий, а светлый. А той ночью я его как увидела, так и ахнула всем сердцем. Не узнать было хозяина: пуще мертвеца появился. Глаза тухлые, лицом осунувшись, качается, то заговорит, то вдруг умолкнет, и все как-то бессвязно, бессмысленно... а то даже засмеялся – тихонечко, у меня от его смеха нутро сжалось в ниточку... Чего я тогда понимала? Я ж из деревни кое-как выбралась, радовалась, что к хорошим хозяевам в няньки попала, жизнь сытая, работа – не в нищем колхозе горбатиться. И мозгов у меня было, как у воробья. И откуда что взялось – до сих пор не пойму. Я его сердцем проникла. Поняла: вот-вот – и погибнет человек заживо. Словно бы в ад попал – одна рука надо льдом торчит. Вот я и догадалась за эту руку схватиться.

– Сколько тебе тогда было? – спросил Байрон, разглядывая светло-коричневую жидкость в стакане. – Двенадцать?

– Тринадцатый шел. – Она покивала. – Ты вон про что! Но тогда я про это и думать не думала. Все забыла – только б руку не выпустить. А что до греха... – Она вдруг перешла на шепот: – А я тот случай и грехом не считаю. В ближайшее воскресенье сбегала поутру в церковь и свечку Богородице поставила – за избавление раба Божия Андрея от погибели. Но сама – не покаялась. Молода была, упряма... – Она снова улыбнулась. – Через неделю или две поймал он меня как-то в темном углу и руку исцеловал. – С гордостью вытянула перед собой правую руку. – Вот эту. Молча исцеловал и ушел, а я все поняла: иногда даже бабы умнеют скоро. – Помолчала. – С фронта письма писал, так обязательно приписывал привет святой мученице Неониле. Бабушка твоя смеялась...

– А она знала о ваших... отношениях?

– Она про все знала. Ведь Андрей Григорьевич был ходок хоть куда. И меня часто навещал. Лютый он бывал... У меня с деревенской поры кукла тряпичная была, так когда он разъярится в постели, я ту куклу зубами

схвачу и терплю, чтоб не закричать. – Кашлянула. – Дважды я от него понесла, да оба раза неудачно: мертвенькими мои мальчики родились. Значит, Богу так было угодно: терпел, терпел, да, видно, кончилось Господне терпение, вот и наказал. Что ж, кому что...

– И ты никогда на него не обижалась?

– На Бога-то?

– На деда.

– А за что? Нет, никогда и в мыслях обиды не держала. Может, любила его пуще себя... Из-за него, может статься, и замужем не бывала... сейчас уж и не знаю... – Она встрепенулась. – Да ладно про это! Быльем поросло. У тебя-то как в Москве? С сынком так и не встретился?

Байрон качнул головой: нет.

– Какая ж она у тебя сердитая, скажи-ка! Ему сейчас лет пятнадцать? Так и вырос безотцовщиной.

– В математической школе учится, – угрюмо сказал Байрон. – Честно говоря, я уже на все это рукой махнул. Не на сына – на все... Ну, не сложилась жизнь с Галей, потом с Аней – не повезло... Вообще, похоже, что-то не так сложилось с самого начала, а я и не почувствовал. А когда почувствовал, поздно.

– Тебе ж только сорок, Байрон! Ты еще...

– Не надо, Нила. Я не еще, я – уже.

– Это из-за ноги, что ли?

– Из-за ноги тоже. Вернусь в Москву – сразу в больницу уложат, и что там вытанцуется – одному Богу ведомо. Ты матери об этом – ни гу-гу. Я не жалуюсь, но похоже, что скоро мы с дедом встретимся... Ты только матери – не надо, ага?

Нила кивнула.

– Может, пить бы тебе поменьше, Байрон?

– Может. А может, и не может. – Он потянулся – кости хрустнули. – Так, говоришь, прокурорский этот у деда в кабинете? Иван Алексеевич? А разве не Попов у нас тут прокурорит?

– Попов на пенсии, – сказала Нила, – уже четыре года как.

– Ну и ладно. – Байрон свесил босые ноги с кровати. – Почему бы и не поговорить? Настроение у меня как раз – поговорить. Ты чего, Нила?

Старуха – уже в дверях – полусшепотом проговорила:

– У тебя в кармане револьвер был... Как ты заснул и все ушли, я его под подушку положила...

Он внимательно посмотрел на нее.

– Спасибо, Нила. Только запомни: я деда не убивал. Его топором зарубили. Так-то. А револьвер – дедов, он его у себя в кабинете хранил.

Охнув и перекрестившись, старуха исчезла за дверью.

Шторы в дедовом кабинете были раздернуты, дверь на галерею приоткрыта, и солнечный свет мощным потоком делил помещение пополам, поэтому сослепу Байрон не сразу разглядел человека, сидевшего на корточках возле книжного шкафа, занимавшего всю стену между окном и письменным столом.

– Здравствуйте, Байрон Григорьевич, – приветствовал его человек в синем мундирном костюме, выныривая на свет с книгой в руках. – Иван Алексеевич Пряженцев, прокурор славного Шатова. Извините, пока вы отдыхали, я тут в книжках рылся. Ничего?

– Ничего. – Байрон устроился в кресле перед письменным столом, на котором синела папочка в ледериновой обложке. – Горьким интересуетесь?

– Да не то чтобы Горьким... – Пряженцев поставил том на полку. – Когда-то был запойным читателем, да и жена у меня учительница литературы... – Он перевел взгляд с Байрона на письменный стол. – Как бы нам поудобнее устроиться?

– Да садитесь за стол, не стесняйтесь! – Поставил на приставной столик бутылку «Чивас Ригал». – Не желаете ли? Очень рекомендую. По капельке.
– Спасибо, но я за обедом не удержался от соблазна, попробовал вашего фирменного напитка... рюмочку... Ваша домработница чудо какая стряпуха! Трудно было устоять...

Он протиснулся между шкафом и столом и опустился в кресло.

Байрон поставил перед собой два стакана, налил себе вволю, прокурору – на два пальца. Молча придвинул стакан к папке. Поднял свой.

– Чин-чин! – Сделал глоток. – Если курите, не стесняйтесь. – Бросил на стол пачку своих сигарет, щелчком выбил одну, пыхнул дымом. – И не обращайтесь внимания на мои манеры хозяина жизни: на самом деле я вовсе не такой.

Прокурор со вздохом пригубил виски, закурил.

– Знаете, дед был одержим книгами, – продолжал Байрон. – С самого первого дня, как стал председателем райпо, взял книжный магазин под личную опеку. На дни рождения дарил подчиненным только книги, и все такие, знаете, – Пушкина, Достоевского, того же Горького. И даже когда провинциальные книжные магазины стали один за другим разоряться, он свой не оставил. Потребовал, чтобы на полках непременно присутствовала вся русская и зарубежная классика. К возвращенной литературе – ну, к Набокову, Шмелеву и прочим – относился настороженно, но – допускал. Правда, выборочно: «Лолиту» запретил, к примеру. Мы из-за этой «Лолиты» даже слегка повздорили. Я ему говорю, что последняя четверть этой книги – лучшая в мировой литературе поэма о несчастной любви, а он мне: «Защиту Лужина» и «Приглашение на казнь» возьмем – и баста. Если домашние брали книгу – а они, как вы, наверное, заметили, здесь повсюду, – следил, чтобы книжка была прочитана до конца. Всякий раз напоминал старинное русское монастырское правило: монаха, бросившего чтение на полдороге, сажать в одиночку на хлеб и воду, пока книгу не осилит. Вы давно здесь? И что заканчивали?

– Скоро будет четыре года, – растерянно ответил прокурор. – Саратовский юридический.

– Известное заведение, – одобрительно кивнул Байрон. – Помню, когда я учился на юрфаке, мы с подачи преподавателей бурно обсуждали книжку вашего профессора Нояха... фамилию забыл... а, Нояха Равиковича. Он утверждал, что преступность – никакое не «родимое пятно» капитализма, как формулировалось в марксистской литературе, а следствие врожденных порочных наклонностей личности. Понятно, что таким образом он снимал ответственность за рост преступности с социализма. Книжка оказалась провокативной, на что автор скорее всего и не рассчитывал: профессорам от социалистической юриспруденции пришлось развенчивать теорию Равиковича и волей-неволей возлагать ответственность за преступность на само социалистическое общество, точнее, на его незрелость. А уж бедному саратовскому профессору, вздумавшему бежать впереди пороссячьего визга, каких только ярлыков не наклеили! Вульгарный бихевиоризм, – с удовольствием выговорил Байрон. – Остальных не помню. – Он не спускал глаз с прокурора, невозмутимо внимавшего словоизвержению подпившего хозяина. – Сейчас многие после института в адвокатуру норовят...

– Мне это не по карману, – сказал Пряженцев. – Да и склонности не те. До того я работал следователем в областной прокуратуре...

– Ага. Когда старик Попов собрался на пенсию, ему стали искать замену, но никому не хотелось ехать в шатовскую тьмутаракань. Никому, кроме вас. Для вас это что-то вроде испытания периферией... Простите, сколько вам лет?

– Двадцать девять.

– Схиму приняли. Или, точнее, приняли обет послушания в глухом монастырьке, чтобы оттуда разом взлететь повыше... В адвокатуру или в политику? – Он сделал паузу, чтобы промочить горло. – Среди собранных

дедом книг вы не найдете ни одной оккультной или какого-нибудь фантастического романа. Даже Стругацких не отыщете. Я заразился от него презрением к фантастике. Она помогает читателям переселяться в другие миры, подальше от нашего, и в конце концов они привыкают искать причины всех земных проблем далеко за пределами земного... и возлагать ответственность за содеянное на потусторонние силы, что свойственно, извините, только рабам... Может быть, только русским рабам. При этом я не русофоб, хотя и не русофил... Да и черт с ними обоими!

– Из этого я могу сделать лишь один вывод: вы не верите в Бога. Пожалуй, я могу позволить себе еще несколько капель... – Пряженцев наконец улыбнулся, и его суховатое узкое лицо разом преобразилось: теперь оно располагало к себе мягкостью лепки и живым взглядом.

– Смелое предположение, – проговорил Байрон, наливая ему виски. – Слишком смелое, чтоб с ним согласиться без оговорок – вроде как у Тютчева: «Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверью!»

– Спасибо за откровенность, Байрон Григорьевич. – Он протянул свой стакан, они чокнулись. – За знакомство.

Байрон выпил, поставил стакан на край стола и, не сводя взгляда с Пряженцева, достал из кармана револьвер. Положил его на ледериновую папку стволом к себе. Прокурор выдохнул и с дымящейся сигаретой в зубах откинулся на спинку кресла.

– Вы же сюда не затем приехали, чтобы выслушивать мои мемуары о дедовых причудах, – спокойным голосом проговорил Байрон.

– Эта штука имеет какое-то отношение к делу?

– Пожалуй, косвенное. Из этой штуки я должен был застрелить Андрея Григорьевича Тавлинского, моего деда. Таков был его замысел. – Он развел руками. – Кто-то опередил меня – на час или два, не знаю.

– И вы готовы ответить на мои вопросы? – Пряженцев не глядя отодвинул револьвер в сторону и открыл свою папку. – Я не настаиваю, Байрон Григорьевич. Учитывая ваш сегодняшний приступ...

– Лудинг напелл? Еще неизвестно, эпилепсия ли это – во-первых. А во-вторых, выпивка только развязывает язык, да мне и не столько нужно выпить, чтобы свалиться. Так что валяйте – спрашивайте, Иван Алексеевич, протоколируйте показания и тэ дэ. Я в вашем распоряжении. Могу немножко облегчить вашу задачу...

– Попробуйте.

– Я уволен из армии вчистую – о причинах можете запросить Главную военную прокуратуру: ранения, контузии – Афганистан плюс Чечня. То есть Чечня меня добила. Получаю пенсию, играю на бирже как частное лицо, изредка консультирую – вот источники моих доходов. Мне хватает. Да и временем располагаю по своему усмотрению. Поэтому после звонка деда я почти сразу сел в машину и прикатил сюда.

– Его звонок был неожиданностью для вас?

– Да. Он позвонил ночью... под утро... Сказал, что очень плох, поэтому попросил срочно приехать в Шатов.

– Вы так спешили, что даже не зашли в дом, а сразу отправились во флигель. В котором часу это было?

– Около половины одиннадцатого вечера. Я не предполагал, что он с порога заведет такой разговор, прервать который не было никакой возможности. Я-то рассчитывал просто поздороваться с ним, принять душ, поужинать, а уж наутро – к нему хоть на всю оставшуюся жизнь. Не получилось. Слава Богу, Нила принесла еду во флигель. Мы разговаривали... точнее, он рассказывал о расстреле заключенных Домзак – вы уже знаете, что такое Домзак? – осенью сорок первого года, когда фронт приблизился к Шатову на семьдесят километров. По приказу сверху дед вместе с майором НКВД неким Синицким организовал ночной расстрел врагов народа – двухсот девяносто четырех человек, приговоренных, как я понимаю, чрезвычайными «тройками»...

Прокурор кивнул.

– В самой шатовской тюрьме никогда никого до той ночи не расстреливали, если верить словам деда. Эта была пересыльная тюрьма. Но в связи с войной машина забарахлила, вывозить заключенных стало почему-то невозможно, и кто-то наверху принял решение о массовой казни. К утру все было исполнено. Расстрелянных на скорую руку закопали в яме за рекой, сейчас там памятный крест установлен...

Прокурор снова кивнул.

– Вообще-то Андрей Григорьевич и раньше касался этой темы в разговорах со мной, и я знал эту историю – в общих чертах. Однако мне и в голову не приходило, что железный Тавлинский попросту свихнулся на этой почве. То есть из-за этой истории. Как пишут в романах, его замучили воспоминания.

– Он испытывал раскаянье?

– В том-то и дело, что нет. По крайней мере он так говорил. Он вспоминал историю той ночи подетально, и каждая деталь разрасталась до жутких размеров... пугала своей отдельно взятой бессмысленностью, абсурдностью... Вот это-то и измучило его вконец. Именно так он мне и сказал.

– Детали? Например?

– Ну, скажем, облик майора Синицкого. Дрожащие руки старого доктора Лудинга, который тогда служил тюремным врачом. Осматривая расстрелянных, он одним пальцем придерживал очки...

– Угу. А имена? Среди расстрелянных были шатовские?

– В том-то и дело, что дед этого не помнил. То есть за все эти шестьдесят с лишним лет к нему никто не подошел и не обвинил... ну, вы понимаете... В ту ночь расстреляли и настоятеля Домзака... тьфу, монастыря, превращенного в дом заключения. Он долго прятался по глухим деревням, а в самом начале войны его схватили и бросили в Домзак. Его внук сейчас служит священником в церкви за рекой...

– Отец Михаил, знаю. Храм Преполовения Пятидесятницы.

– Ну так вот, только этот отец Михаил и подошел однажды к деду, да и то лишь затем, чтобы выяснить, где именно захоронили людей осенью сорок первого. Дед рассказал, – и все. Отец Михаил, если верить деду, ни словом не попрекнул бывшего начальника тюрьмы...

Пряженцев задумчиво смотрел на Байрона.

– Словом, дед устал. Его угнетали воспоминания и болезни... Он сказал мне, что у него кардиомиопатия и врачи отвели ему максимум два года жизни. Кажется, два года. Он не хотел уходить из жизни просто так, тихо угасая на больничной койке. Он хотел, как он выразился, разорвать круг абсурда и поставить точку – сам. – Байрон с сомнением посмотрел на свой стакан, но пить не стал. – Точнее, не сам. Точку должен был поставить я.

– Если я правильно понял, он попросил вас убить его?

– Вы правильно поняли, Иван Алексеевич. Он отдал мне ключи от сейфа, в котором я и нашел этот револьвер.

– Он попросил вас застрелить его... Что вы ему ответили?

– Я сказал, что должен подумать.

– И?

– Когда я поднялся в этот кабинет, часы пробили три. Я валился с ног от усталости. Три с половиной часа за рулем, мучительный долгий разговор, смысл которого подчас попросту ускользал от меня, боль в ноге...

– Вы принимаете какие-то препараты?

– Антидепрессанты, транквилизаторы и так далее.

– Запивая их этим благородным напитком...

– Бывает. – Он вздохнул. – Я хочу сказать, что само размышление об окончательном решении я отложил на утро...

– Но пистолет вы взяли из сейфа ночью.

– Точно так. Взял не думая. Просто протянул руку и взял. Я действовал, как безголовый механизм. Потом лег и уснул. А утром...

– В котором часу?

– Без чего-то шесть. Я сразу вспомнил наш ночной разговор, но в голову просто ничего не шло! Я вообразить не мог, как это я разбужу его, скажу «прощай» и выстрелю в висок, да потом еще вложу в его руку револьвер, чтобы все это выглядело как самоубийство. На прощание он напомнил, чтоб я не забыл о перчатках: он не хотел, чтоб на револьвере остались мои пальчики. – Он допил виски. – После душа я двинул во флигель.

– С револьвером в кармане?

– Да. Повторяю: у меня и мысли не было использовать этот чертов наган. Я топал к нему и все ждал какого-то просвета в мыслях... какого-то наития... Нужно было убедить его в нелепости этой затее... как – не знаю... Я думал: вот сейчас я его разбужу, попьем чаю, разговоримся, и что-нибудь придет в голову... сверкнет этак... Ну надеялся на случай.

– Когда вы ушли из флигеля после ночного разговора, не встретил-ся ли вам кто-нибудь – во дворе, поблизости или в доме?

– Нет.

– А утром?

– Ну наши поднимаются рано. Мать с Оливией уезжали на службу. Нила хлопотала в кухне. Дядя Ваня уже ушел. Диана спала. Как раз на полдороге к флигелю я увидел входящего во двор Александра Зиновьевича... это шофер деда...

Прокурор кивнул.

– Дверь была открыта?

– Закрыта, но не заперта. Меня это не удивило и не насторожило: это было в обычае старика. Но с порога ударил в нос запах бензина. Тогда-то я и насторожился. Лужица возле камина. Лестница тоже полита бензином. Даже одеяло разило бензином. Старик лежал на боку, укрывшись с головой. Я позвал его, потом потянул одеяло и все увидел...

– Вы знали про топор?

– Все в доме знали про этот топор. Он всегда держал его рядом с кроватью.

– Он кого-то боялся?

– Отшучивался. Вот, говорил, захочу начать новую жизнь – тогда и пушу в ход топор. Всех родных порешу и босиком уйду странствовать по Руси... или по святым местам – грехи замаливать... Никто не воспринимал это всерьез. Считали – чудит старик.

– Вы не помните, когда вы убедились в смерти Андрея Григорьевича, топор был на месте?

– Я сразу спустился вниз, о топоре даже и не подумал... хотя, конечно, и должен был понять: раны-то колото-рубленные. Но – ни мысли. Только и думал, что кто-то меня опередил. Старик опередил – это, так сказать, объективно. Но кто-то ведь дождался, когда он уснет, – а сон у него чуткий, – когда все уснут... Ума не приложу – кто. Наверное, у него были враги в городе – какие-нибудь конкуренты, бандюганы, но я ничего про это не знаю. И почему убийца не сжег флигель? Бензин разлил – и не поджег. Во флигеле всегда в закутке у входа стояла канистра с бензином, чтобы камин разжигать... Вы все?

Пряженцев накрыл ладонью свой стакан.

Байрон жадно хлебнул из горлышка, машинально как-то удивляясь, почему он до сих пор трезв. Ну почти трезв. Голова ясная, как утром после душа.

– У меня еще один вопрос: о сигнализации. Я уже разговаривал с Майей Михайловной, и она мне разъяснила, что внешнюю сигнализацию – забор, ворота – вы давно отключили из-за частых поломок. Но внутренняя еще в рабочем состоянии. К этой внутренней системе подключен и флигель...

– Кнопка номер семь. Вернувшись от деда, я включил сигнализацию. Кнопки седьмая и третья. Таким образом, дом оказался заперт. То есть я хочу сказать, что снаружи уже никто не смог бы войти в него. Но все до-

машинные знают, что в дождливую погоду сигнализация иногда барахлит... впрочем, не только в дождливую...

– А кто обычно блокирует сигнализацию по утрам?

– Нила. Или мать – она тоже очень рано встает. Это делается одной кнопкой – нулевой. Нажимаешь – и сразу гаснут все двенадцать лампочек.

– Сегодня это сделала Майя Михайловна, которая утверждает, что, прежде чем она нажала нулевую кнопку, ни одна лампочка не горела.

– Я помню, что, когда нажал седьмую и третью, вроде бы загорелись две лампочки...

– Вроде бы? Судя по всему, вы с Андреем Григорьевичем крепко выпили...

– Было, было... Но насчет лампочек я что-то помню. Хотя... черт их знает, какие там загорелись, а какие погасли, когда я ковырялся в этом пульте... Я же вам говорю: в дождь она барахлит. Да и отношение у нас к ней, мягко говоря, привычно прохладное... горит, не горит – лишь бы кнопки включить. Просто потому, что дед требовал дисциплины... вот и все...

– То есть вы не можете определенно сказать, что сигнализация флигеля включилась?

Байрон пожал плечами.

Пряженцев вынул из папки листок бумаги, исписанный от руки.

– Вот акт проверки сигнализации. Специалисты установили, что она в порядке. Хотя пломбы и отсутствуют.

– Да туда лазили кому не лень!

– Вы читайте, читайте.

Байрон пробежал глазами текст. Посмотрел на Пряженцева.

– Байрон Григорьевич, – нарушил молчание прокурор, – а теперь сделайте милость, скажите, что бы вы сделали на моем месте?

– Байрон Григорьевич охотно вам ответит, – оскалился Тавлинский. – Я был последним (убийца не в счет), кто видел старика живым, и готов под этим подписаться. Я мог убить его топором, укрыть одеялом и спокойно покинуть флигель...

– А бензин?

– Просто передумал поджигать, – вот и все. И потом, пожар начался бы сразу и привлек бы внимание до того, как убийца скрылся бы. Та же Нила с ее плохим сном могла увидеть отсветы пламени и услышать мои шаги по черной лестнице. Да это и неважно. Главное: реальный подозреваемый – Байрон Тавлинский.

– Пока. Мы ведь обсуждаем лишь одну из версий. Подчеркиваю: одну из.

– Прямых улик нет...

– Пока, – снова уточнил прокурор, не поднимая взгляда от папки. – Да и реальный подозреваемый Тавлинский – лишь подозреваемый. Вы не хуже меня знаете, как иногда зыбка грань между свидетелем и подозреваемым. Лично я затрудняюсь... колеблюсь, точнее говоря...

– Между задержанием по подозрению в совершении убийства и подпистой о невыезде.

– Но ведь вы никуда и не собираетесь уезжать, правда? Через три дня похороны. На следующий день – оглашение завещания. А там и девятый день придет – надо ж проводить душу покойного, как в народе принято. Мне не хочется держать вас под стражей все это время.

– Да у вас и камеры для этого настоящей нет. Разве что милицейский клоповник...

– Так что давайте-ка сейчас составим бумаги, какие полагается...

– Подписка о невыезде?

– Подпишем, а потом я пойду докладывать о ходе расследования мэру, прокурору области и ждать дальнейших указаний. Паспорт у вас с собой?

Дорога к кладбищу вела через центр города, украшенный памятником Ленину и полукружьями стел с выбитыми на них именами шатовцев, пав-

ших на фронтах Великой Отечественной. Миновав площадь, Байрон сбросил скорость и углубился в хитросплетенье узких песчаных улочек, обсаженных березами и обставленных бревенчатыми домами с резными наличниками и палисадниками, роскошно багровевшими георгинами и пылавшими на солнце золотыми шарами. Над потемневшими от дождей высокими деревянными глухими заборами, калитки которых все как одна были украшены ржавыми табличками с надписью «Злая собака», тянулись крашеные железные крыши с кирпичными дымовыми трубами и причудливыми конструкциями телевизионных антенн. Байрон притормозил перед развилкой – справа начиналась Генеральская улица, построенная немецкими военнопленными: двухэтажные домики-близнецы, в одном из которых и прошло его детство, – свернул налево – в конце улицы стояли сложенные из известняка кладбищенские ворота, увенчанные крестом, под которым висела давно не подновлявшаяся надпись на старославянском языке – черные буквы с позолоченными титлами, сплетаясь, являли собой скорее произведение искусства, нежели осмысленное высказывание. На лавочке у ворот сидели две старухи в коричневых платках, с ведрами у ног. Проходя мимо, Байрон поздоровался и поинтересовался видами на урожай картошки.

– Спаси Бог, лето выдалось хорошее, – ласково ответила маленькая сухонькая старушонка, подавшись к незнакомцу. – А вы из Москвы, небось? Родственники здесь?

– Родные.

Байрон торопливо зашагал по широкой аллее, обсаженной столетними дубами и делившей кладбище на старое и новое. Слева из зарослей тополей, бузины, бересклета и рябины торчали верхушки массивных фигурных крестов, под которыми покоились забытые всеми гильдейные купцы и жилистые прасолы с обветренными лицами, учителя, навзрыд читавшие Некрасова, и ремесленники, ваявшие из глины отменные обливные кувшины и знаменитую на всю Россию шатовскую игрушку, кожемяки и матросы речных пароходов, ткачи и землепашцы. В лучах яркого солнца над могилами порхали бабочки. Птицы лениво клевали воробьиный виноград, который тонкими своими лианами опутал все старое кладбище.

Дорожкой между дубами он прошел на новое кладбище – одинаковые ограды, конусообразные памятники, увенчанные звездами, – и вскоре оказался у расчищенного от сорняков и тополиного подростка большого участка, огороженного высокими – в рост человека – стальными столбами с висящими между ними толстыми цепями. Открыв калитку, боком пробрался к скамейке и сел лицом к двум одинаковым прямоугольным памятникам черного мрамора. Здесь были похоронены бабушка Алина Дмитриевна и непутевый отец Байрона – Григорий Андреевич.

Байрон достал из внутреннего кармана куртки плоскую стеклянную фляжку и выпил – «Здравствуй, бабушка!» – и еще раз, молча, в память об отце. Сейчас и здесь, на этом тихом, залитом послеполуденным солнцем провинциальном кладбище ему вдруг стали как-то безразличны все вины отца – не хотелось даже и думать об этом. «Кто знает, может, скоро и я здесь лягу – места много, – и тогда-то и пойму, может быть, кто прав, а кто виноват, – лениво подумал он. – Вот когда пожалеешь, что ни разу в жизни не плакал... герой с дырой...»

Дед дисциплинированно играл в семье Тавлинских роль бога, который устанавливает законы и издалека слеживает, как они исполняются. Установленные им распорядок дня и образ жизни – подъем в шесть, ботинки в любую погоду начищены до блеска, напольные часы заводит только хозяин, книга должна быть прочитана до последней страницы – соблюдались неукоснительно. Но Алине Дмитриевне – Байрон помнил ее всегда одетой как на выход, с узкой талией и высокой грудью, на шее золотая цепочка с медальоном, в котором хранились два крошечных портрета ее родителей, – ей каким-то непостижимым образом удавалось придавать

строгую порядку тепло, не прибегая при этом ни к тайным потачкам, ни к сюсюканью. Когда Байрону исполнилось лет одиннадцать или двенадцать, Алина Дмитриевна пережила первый инфаркт. Ему позволили навещать ее, когда бабушка уже готовилась к выписке. Она встретила его, сидя в креслице у окна, и, подставляя посвежевшую щеку под его поцелуй, заинтересовалась школьными успехами.

– Один Крылов вместо успехов! – со вздохом сказал Байрон. – Попрыгунья, видишь ли, Стрекоза!

– Лентяйце! – возмутилась бабушка. – Научись слушать, а уж потом подавайся в оценщики! Ты вслушивайся, Байрон. Сначала был звук, звук, который предшествовал слову, и Иван Крылов это животом понимал. Брюхом. Такому брюху позавидовали бы многие сердца.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза...

Бабушка сняла очки в тонкой оправе – глаза ее стали пугающе глубокими – и повторила:

Как зима катит в глаза...

А после паузы, глядя Байрону в висок и прижав его к своей кацавейке, пахнувшей маслянистыми духами, вдруг:

Помертвело чисто поле,
Нет уж дней тех светлых боле...

Она одним движением посадила очки на нос.

– Помертвело чисто поле. Вслушайся, мальчик, миленький мой: это же вся жизнь наша встает до последнего предела, до распоследнего предела. *Мертвело. Ррвело... тело...* А следом безжалостно-режущее, как слово Русь, как свист острого железа: *чисто*. И горестно-пустое, полное, безнадежное – *поле*. А в рифме с ним – *боле*. Одновременно и *боле* и *боль*. Стрекоза одна, никого вокруг, да и кого встретишь-то в русском чистом поле? Волка-одиночку? Замерзающего разбойника? Никого.

– Муравья, – шепотом возразил он, дрожа при виде слез на бабушкиных глазах.

– Муравья, – бесцветным голосом согласилась бабушка. – Мужичка в валеночках и тулупчике, презрительно поглядывающего на хрупкую красавицу, которая еще совсем недавно была ему недоступна, легка, весела, и вот – у его ног, в его власти, захочу – пригрею, захочу – морозу скормлю. Но пригрею, пригрею! – Бабушкин голос, стерженя, твердел и холодел. – Поела? Отработывай. Ручкой – дрыг, ножкой – прыг. А ну-ка! Что скажу, все по-моему будет. И дрожит втайне, и втайне же побаивается, что вот сейчас встанет она, хрястнет по толстой роже – и уйдет на мороз, лучше сдохнуть, чем с таким... который потными дрожющими лапочками будет тебе – уж позвольте-с, доставьте, так сказать, удовольствие-с самому-с – растегивать пусовки, а вы садитесь, так удобнее, пяточка вон даже замерзла, пальчик, Господи, пальчик-то! Позвольте пальчик! Один только пальчик! Согрею, все-все-все отдам – за пальчик-с! В этом одном пальчике – кто б понимал! – все совершенство мира с его храмами и микробами, да-да, с храмами и микробами ничтожнейшими! Вот сюда, здесь теплее... И не беспокойтесь, все так хорошо и будет и завтра, и послезавтра. Если, конечно, вы понимаете. А на муравью не обращайтесь внимания, баба и есть баба, с нею разберемся сей же час. А вы ножку вот... вот этак... Господи, и Ты благословил меня такой ножкой и пальчиком, пальчиком!...

Она вдруг закрыла глаза и замерла.

– Ба! – тихо позвал Байрон. – А почему ты за деда замуж вышла?

– Это ты так Крылова понял? – Она открыла глаза. – Ему мои ногти понравились. Тогда он еще не избавился от шатовского произношения и говорил – *нохти*. *Нохти!*

А накануне отъезда Байрона на действительную они остались наедине, и бабушка рассказала историю своего замужества. До шестнадцати лет она жила с родителями в Москве. Она не понимала, что происходит: родители вдруг стали скрытничать, подолгу шептались ночами в кухне за остывшим самоваром – изменилась привычная атмосфера, годами царившая в доме: теплое добродушие сменилось чем-то неприятно раздражающим. Страхом, как она поняла позднее. Она продолжала заниматься музыкой – преподаватели считали ее подающей надежды пианисткой. Как вдруг однажды все разом кончилось: в несколько дней они собрались и уехали в Шатов. Вскоре отца назначили директором второй школы (бывшей гимназии), а она – энергии ей было не занимать – взялась вести драматический кружок в местном доме культуры. Кружковцы ставили даже Грибедова и «На дне» – зал был полон, успех – очевиден. Она репетировала новые постановки, обучала малышей музыке. А главное – в дом, казалось, опять вернулось теплое добродушие, сердечное единение родителей и взрослеющей дочери. Единственное, чем отличалась их шатовская квартира от московской, – отсутствием образов: мать спрятала даже семейную реликвию – иконку Богородицы с младенцем, которая досталась им от предка – участника войны 1812 года, тяжело раненного в битве под Лейпцигом. Впервые увидев эту икону, Алина Дмитриевна (было ей лет пять-шесть) со смехом сказала: «А у мальчика пальчики кривые!» Ей объяснили, что Младенец благословляет верующих, сложив пальцы для крестного знамения. Но Он все равно остался для нее мальчиком с кривыми пальчиками. Году в сороковом опять все стало меняться. Отца по обвинению во враждебной деятельности освободили от директорства, дозволив, впрочем, остаться в школе преподавателем математики. В декабре сорокового у выхода из дома культуры ее остановил Андрей Григорьевич Тавлинский – он называл себя ее поклонником, дарил цветы, но дальше этого дело не заходило. В тот морозный вечер – она сдуру в балетных туфельках, он в шинели и зимней шапке – и решила ее судьба. «Алина Дмитриевна, вам не следует возвращаться домой, – сказал он. – Это не шутка. Именно сейчас ваши родители покидают квартиру – боюсь, надолго. Вы должны понимать, что происходит». «И что же происходит? – вскинулась она. – Вы нарочно пугаете меня? Странная манера ухаживать за девушкой!» Он отступил назад, к поджидавшему его автомобилю, и вернулся со свертком, который молча протянул ей. Она развернула хрусткую бумагу, скрывавшую семейную реликвию – икону Богородицы с младенцем. «Я дал слово вашему отцу, – сказал он, – что постараюсь избавить вас от этого... от всего этого... Эту икону он дал мне, чтобы вы не сомневались в искренности моих слов... и моих намерений...» Ноги ее замерзли, мысли в голове спутались, иконка почему-то пугала ее... и этот мальчик с кривыми пальчиками пугал... потому что ее передал ей этот человек, может быть... Ей стало страшно. «И что же вы предлагаете? – упавшим голосом спросила она. – Если их взяли, значит, придут и за мной». «Не придут, если вы будете находиться в моей квартире... у меня...» «Андрей Григорьевич, вы женаты! – спохватилась она. – Ваше предложение подло, бесчестно и глупо!» Лицо его оставалось бесстрастным. «Глупо будет, если вы откажетесь от моего предложения. А жена моя больна раком в последней стадии, вы уж простите за откровенность». И он жестом пригласил ее в машину. Прижав иконку к груди, она со склоненной головой села в автомобиль. Когда он помогал ей раздеться в теплой прихожей своего дома, пропахшего лекарствами, она вдруг сказала: «Только запомните: я не считаю ваш жест верхом благородства. И скажите: будь на моем месте другая девушка, вы поступили бы точно так же?» «Нет, конечно, – тотчас откликнулся он. – Вы мне нравитесь, и я думаю, что со временем мы с вами отлично поладим». «Что же вам так понравилось во мне? –

сквозь зубы спросила она, с отвращением надевая чужие домашние туфли. – Откровенно, Андрей Григорьевич?». «Нохти, – сказал он. – Короткие и аккуратненькие девчачьи нохти. Разглядев их хорошенько, я понял, что... что мы поладим...»

Через три месяца – все это время Алина Дмитриевна прожила в камере без окна, спала на раскладушке, с трудом засыпая при свете зарешеченной синей лампочки под потолком, которую невозможно было выключить, – его раковая жена умерла, и Андрей Григорьевич отвез Алину Дмитриевну в загс. «Вот и все, – сказала бабушка, целуя внука в лоб. – Слава Богу, история Стрекозы и Муравья завершилась браком, который в нашем случае неинтересен, как это и предвидел старик Гегель. Правда, он предполагал, что до брака случается любовь... Что ж, смена эпох влияет не только на почерк, но и на суть высказывания».

Она умерла, когда он лечился в Ташкентском военном госпитале, куда его доставили с ранениями из Кабула. Отец погиб, когда он уже учился в университете. Байрон не поехал на похороны. Узнав из письма матери о том, что отец оставил их ради какой-то «прошмандовки из Домзака» (Майя Михайловна иногда не стеснялась в выражениях), он испытал смесь изумления с жалостью. Он не одобрял – молча – жесткой неуступчивости матери, которая не прощала мужу ни одного промаха – а этих промахов с каждым годом становилось все больше: отец плохо держал удар и вскоре – еще на памяти сына – стал законченным алкоголиком. Напившись, он не задира л жену и не приставал к сыну – норовил проскочить поскорее, понезаметнее в спальню и заснуть, натянув одеяло на голову. Майя Михайловна с каменным красивым лицом вставала из-за стола и, включив свет в спальне, будила мужа, чтобы высказать все, что она думала о его настоящем и будущем. А он только пьяным жалобным голосом умолял ее, едва высунувшись из-под одеяла: «Маюшка, да я же сам все понимаю! Ну что ж ты меня казнишь, если я сам себя уже казнил! Ну хватит, довольно! Я не хочу оправдываться, но ведь я виноват, и ты знаешь, как я виноват... перед Ваней, перед тобой...» «Не смей поминать Ивана! Ты сам согласился на это. Ты б еще отца своего приплел! И все это не оправдывает твоего омерзительного падения! Каином себя возомнил? Извращенный байронизм! Это наша общая вина и трагедия, значит, нужно держаться, чтобы трагедия не превратилась в фарс. А ты как раз к фарсу и шуруешь полным ходом!» Сын не понимал, при чем тут дядя Ваня, но эти ежедневные пьянки отца и нравов учения матери вызывали у него безотчетный протест и желание бежать из дома как можно дальше. Он уходил на улицу, бродил в одиночестве по городу или проулком мимо новой гостиницы спускался к реке, втайне надеясь встретиться с Лентой – дочерью Федора Колесыча, который был известным городским пугалом для детей: он отлавливал и убивал бродячих собак. Зимой Лента обязательно каталась на коньках. Он молча провожал ее до дома – не сговариваясь, они выбирали дорогу подлиннее. Говорила она – он слушал, поражаясь ее беспричинной, как ему казалось, ледяной иронии, злости, которую она и не думала скрывать, особенно если речь заходила о будущем. От Нилы он слышал, что девушка чем-то серьезно больна – быть может, злость на все и вся и была проявлением болезни. «У меня нет будущего, – однажды сказала она ни с того ни с сего. – Что бы там ни ввали, а все будущее женщины заключено у нее между ногами. И ты так думаешь – чем ты лучше других? Просто ты умнее их, выжидаешь, когда я сдамся и сама тебя попрошу...» «О чем?» Она ответила без запинки – ледяным голосом: «Ну хотя бы о том, чтобы ты для начала поцеловал меня». Байрон взял ее за руку, развернул к себе и поцеловал в губы. «Вот начало, – сказал он. – Что дальше?» Лента молча втащила его за руку во двор. Сняла ботинки с коньками и в толстых шерстяных носках поднялась наверх, в свою маленькую низкую комнатку. Даже не обернулась ни разу, чтобы проверить, идет ли Байрон следом. Не включая света, она разделась и только тогда подала голос: «Чего ждешь? Это и есть – дальше». Домой он вернулся

поздно, но родители этого не заметили: в спальне горел свет, оттуда доносился металлический голос матери, лишь изредка прерываемый жалобным скулежом отца. Байрон разделся и лег поверх одеяла. Тело пылало. Голова покруживалась. Что-то случилось. Он читал в книгах, что это переворачивает жизнь человеческую, причиняет страдание или дарует небывалую радость. Ничего подобного! Он чувствовал горячую пустоту в сердце и ощущал изматывающую дрожь во всем теле. Даже пальцы ног дрожали. Они стали мужчиной и женщиной одновременно. Он впервые увидел, как улыбка преобразила ее скованное, вечно стылое лицо, как расплылись ее смягчившиеся губы и расширились вечно прищуренные глаза. Они молча лежали на скомканной постели, и Лента гладила его спину своей узкой ладонью. «Почему твоя койка стоит косо?» – спросил он шепотом. «Я вижу хорошие сны, когда лежу в северо-западном положении. Это глупости, но ты не смейся». А через месяц ее зарезали в новой гостинице. Бритвой по горлу. В школе говорили, что она сама напросилась в компанию приезжих с юга – торговцев мандаринами. Пила с ними вонючий коньяк. Потом уединилась с одним из южан в соседнем номере, отдалась ему, «как распоследняя шлюха», после чего почему-то набросилась на него со столовым ножом. Мужчина сначала отбивался от нее с пьяным смехом, но когда ей удалось-таки полоснуть его лезвием по груди, выхватил складную бритву и прикончил ее одним ударом. Как собаку. Байрон не пошел на похороны. «Она сама этого хотела, – думал он, прислушиваясь к надрывно-фальшивым звукам похоронного оркестра. – Ведь она говорила мне, что однажды обязательно попросит меня об одном одолжении и даже взяла с меня клятву, что я не откажу ей в просьбе, какой бы странной или даже страшной она ни была. Она не стала дожидаться... или просто пожалела меня...»

Он резко встал со скамейки, потянулся и, закрыв за собой узкую калитку в ограде, направился к выходу. Бабушка, отец... северо-западная Лента... Чем же она болела? Забыл. Как забыл и все свои обиды на отца – вспоминался только жалобный его голос. Да обстоятельства нелепой смерти: бьющийся в эпилептических корчах мужчина, неудержимо надвигающийся по обледенелой мостовой огромный грузовик...

Старухи все еще судачили на лавочке у входа.

– Можно составить вам компанию? – галантно поинтересовался Байрон, опускаясь на край скамьи.

– Ты не Бароном ли Тавлинским будешь? – спросила старуха с редкими седыми усиками и россыпью крошечных родимых пятен на щеках.

– Байрон. Он самый. – Он налил в пробку виски, протянул собеседнице. – Со здоровьицем.

Та с усмешкой взяла пробку, понюхала и выпила. Ее товарка расправилась с виски таким же манером.

– На деда похож, – сказала маленькая. – Вылитый.

– Змею от змеи не отличишь, – сказала высокая усатенькая. – Прости меня, грешную, но дед твой был козел козлом. Убили, говорят?

– Убили.

– Свят, свят...

Старухи разом перекрестились.

– На том свете Господь разберется... – неопределенно проговорила маленькая. – Всем воздастся.

– Ему-то достанется, – без злобы сказала высокая. – Я сама в Домзаке жила, сколько раз его там встречала – не счастье. Одно время к Наде Зверевой наладился, она тогда как раз с мужем развелась. А как она забеременела, так он ее и бросил. С тех пор она и запила. Потом и замуж вышла, а все равно пила не переставая... и второго мужа потеряла...

– Сама виновата. Кто ж его не знал? Все знали.

– И ты, что ли?

Маленькая задохнулась от негодования.

– Язык у тебя – что у дьявола: шипастый, Вера!

– Да показал бы он тебе тогда сторублевую – ты б до Москвы без штанов дернула б!

– Я без штанов никогда не ходила! И с козлами не вязалась, как некоторые.

– Ты это про кого? – подобралась усатая.

Байрон встал, попрощался – но старухам было уже не до него – и направился к машине, оставленной в жидкой тени берез. Издали разглядел женскую головку, склоненную над книгой.

– Привет! – Он сел за руль. – Что читаем?

– Что придется, – ответила Диана. – От тебя опять как из винной бочки...

Она бросила книгу на заднее сиденье.

Он оглянулся: «Нарцисс и Гольмунд» Гессе.

– Цыц, принцесса, – весело отозвался он, запуская двигатель. – Домой или куда-нибудь?

– Домой неохота: Нила как убитая ходит, остальные еще не вернулись. А давай-ка я лучше за руль сяду, а? От греха подальше.

Пожав плечами, Байрон вышел из машины и сел на пассажирское место.

Диана с места газанула на всю катушку.

– Чего машину не запираешь? Здесь хоть и не Москва, но сопрут – ахнуть не успеешь. – На развилке не раздумывая свернула направо – к центральной площади. – Ты к бабушке ходил?

– И к отцу. Поехали на мост – оттуда вид хороший. – Он хлебнул из горлышка, потянулся. – Хорошо здесь!

– Наездами – да.

– Ты мои подарки успела разобрать? Извини, хотел сам преподнести, да вот... Книги, диски, кассеты...

– Спасибо, разобрала. Вот только когда читать все это – не знаю. Байрон, я же в Высшую школу экономики поступила.

– Во страсть! – с восхищением проговорил он. – В святая святых экономического либерализма. За тебя, принцесса! Я рад, правда. – Он снова глотнул. – Но зачем тогда тебе Шатов?

– Там видно будет...

– Дед успел подкинуть тебе на учебу, жилье и так далее? А то не стесняйся: у меня хватит. – Допил виски и закрутил пустую флягу пробкой.

– Майя Михайловна говорит, что ты и в Москве киряешь, как бешеный. Когда ж ты успеваешь на бирже играть? Кстати, как ты вообще в это дело ввязался? Ты мне никогда про это не рассказывал.

Байрон закурил, опустив боковое стекло.

– Друзья помогли. Вместе служили в Афганистане, потом встречались – они в столице осели. Не то чтобы не разлей водой, но раза два-три в год встречались. Артем экономический закончил, сейчас в одной суперкомпании начальником департамента. Аршавир тоже где-то учился после армии, служил в КГБ, сейчас в какой-то информационно-аналитической фирме командует. Но, судя по всему, эта фирма – явная «дочка» ФСБ. Что-то вроде экономической разведки и контрразведки. Когда я из прокуратуры ушел, предложили мне в консалтинговую фирму пойти. Шахматно-юридические этюды решать. И бабки неплохие, и все прочие условия... Но, видишь ли, я пятнадцать лет занимался чистой уголовкой: убийства, дедовщина, хищения оружия и так далее. Надо было, по сути, переучиваться, а значит, начинать с нулевой должности. Я же, как тебе, может быть, известно, человек высокомерный... ну, не сложилось... Вот тут ребята и помогли. Артем и Аршавир. Биржевые-то хитрости я быстро освоил – на полупрофессиональном уровне, конечно, – но им и этого оказалось достаточно...

– Они были твоими инсайдерами, – догадалась Диана. – Шпионами!

– Что-то вроде. Они наводили меня на компанию, которая разогревает акции почти что на пустом месте, и подсказывали, когда эти акции покупать свально, а когда разом продавать. Но это – случай. А чаще рутинная слежка за курсом, открытые позиции, короткие позиции, стоп-лоссы, фьючерсы и прочая муть. Я и до сих пор по-настоящему не освоил этот словарь. Любой двадцатилетний мальчишка-биржевник даст мне сто очков вперед. Дед помог стартовым капиталом, да у меня еще от продажи старой квартиры кое-что оставалось, так что играл я не с пустыми руками. Для Артема с Аршавиром это было благотворительностью, разумеется, а для меня – двадцать-тридцать тысяч в месяц. Впрочем, бывало и меньше, но редко...

– На виски хватает.

– Миленькая, биржевые торги начинаются в половине одиннадцатого утра, поэтому я успеваю к тому времени выпить, отоспаться, еще раз выпить, вздремнуть, принять душ, позавтракать и сделать первый звонок брокеру. А вечерами – книги или видео. В последнее время чаще видео, чем книги.

Медленно проехав по мосту, Диана свернула с шоссе на узкую грунтовую дорогу, пролежавшую через рошу (деревья карабкались на холм, голую вершину которого занимали двухэтажные дома), и вскоре остановилась.

Байрон снова закурил.

– После Афгана я чувствовал себя этаким Растиньком – Москва лежала у моих ног. Я читал Карабчиевского, Плевако, Александрова и Кони, я читал Достоевского и запрещенного Набокова – «Дар»... Я считал, что непременно завоюю мир – во всяком случае, мой мир – тот огромный кусок хорошей, правильной, если угодно – праведной, интересной жизни. Я ни секунды в этом не сомневался даже после matrimониальных моих неудач – ну их к черту! Невзирая ни на что я был твердо уверен в себе, в том, что я – лучший. И Чечня подхлестнула меня, повела, хотя, конечно, нас, военных следователей, ненавидели все – и солдаты, и офицеры с генералами, и местные. Я дышал полной грудью, принцесса. По инерции все эти чувства, ощущение личного могущества и значимости не оставляли меня и после того, как я потерял ногу... Но жизнь – как, впрочем, и следовало ожидать, оказалась стократ сильнее меня. И безжалостнее. Я не жалуюсь. Я отношусь к тому разряду отчаявшихся людей, которые считают, что жаловаться – ниже их достоинства. Занятие бесприбыльное и унижительное.

– Ты отчаялся? – тихо спросила Диана, прижимаясь к нему плечом. – Отчаялся, заметался – и запил. Только не подумай, что я осуждаю тебя.

– Отчаялся, – тупо повторил он. – Если из года в год вкальываешь, как проклятый, и ловишь от этого настоящий кайф – куда там алкогольному! – а потом вдруг все обваливается... Все, понимаешь? – Он достал из бардачка еще одну фляжку, выпил, глядя перед собой незрячими глазами. – У меня вдруг появилась бездна свободного времени. Пока я валялся по госпиталям... а потом – эти вечера... Перебираешь прошлую жизнь: были жена с сыном – потерял, и потерял безвозвратно. Сожалею об этом? И вдруг понимаешь: уже – не сожалею. Ужас. Вот это и есть ужас: когда думал, что не сможешь без них прожить, а оказалось – еще как можешь. О второй жене и не говорю: она мне изменила, тут все ясно. Но ведь поначалу какая обида была! Кому изменила? Мне. Самому-рассамому – мне, единственному...

– Обними меня... вот так, рукой...

– А? Да, спасибо, малыш. – Он снова приложился к фляжке. – Много свободного – по-настоящему свободного времени, которого обычно офицер попросту лишен...

– Но ты же не в казарме жил – подъем, отбой...

– Это не имеет значения. Я служил. Более или менее строгий распорядок дня, дежурства, командировки – а я любил ездить в командировки, опасность – это когда я попал в группу, работавшую по Чечне... И вдруг время свалилось на меня, как камень. Пока вкальываешь с утра до вечера, а

иногда и сутками напролет, время – это ты и есть. Оно не просто шагает рядом, в ногу, – оно и есть твоя жизнь, размеренная и безотлагательная. А потом вдруг – обрыв. И время, продолжая оставаться тобою, превращается в щелочку. Я где-то читал, что тайком расстрелянного Берию растреляли в щелочку, чтобы и косточки ни одной не осталось... Вот и со мною происходит что-то подобное. Щелочь исподволь разъедает меня, пока от меня не останется ничего. Ни-че-го. Душа? Но я не верю в Бога. А больше и нечему уцелеть. Ты будешь смеяться, но я вдруг начал задумываться о смысле жизни. В сорок-то лет! Какого рожна я жил, думал, любил и ненавидел, стремился к чему-то, мечтал... Ну, конечно, какое-то время обо мне будут вспоминать родные, друзья, но и они забудут – такова жизнь. Я подарил тебе одну книжку – Гессе... У меня хорошая память. Обрывок одной фразы, извини, что называется, просто врезался в память... Что-то вроде: реализую себя, человек, каков бы он ни был, совершает высшее и единственно разумное деяние, на какое он только способен. На грани банальности! Но фразы вроде этой бьют по нервам, если человек только об этом и думает... Что такого я реализовал или должен реализовать, чтобы сказать себе: да, я совершил высшее и единственно разумное деяние, на какое я только был способен? Что? Неужели – ничего? Что останется после щелочки? Я пытался махнуть рукой на всю эту муть, пытался и пытаюсь забыть... но чем меньше времени остается, тем больше, черт подери, об этом думаешь!

– Я случайно подслушала разговор деда с Майей Михайловной о твоей болезни... извини...

– Ну а если б не болезнь? Все равно – щелочь. Щелочь. Сволочь. – Он помолчал. – Сейчас я сидел у могилы отца... он столько несчастий принес матери... да и мне... но я сейчас неспособен винить его в этом! Пытаюсь – и не могу. Физически – не могу. Потому что я одинок. Это не жалоба турка, это – констатация факта.

– И никого рядом?

– Если ты про женщин, то это в Москве не проблема. Обычно я пользуюсь услугами одного агентства...

– Я не про женщин, а вообще – про людей.

– Деда убили, и вдруг оказалось, что ближе человека у меня и не было. Палач, тюремщик, убийца... может быть, вор... не знаю! Мы разговаривали с ним всю ночь, и я понял: он тоже – в щелочку. Но у него под рукой оказался я, и он попросил последнего близкого ему человека прикончить его... расстрелять... Сейчас я понимаю, что не смог бы этого сделать. Разбудить его, как он просил, поздороваться и пустить пулю ему в висок. Таков план. Такой план можно доверить только ближайшему из людей. Тому, кому безусловно доверяешь. Он одного не учел: я тоже в щелочку. По уши. И если б я его застрелил, я остался бы совершенно один. Потому-то я и не ответил согласием, потому-то и тянул время, потому-то внутренне уже решил, что не стану этого делать. И вдруг – на тебе! Кто-то вмешался, кто-то посмеялся над нашими мучениями, нашими тайнами, над всей нашей прежней и будущей жизнью! Знать бы – кто...

Он откинулся на сиденье.

Диана поцеловала его в щеку. Потом за ухом. Потянулась к губам.

Байрон медленно растянул дрожащие губы в улыбку.

– Принцесса, ты решила пожалеть меня... а этого делать не надо... милая, не надо!

Она прижалась своими теплыми губами к его губам, что-то промычала. Стала нервно шарить руками по его телу. Он с силой оторвал ее от себя, посадил на колени.

– Диана!..

Взгляд ее был мутен, губы шевелились.

Байрон бережно поцеловал ее в сухие губы. Она облизнула его губы языком.

– Я не буду потом сожалеть о том, что по пьянке разжалобил и соблазнил юную девушку? – пробормотал он, расстегивая ее блузку. – Воспользовался гад моментом, чтобы... ну чтобы...

– Можешь потом заплатить мне... – Она торопливо расстегнула джинсы. – Как своим проституткам... Чертовы джинсы! Сто баксов... или сколько они берут? Да отдай ты мне эту бутылку! – Глотнула из горлышка, бросила бутылку в открытый бардачок, закашлялась. – У меня трусики уже мокрые... – Торопливо всунула ему в руку пакетик. – Но сперва надень это... пожалуйста, пройди тебя...

Они вернулись домой, когда грозовые тучи уже закрыли все небо над Шатовом, и въехали во двор, уже усыпанный еловым лапником, через незакрытые ворота с первыми каплями дождя.

Створки парадной двери были распахнуты настежь и подперты стульями, и даже со двора были видны колеблющиеся огоньки свечей, угол гроба, лаково вспыхнувший при внезапном блеске молнии. Кто-то – кажется, Нила – принялся наглухо закрывать плотные шторы в гостиной.

– Может, черным ходом пройдем? – предложила Диана. – Не по себе как-то...

Байрон, мотнув головой, взял ее за руку и повел по парадной лестнице.

Зеркало в большой прихожей было закрыто черной тканью. И длинный стол, на котором установили гроб, был застелен такой же тканью. Гроденапл, вспомнил вдруг Байрон, из такой материи шили архиерейское облачение. «Да какой, черт возьми, гроденапл! – одернул он себя с досадой. – Зауряднейший какой-нибудь сатин».

В зале было довольно многолюдно. Байрон узнал дядю Ваню, стоявшего бок о бок с какой-то женщиной в черном платке (наверное, Лиза, жена), и, выпустив руку Дианы («Подойди к бабушке», – шепотом велел ей), протолкался через толпу, чтобы поздороваться с ним.

Дядя без слов обнял Байрона, потянул носом слезу – от него пахло перегаром – и так же безмолвно отступил на полшага, чтобы представить свою жену. Она что-то пробормотала, едва взглянув на Байрона, перекрестила его и снова опустила голову. «А она мила, – подумал Байрон. – Кто все эти люди?»

Мать сидела в кресле, задвинутом в угол за камин, с раскрытой книгой на коленях, на которую падал свет торшера, сверху принакрытого черным платком. Возле нее сидела на корточках Диана, и Майя Михайловна ей явно выговаривала. Увидев Байрона, девушка встала и пошла через толпу к лестнице, ведущей наверх. Байрон поцеловал мать в лоб, потом в щеку. Толстая книга у нее на коленях оказалась Библией со множеством закладок.

– Воском пахнет, – пробормотал он. – Ты не мерзнешь?

– Где вас носило? – не повышая голоса, спросила Майя Михайловна. – Твой мобильник не отвечал. Его привезли уже три часа как, а тебя все нет и нет...

– На кладбище был. Мобильник отключил – хотелось побыть одному.

– Подойди к нему, а потом можешь прилечь – на тебе лица нет. Да, кстати, належь дяде Ване чего-нибудь... похмельем истерзался, бедолага, я же вижу, а попросить не попросит – стесняется. Надеюсь, после рюмки водки он не станет тут паясничать. – И повторила, словно убеждая кого-то: – Не станет.

Байрон подошел к изголовью гроба. Тело старика было укрыто до подбородка. Лицо было подкрашено и припудрено и пахло дешевой парфюмерией, перебивавшей запах горячего свечного воска. Байрон поцеловал деда в лоб, перекрестился. Люди вокруг невнятно зашептались, закрестились. Поверх голов Байрон увидел каких-то мужчин и женщин, которые в прихожей складывали зонты и приводили в порядок одежду.

– Татищевы приехали, – прошептал кто-то за спиной. – Всем семейством...

Байрон прошел через толпу – люди торопливо расступались перед ним – и взял дядю Ваню под руку.

– На пять минут, – шепнул он его жене. – Пойдем-ка.

В кухне никого не было, но горел свет и стол был накрыт – закуски, откупоренные бутылки, граненые рюмки. Байрон достал из подвешного шкафчика два высоких стакана, налил оба доверху, кивком пригласил дядю Ваню присоединиться. Выпили не чокаясь.

– Закусывай, – сказал Байрон. – Тут буженина... вот рыба...

– Сыт я, Байрон. Ты мне еще одну налей – и я пойду. – Он хихикнул. – Со вчерашнего похмелье, понимаешь? Майя не заругается?

Байрон наполнил его стакан.

– Не заругается. Что в городе-то говорят?

Дядя Ваня медленно выпил, схватил бутерброд, понюхал и положил на скатерть.

– Говорят разное, но чаще всего Татишевых вспоминают. Другие бандиты не в счет, а этим дед дорогу перешел – так уж перешел.

– Это с ликеро-водочным заводом?

– Конечно, а как же: такие деньжищи! Да вдобавок своих людей к ним подсадил... Оливию, скажем... Я в этом не разбираюсь, но, похоже, это и стало последней каплей. – Он с улыбкой посмотрел на бутылки с водкой. – Нет, пока – хватит. Не то наберусь, как зюзя. Ты бы зашел как-нибудь в гости к нам... Или дела в Москве? Если дела, то, конечно... а то зашел бы...

– Зайду. А ты иди к своей благоверной – заждалась. Еще встретимся.

Дядя Ваня, кивая и улыбаясь, задом вышел из кухни, напоследок перекрестив племянника.

Байрон досадливо сморщился. «Не станет паясничать, – вспомнил он слова матери. – Юродивым совсем стал. А быстро с дедом в больнице разобрались. Утром забрали – вечером вернули. А чего там? Осмотр тела, разрез по Шору, голову пришить – выноси готовенького. Послезавтра похороны. Неужто здесь и поминки устроят? Вся улица котлетами прононяет...».

После душа он выпил холодного зеленого чая – одной заварки – и поднялся в свою комнату. Приоткрыл дверь на галерею, впусив вместе со свежим воздухом шум разошедшегося дождя, включил ночник и лег под одеяло, закинув руки за голову. Щиплющий пот разъедал тело, сердце колотилось. Стоило закрыть глаза, как дала о себе знать натруженная ходьбой культя. Он попытался сосредоточиться на мыслях о Диане, но перед глазами встали два черных обелиска на кладбище, всплыло мятое лицо хихикающего дяди Вани, вспомнился твердый, как голая кость, дедов лоб, запах дешевой парфюмерии, источаемый мертвым телом, тьма, рассеиваемая огоньками свечей, люди, торопливо целующие нательные крестики, прежде чем сунуть их в рот, рослые солдаты в зимних шапках, чайники со спиртом на столе, прислоненном к монастырской стене, свет прожектора, обжигающая голые ступни земля, надвигающийся светлым проемом кирпичный сарай, освещенный внутри низко висящими керосиновыми лампами, винтовки, запах жженого пороха, исклеванная пулями стена, лязганье затворов, какой-то странный слитный шум, стена рушится, разваливаясь на куски, и он падает лицом вперед, больно ударяясь лбом о какой-то выступ...

Байрон сел, с трудом расцепил склежившиеся челюсти и только после этого перевел дыхание. Открыл глаза. Передернулся всем телом: холодно.

В стенном шкафу он нашел темные брюки, два пиджака, стопку рубашек и свитеров. Обрадовался: было во что одеться потеплее.

Откупорил бутылку рома, плеснул на доньшко стакана, выпил. Закурив, взялся за шкатулку, которая хранилась в сейфе. Сорвал сургучную печать. Вся шкатулка была доверху набита плотными конвертами, надписанными четким почерком старика Тавлинского: «Б.Г.Тавлинскому»,

«Д.А.Т-Черняевой», «Н.Ф.Ступицыной», «М.М.Тавлинской», «И.А.Тавлинскому», «О.И.Тавлинской». Никто не забыт. И на каждом конверте в углу пометка – «лично».

Самым толстым оказался конверт, адресованный Байрону. Он спрятал его в тумбочку. Остальные сложил стопкой на узком столе, придвинутом к противоположной стене.

В шкатулке остались лишь дедовы награды – каждый орден, каждая медаль обернуты синей бумагой – да завернутая в холстинку иконка – Богоматерь с младенцем, у которого на правой руке были судорожно искривлены пальцы. На крестное знамение это мало похоже. Кривые пальчики. Живописца нельзя было отнести к разряду мастеров своего дела. Какой-нибудь крепостной богомаз, может быть, инвалид, пригретый богомольной барыней за искорку таланта. Взгляд Богородицы жив и выразителен. Только вот нос толстоват, вопреки византийскому канону, да губы слишком натурально сложены в улыбку. Может, с барыни и писал. Или с ее дочери. Скорее портрет, парсуна, чем икона. А вот у малыша лицо странно-ватое: детский лобик, младенческий подбородок, щечки в ямочках – и вдруг эти набрякшие старческие подглазья, глаза выкачены и взгляд – болезненно-строг и как будто слегка растерян. Байрон перевернул иконку – на обороте – только дата: 1799 году по РХ.

Дверь в комнату Дианы была заперта. Байрон снова постучал. Подождал, вертя в руках конверт со странной надписью «Д.А.Т-Черняевой» (откуда взялась эта Т и что бы это значило?), поднял руку, но в третий раз стучать не потребовалось: Диана в банном халате и с феном в руках стояла на пороге, вопросительно глядя на нежданного – он это почувствовал – гостя.

– Указом от 1718 года Петр Великий запретил писать, запершись в комнате, – попытался пошутить он. – Это тебе. От деда.

– Я принимала душ. Проходи. – Она посторонилась. – Э, да ты, кажется, почти трезв!

Хмыкнув, он огляделся. Комната была прямоугольной, перегороженной книжными стеллажами, за которыми можно было разглядеть тахту и включенный ночник. В передней же части помещения главное место занимал компьютер с включенным монитором, офисное кресло с подголовником. Обе стены заняты книжными шкафами, один из которых – с откинутой панелью – играл роль секретера.

Диана вытащила из-под секретера табурет. Конверт, встряхнув, бросила на клавиатуру компьютера.

Байрон сел, упершись руками в колени.

Диана взялась за расческу.

– В детстве ты была рыжей и косоглазой, как жена Пушкина, – сказал он. – Une madonne louche et rousse.

– Помню, как меня таскали к окулисту. – Она бережно провела расческой по каштановым волосам. – Все образовалось к лучшему. Как и с ногой. Хотя и пришлось претерпеть немало, зато сейчас я даже не хромаю. Кажется.

– Ничуть!

– Врачи посоветовали мне побольше ходить пешком... Как ты думаешь, что в этом конверте?

– Не знаю. Может, ключ от квартиры. Банковская карточка. Документы на квартиру где-нибудь в районе Чистых Прудов – поближе к месту учебы. Или просто напутствие... Бог вещь! Он всем оставил по письму, а меня определил в письмоноши. Только я не понял, что означает буква Т перед твоей фамилией. Секрет?

– Получая паспорт, я взяла фамилию Тавлинская-Черняева... – Она принялась расчесывать кончики волос. – Ты не знал? Дед был очень тронут...

– Могу вообразить... – промямлил Байрон. – А остальные? Ну мать...

– Моя родная мать, как и отец, сгинули, словно и не было их, так что их мнения просто не существует в природе. Остальные приняли как должное... кроме Оливии... – Отшвырнув расческу, она остановилась перед ним, уперев руки в бока. – Ты ведь не затем пришел, чтобы разгадать тайну буквы Т. Тебя что-то терзает, и я догадываюсь – что. Ты, видимо, считаешь, что виноват перед людьми и Богом в соблазнении неопытной юницы. Помолчи! Юница сама этого хотела, как мартовская кошка...

– И заблаговременно набила карманы презервативами...

– Помолчи, пожалуйста! – Она топнула ногой. – И поверь: для меня это было испытанием похлеще всех тех, что выпадали мне в жизни. А мне перепадало... Тебя бы в шкуру девочки-хромоножки хотя бы на денек-другой – ты б взвыл, милый, – а я терпела. – Она вдруг решительно села к нему на колени. – Ты для меня много сделал, Байрон. Словами не передать. Очень много. Чтобы я не ощущала свою ущербность и все такое. – Она поцеловала его в висок. – Ты называл меня принцессой, дарил необыкновенные игрушки, читал книги... Нила требовала, чтобы я молилась на ночь, и я молилась: Господи, сделай так, чтобы Байрон поскорее приехал в Шатов! Чтобы взял меня на колени, прижал к себе, назвал принцессой... Поэтому то, что случилось между нами, не могло не случиться. Я и мысли не допускала, что женщиной меня сделает кто-нибудь, кроме тебя. Там, в машине, мне было неудобно, больно... а потом хорошо... – Она взяла его пахучей рукой за подбородок, посмотрела в глаза. – Ты – мой?

Он кивнул не раздумывая, потому что он, конечно же, лгал. У него не было никого, его не было ни у кого.

Неожиданно оттолкнув его, она спрыгнула на пол и снова уперла руки в бока.

– Тогда не смей спать с этой стервой Оливией!

– А с чего ты взяла...

– Я же не утверждаю, что ты с нею спал! – остановила она его. – Для меня ты – чуть ли не вся моя жизнь, и мне даже кажется, что я готова провести с тобой все оставленные тебе дни... сколько?

– Двести или триста, – ответил он. – Ты не выдержишь и недели. Я не шучу. Первым делом они хотят оттяпать мне ногу до колена. Дальше – больше, как подсказывает мне профессиональный инстинкт. Не думай об этом. И вообще постарайся перевести наши отношения в Past Perfect. В Plus-quauparfekt. Это та же игра, только всерьез – вот и все. Что-то вроде дивертисмента со сменяющимися танцорами. На смену отплясавшим тотчас выскакивают другие, и никто в зале уже не вспоминает о предшественниках...

– Какую чушь ты несешь! – медленно проговорила она. – Ты сам себя должен презирать за эти слова. Дивертисмент! Ты глухой? Ты не понял, что ты для меня значил и значишь?

– Извини. – Он дернул себя за мочку уха. – Уши горят?

– Шут гороховый! – с облегчением рассмеялась Диана. – Сказывается отсутствие огневой поддержки, господин подполковник? У меня есть коньяк – только не выпей все. – Сняв с полки две книги, извлекла из образовавшейся прорехи бутылку коньяка. – Кажется, настоящий. Мне врачи посоветовали капать его в кофе... у меня гипотония... можешь из горлышка – ведь не привыкать статью?

– Спасибо. – Он выпил. – Кажется, и впрямь не подделка. – Выпил еще. – Слушай, юница, а за что ты так ненавидишь Оливию?

– Не только за то, что она на тебя смотрит так, словно ложкой ест. Вся ее жизнь в качестве мадам Звонаревой – темна, извилиста и, ты уж прости, омерзительна. Ну не верю я в случайную смерть ее мужа-калеки. Ну да, пьяная свекровь стреляет из ружья, и насмерть перепуганная Оливия бросается в Домзак, оставив мужа одного на берегу реки. Однако дед однажды проболтался, что инвалидная коляска стояла под самой стеной Дом-

зака и следы колес к реке вели вдоль стены – впритык. Так что выстрел-то был – в небо, а не в Оливию, как она потом утверждала. Свекровь из своего окна и разглядеть-то их не могла – там же полуметровые подоконники. Все свидетели слышали выстрел, видели бегущую и визжащую Оливию, которую пришлось отпаивать с ложечки – так она перепугалась. А когда спохватились и бросились за ворота – инвалида и след простыл.

– Болтали про каких-то незнакомцев, якобы удиравших с острова по мосту...

– И растворившихся в воздухе. Дед еще, помню, смеялся: Надя стреляла холостыми патронами, сыну, инвалиду и пропойце, хватило ума задолго до того случая разрядить патроны, оставив в них только порох да пыжи.

– По-твоему, Оливия организовала убийство мужа? – Байрон с удовольствием сделал глоток коньяка. Ему стало жарко. – Наемные убийцы и все такое? В Шатове?

– Мне почему-то кажется, что это сделала не она, – спокойно возразила Диана, вновь берясь за расческу. – Но ведь сюжет развивался. Дед купил ей дом неподалеку от «Марса», в котором Оливия прожила почти год. Это тебе известно. Но вот чего ты не знаешь, великий сыщик: прожила она там вовсе не одна, а с Татой. Шатов – город небольшой, поэтому такие тайны здесь – секрет Полишинеля. Одиноким вдовец Тата, создавший небольшую, но небедную ликеро-водочную фирму, частенько вечерами навещал безутешную вдову Оливию. Оставался у нее ночевать. Чем уж она там занималась со слюнявым стариком – можно только догадываться.

– Старики разные бывают...

– У Таты было страшно большое сердце, это факт. Возможно, Оливия выступала в роли сестры милосердия, больничной сиделки... Но, когда Тата умер, вдруг оказалось, что все свои акции он завещал Оливии. После похорон многие потом судачили о его сыновьях и внуках, которые недели две дико пьянствовали в своем казино и всячески, мягко скажем, поносили Оливию. А еще сильнее – Андрея Григорьевича Тавлинского, старинного знакомого Таты, который подложил ему свинью – Оливию. Результат-то налицо: блокирующий пакет акций водочного завода оказался в руках Тавлинских, а Оливия и еще двое из компании Тавлинских – в совете директоров водочного завода. Если же муниципалитет, то есть мэр, обязанный своим вторым сроком исключительно Тавлинскому, отдаст в частные руки – в руки все той же Оливии Звонаревой – свой пакет акций, то Тавлинские установят полный контроль над производством крепких напитков в городе и районе, а вдобавок могут – и смогут – дать хорошего пинка под зад всем Татиным отпрыскам. Бизнес, Байрон, он и в Шатове бизнес.

– Если следовать твоей логике, деду было выгодно сделать Оливию свободной женщиной, а значит, он мог быть потенциальным заказчиком убийства ее мужа-инвалида. Но! – Он умоляюще посмотрел на Диану. – Мне бы сигаретку выкурить, госпожа хозяйка.

– Курни разок.

– Но если он задолго до того прикидывал, как бы прибрать к рукам водочную прибыль, и остановил выбор на Тате, с которым у него и впрямь были неплохие человеческие отношения, что мешало ему поманить старика-приятеля аппетитной девчушкой и посетовать на ее тяжкое бремя – на живучего паразита Звонарева? Я хочу сказать, что и Тата мог оказаться заказчиком убийства. У него бандитов под рукой было поди не меньше, чем у Тавлинского...

– Я же не про Тату с дедом тебе рассказала – про Оливию.

– Ясно, – кивнул Байрон, протягивая ей бутылку. – Убери, а то прикончу. Что ж... – Погасил сигарету в чайном блюдце. – Бизнес и в Шатове бизнес. Я тебя понимаю... насчет Оливии... у нее очень красивые коровьи глаза, а у тебя сейчас – рысьи. И это возбуждает.

– Только не сейчас. – Диана отступила на шаг. – У меня там внизу еще все болит. Бедные твои проститутки по вызову! Каково им-то приходится!

– Язык мой – враг мой. Портрет принцессы Дианы ты, я вижу, сменила на портрет леди Тэтчер. Символический символ!

– Да ну тебя! Что ж мне – до скончания века молиться на принцессу? А на леди Тэтчер я не молюсь. Ее взгляд, как бы выразиться поточнее, дисциплинирует, что ли...

– Электризует?

– Возможно.

– А как поживает Герцог?

Диана молча скрылась за стеллажами, опустилась на четвереньки – Байрон добродушно наблюдал за ее поисками – и вытащила что-то из-под тахты. Вернулась с торжествующим видом, держа в вытянутых перед собой руках белую обувную коробку с крупно выведенной детской рукой надписью «Герцог».

– Боже ж ты мой! – Байрон взял коробку, встряхнул. – Значит, жив?

– Вырос и стал своенравен. – Сдвинув клавиатуру, Диана села на краешек стола спиной к компьютеру. – Каюсь, однако: редко с ним гуляем. То то, то се...

– Боже ж ты мой! – повторил Байрон. – Сколько тебе тогда лет было? Семь? Восемь?

– Не помню. – Она улыбнулась, и рысьи ее глаза превратились в красивые коровьи.

Когда-то он подарил ей коробку из-под обуви, предупредив, что внутри – щенок неведомой и странной породы. Щенок-невидимка. Совсем крошечное создание, у которого и имени-то еще не было. Он осторожно приподнял крышку, и девочка заглянула в коробку. «Какой маленький!» Они вместе придумали ему имя – Герцог. А потом Байрон подробно объяснил маленькой Диане, что другой такой собаки на земле нету и поэтому девочка должна была сама придумать ему цвет, рост, форму ушей – все то, что называется экстерьером. А поскольку пес необычный, предстояло продумать, чем и как его кормить-поить, чтобы он рос здоровым и бодрым, и каким он станет, когда вырастет, и как вести себя в комнате и на прогулках, чтобы ненароком не отдавить ему лапу или, на приведи Господь, оторвать хвост. Приезжая в Шатов, Байрон непременно интересовался судьбой Герцога, и Диана рассказывала ему о причудах и проказах собачки, о ее отвращении к порядку – они держали совет, как приучить пса вытирать лапы о коврик у входной двери и отучить от дурных манер: по ночам, например, он иногда выл напропалую, при этом, однако, никогда не обращал внимания на кошек...

– Сохранила, – сказал Байрон, не поднимая взгляда от коробки. – А я уж начал было забывать о нем...

Диана тихонько рассмеялась. Взболтала содержимое бутылки, налила в винные бокалы. Выпили. Она закурила тоненькую длинную сигарету.

– Ты расчувствовался, старина Байрон, – без тени усмешки проговорила Диана. – Господи, как ты старомоден! Я не корю тебя этим – просто констатирую факт. Даришь мне книги, которые сам терпеть не можешь, – того же Паланика или Манна...

– Томаса люблю, – возразил он. – Особенно «Волшебную гору» и «Фаустуса». Это тебе не Паланик...

– Ну, разумеется, кто бы спорил! Кстати, ты мне привез «Удушье» Паланика, а я уже его «Уцелевшего» в интернете прочитала. Но спорить я и впрямь не хочу. Это отдает какими-то шестидесятыми с их кухонными читками вслух и дебатами – о, разумеется, жаркими!

– Старомодные чувства, как и старомодный стиль в литературе, – тревожный искус для новых людей.

– Наверное, я как-то не так выразилась, извини. Я не знаю, как это все назвать... то, что тебе присуще... – Она глубоко затагнулась и выпустила дым щегольскими колечками. – Благородство, честь, сострадание – да есть ли все это? Есть. Но все эти качества странным образом смешались с други-

ми... с высокомерием, наплеви́змом... с цинизмом наконец, хотя я и сама не без греха... Но в тебе это смешалось и сплавилось – одно от другого подчас не отличить...

– Я не одинок.

– В этом – да. Герой Советского Союза, стальной солдат империи, переживший империю и получивший орден от новой России... И переставший быть солдатом отчаявшийся человек, бессильный перед обстоятельствами... Я выпила и несу Бог весть что!

– Просто ты хочешь сказать, что я советско-российский человек, пользующийся свободой для собственного обогащения, но при этом плюющий на деньги...

– Не похоже, чтобы ты плевал на деньги. Даже Иосиф Бродский как-то сказал, что сила, которая способна объединить народы, – вовсе не любовь, как думал Тютчев, но – деньги.

– Оба правы. Слишком много мне пришлось думать о душе, чтобы вот так запросто переключиться на золото... Плюс мои проблемы, о которых я тебе уже рассказывал сегодня... А что до России, то и в ней мысль о душе всегда останется первенствующей, какой бы капитализм мы ни построили бы...

– Ты вполне тянешь на героя нашего времени, но не смог бы – будь даже у тебя железное здоровье – стать героем нашего нового времени. Вот что я подумала.

Он тяжело поднялся с табурета.

– Извини, устал. А за Герцога – спасибо. – Скривился. – Эта любовь может спасти хотя бы один мир – мой.

– Байрон...

В дверь постучали.

Вошла Майя Михайловна – строго одетая во все темное, но, как всегда, ловкая и быстрая в движениях, с прямой спиной и высоко поднятой головой.

– Вот вы где! Накурили... Ложилась бы ты спать, Диана, – впереди два тяжелых дня. А ты, дружок, мне нужен.

– Байрон! – окликнула его Диана. – Lassen Sie die Tür auf die Galerie offen, bitte.*

К вечеру нога по-настоящему разболелась, и прихрамывающему Байрону было трудно убраться за стремительно – на ней были туфли на высоких каблуках – шагавшей матерью, которой словно нипочем были переживания тяжелого дня. Подъем в шесть утра, гимнастика, контрастный душ, макияж – из самых дорогих московских бутиков, легкий завтрак с чашкой какого-то оздоравливающего и тонизирующего напитка, перед работой – получасовой массаж в комнате отдыха. И только после этого – явление Майи народу. Генеральный директор компании «Тавлинские» на своем месте. А ведь ей скоро шестьдесят два, черт возьми. И в таком возрасте она не утратила интереса к мужчинам. Байрон знал, что, выбирая шофера-телохранителя, Майя Михайловна оценивала не только его профессиональные, но и обязательно – мужские достоинства. Эта тема в семье не обсуждалась: госпожа Тавлинская – свободная женщина, умеющая постоять за себя. Никто не мог отказать ей в гибкости ума, пронизательности и целеустремленности. Дед доверял ее интуиции и ни разу, по его же словам, не пожалел об этом.

Она вдруг остановилась перед дверью в его комнату, и Байрон чуть не налетел на нее.

– Похоже, у тебя мобильник жужжит. – И пошла дальше, бросив на ходу: – Спустись потом в гостиную. Это не к спеху.

* Оставьте дверь на галерею открытой, пожалуйста (нем).

- Байрон схватил мобильник. Звонил Аршавир.
- Ты где, Байрон? И как ты там? Я читал сообщение, которое ты сбросил мне на автоответчик. Это серьезно?
- Дед умер, Аршавир. Точнее, его убили...
- Что ты зачинаешься? Кто убил? Как это произошло?
- Топором. На сегодняшний день я – единственный подозреваемый. Сажу в Шатове под подпиской о невыезде.
- Даже так? Круто же они взялись... Ну а на самом деле – что?
- Против меня практически никаких улик. Так, косвенные... Я последний, кто видел деда живым, ну вот они от этого и пляшут... Глупота!
- Так, старина. – Аршавир выдержал короткую паузу. – Во-первых, мы можем немедленно прислать курьера со всеми твоими медицинскими документами. Ну требуется срочная госпитализация, возможно, и неотложная операция...
- Аршавир!..
- Не перебивай. Это ж не какие-нибудь липовые бумаги. Я разговаривал с твоими врачами, поэтому транслирую их позицию. Обвинение тебе не предъявлено?
- Нет, конечно.
- Помощь нужна?
- Думаю, пока – нет.
- Завтра же здесь у меня будут лучшие адвокаты, которые готовы выехать к тебе по сигналу тревоги. Ты можешь прислать синопсис всей этой истории «мылом»? Интернет там у вас есть?
- Кажется, есть. Но опыт мне подсказывает, что не сегодня завтра они начнут отрабатывать другие версии. Одну-две. И гораздо более реалистические, чем моя.
- Местные разборки?
- Думаю, да. За последние годы дед тут многим на любимые мозоли наступил. В результате стал самым, пожалуй, богатым шатовским бизнесменом. Торговля, производство водки и пива, строительство, безумно прибыльный крахмало-паточный завод и так далее – все в его руках. Включая местную власть.
- Ну это само собой разумеется. Дали б ему развернуться, если бы он не купил мэра и его свору.
- Вдобавок некоторые личные качества... Дед был сущим дьяволом по женской части...
- Какого он года?
- Девятьсот седьмого. И до последнего времени не упускал случая залезть под юбку... Знаешь, были скандалы, но старику как-то удавалось выходить сухим из воды... за деньги, конечно... То есть, хочу я сказать, в этом деле может всплыть и мотив ревности какого-нибудь обманутого мужа...
- Или незаконнорожденного ребенка.
- Аршавир, дорогой, понятие «незаконнорожденный» было отменено еще Лениным. Да и трудно представить себе кого-то, кто годами копил злобу на Тавлинского, чтобы однажды отомстить... это пахнет плохой литературой... Так что пока ничего страшного не случилось – ну, кроме убийства деда, разумеется. С остальным я как-нибудь и сам справлюсь.
- Что ж, командир, я твоему опыту доверяю. Но все-таки постарайся держать меня в курсе. На всякий случай.
- Постараюсь. И не расстраивайся, Аршавир. Keep well!
- See later.
- «Командир». Байрон покачал головой. Сколько уж лет минуло после Афганистана, а они все еще зовут его командиром. С того гадского дня, когда их спецгруппа попала в засаду в Пондшерском ущелье, когда старший лейтенант был тяжело ранен и Байрону пришлось на себе выносить его из зоны обстрела, а потом собирать оставшихся в живых бойцов в кулак и с боем пробиваться из окружения... Было – и былшем поросло. Герой

Советского Союза Байрон Тавлинский. Ими гордится школа. Их портреты рисуют на стенах общественных туалетов.

Сунув в карман три конверта и отперев дверь на галерею, вышел из комнаты.

«Спелее лилий, жарче снега и милее агнца», – всплыло вдруг в памяти. Откуда это? И о ком – о Диане или об Оливии? Спелее лилий... Как бы Оливии не пришлось сегодня в голову посетить его постель.

Миновав дедов кабинет, он постучал в следующую комнату – это была спальня Оливии. Выждав, постучал еще раз. Ни звука в ответ. Что ж. Уже спускаясь по черной лестнице, услышал щелчок дверного замка. Но он слишком редко бывал в этом доме, чтобы вот так запросто, на слух определить, чья дверь захлопнулась. Не исключено, что дверь Оливии. А может быть, принцесса подглядывала?

Как он и ожидал, Нила возилась в кухне. Глаза ее были сухими, но красными.

– Пошла бы прилегла, – сказал Байрон, протягивая ей конверт. – Это тебе послание от Андрея Григорьевича. Посмертное прости.... или я не знаю что, извини...

Нила испуганно взяла конверт обеими руками. Подняла взгляд на Байрона. Глаза ее набухли слезами.

– Ну, Нила, ну! Открой и прочитай, а я пойду – мать ждет.

Майя Михайловна ждала его, забравшись в кресло с ногами и укрывшись пледом. Туфли ее на высоких каблучках валялись на полу. Толстая Библия со множеством закладок лежала на столике под торшером, по-прежнему укрытым какой-то темной шалью.

Байрон прошел мимо открытого гроба, в глубине которого смутно желтело лицо старика, и сел на диван. Вынул из кармана два конверта.

– Один тебе, другой Оливии, но я ее не нашел...

– Я отдам. Спит, наверное. Ей сегодня пришлось нелегко. – Она взяла конверты. – Вообще-то я знаю, что в них: свекор советовался со мной насчет этих посланий. Я его отговаривала: все равно ведь то же самое будет в завещании... Но он решил перестраховаться и подтвердить неизменность завещания, хотя эти письма, как ты понимаешь, не имеют юридической силы. Ну причуда такая... Как ты-то себя чувствуешь? Господи, неужели и тебя Бог накажет этой болезнью!.. Кури, если хочешь. Пепельница вон там... на нижней полке...

Выждав, пока он закурит, Майя Михайловна взяла сына за руку.

– Надеюсь, тебя не напугал наш прокурор? Вообще – он неплохой человек. А на подписку о невыезде наплюй и забудь: надо будет, так хоть в день похорон уезжай...

– У меня другие планы. Побуду здесь еще недельку, а может, и больше. Ма, где поминки устраивают?

– В ресторане у реки. Мы с Оливией там немного посидим приличия ради, а потом вернемся домой. Здесь можно просто помянуть... среди своих... даже дядю Ваню можно позвать...

Байрон кивнул.

– Завтра с утра тебе нужно побывать в милиции, заполнить кой-какие бумаги. Из-за твоего приступа это все отложили, но завтра – ты уж, пожалуйста. Да зайди к Кирцеру, поболтай. Дело минутное, но небесполезное. И не напрягайся: ему скоро на пенсию, и еще дед обещал устроить его к нам в компанию на теплое место. Будет каким-нибудь замом по общим вопросам или по безопасности... не знаю... У нас в охранном предприятии, обслуживающем компанию, немало бывших милиционеров...

– Даже вообразить боюсь, сколько на тебя всего свалится после похорон...

– Я справлюсь, милый. Да и Герман Лудинг, мой первый зам, человек надежнейший. Впрочем, ненадежных людей и не держим. Я сегодня успе-

ла перекинуться парой слов с Германом насчет возможного убийцы. У него в компьютере тьма-тьмушая информации о шатовском бизнесе и бизнесменах, а также о бандитах. Герман считает, что след ведет за реку – к сыновьям Таты. И к его внуку-оглоду. Этот у них как раз за безопасность отвечает, а у самого только девки да казино на уме. Все мы в той или иной степени заражены цинизмом, но такую циничную скотину, как младший Тата – и кличка у него Обезьян, – редко встретишь. Хитрый гаденыш, мстительный – такой вполне мог организовать покушение на деда. Нам-то известно больше, чем милиции. Знаем кой о каких его делишках. Я попросила Германа подготовить и сегодня же передать Кирцеру все материалы на Обезьяна.

– Факты, улики и все такое? Свидетели?

– Насчет свидетелей, как всегда, туго. Боятся люди. Обезьян ведь ни перед чем не остановится. Вот пусть пока милиция и прокуратура им и займутся. За что мы им деньги платим?

– Налоги, ты хотела сказать? Или взятки?

Мать усмехнулась.

– Покойный Андрей Григорьевич при поддержке местных бизнесменов и властей создал общественный фонд помощи правоохранительным органам. Фонд-то общественный, но сам понимаешь...

– Понимаю. – Байрон погасил окурочек в пепельнице. – Ты особенно не беспокойся, ма, не забывай, что я тоже юрист. Всякого навидался... Кстат, а что за кличка – Тата? Татищев?

– Татищевы. Ну иди вздремни, а потом спускайся... Или тебя поднять? Байрон встал.

– Не надо. Все равно сплю урывками – никакие таблетки не помогают.

– Кстат! – вдруг спохватилась мать. – Я договорилась с одной нашей кудесницей, которая согласилась принять тебя завтра. Сможешь после обеда?

– Знахарка, что ли? Ма...

– Знахарка, но с университетским дипломом. Интереснейший человек. Тебя не будет от знакомства с Любовью Дмитриевной. Если все упакуется, Оливия тебя и свезет к ней. Не спорь, пожалуйста.

– Только ради тебя... – Байрон переступил с ноги на ногу. – Ты привыкла к этому дому? Как он тебе?

Майя Михайловна вздохнула.

– Привыкаю. Хотя, конечно, трудно считать семейным гнездом такую махину. Ты об этом? Но это была дедова мечта. Ты бы видел, как он с рабочими вместе кирпичи разглядывал или краску пробовал... Мечта.

– Краску пробовал?

– Капнет на руку, разотрет, потом нюхает... даже лизнет, бывало... – Она устало улыбнулась. – Если я вдруг усну здесь, буди безжалостно. Мне трех часов сна довольно.

Комнату свою он запер изнутри, отстегнул протез, придвинул столик с часами, бутылкой рома и пепельницей ближе к кровати и, прикрутив свет ночника до предела, забрался под одеяло. Уставился на эстамп, в полутьме казавшийся просто темным прямоугольником на противоположной стене. Он никогда не бросится спасать ее, как Грегор Замза – картинку из прошлого иллюстрированного журнала с изображением дамы в меховой шляпе и боа. Та картинка – все, что осталось от человека Замзы. У него и того не осталось.

Он приложился к бутылке.

Все впустую. Афганистан, Чечня – впустую. Жены, сын, мать, отец... Господи, да любил ли он их когда-нибудь? Другой, совсем другой вопрос: любили ли они его? А он? Если честно. Если он вообще способен честно ответить на вопрос, который – теперь нет нужды прятать это – никогда по-настоящему и не занимал его. Как, например, случай с Дианой. Со вре-

менем его чувства скорее отмирали, чем развивались. А может, именно такова форма их развития?

С шумом выдохнув, он перевернулся на бок. Наверное, перед смертью он вспоминал какие-нибудь случайные глупости – вроде дамы в меховой шляпе, но даже если и отважится рассказать об этом, если успеет рассказать – кому до всего этого дело? Он воевал, жил, работал, обнимал женщин, а все сведется к даме в меховой шляпе, и это еще хорошо, если к ней, а не к какой-нибудь...

Он пригнулся, успев проскочить в подъезд, – пули веером раскрошили остатки штукатурки на стене, когда он уже был за дверью. Выравнивая дыхание и выставив перед собою нож, он поднялся к лифту – и отшатнулся: трупный запах. Значит, этих двоих так и не убрали из кабины. Пятый день. Что ж, не привыкать стать – шестьсот шестьдесят шесть ступенек наверх. Только не спешить, шагать в одном ритме. И не утрачивать бдительность: иногда они нападают на лестничных площадках.

У своей двери он остановился и долго прислушивался. Вроде бы чисто и пусто. Миновав прихожую (под ногами хрустело битое стекло), быстро обошел квартиру: никого. Чисто и пусто. Наскоро перекусив, рухнул в кресло и тотчас заснул, напоследок глянув на часы: в запасе у него сто пятнадцать минут. Достаточно. Ни за что. Он передернул затвор. Клацнуло. Смешно, впрочем. Ведь никогда. И потом, это они, а не он. Ему остается только. Уж это-то он усвоил. Среди ночи подними. Выглянул. За углом ни. Тьма – как в угольной яме. Он никогда не бывал в угольной яме. Пустырь. Впереди метров пятьсот-шестьсот голого пространства без свойств. Разве что страх и зелень. Ямы, рытвины, кусты, путаница ржавой проволоки, обломки бетонных плит, ржавые двутавровые балки внавал. Но выбора нет. И не было. Пуля с выматывающим душу жужжанием прошла в метре над его головой. В девяноста семи сантиметрах над. Они. За ним. Но и он, хоть и по-своему. Он выстрелил не целясь. Теперь можно. Зажмурившись, вперед. Слава Богу. Нет. Налево. Еще левее. *Левее*. Теперь сюда. Замер как. Враскоряку сидеть – ну да что ж. Они ведь все равно. Впрочем, он тоже. Пора. Бросился, обдираясь. Скользнул на глине, упал боком, вскопил, снова побежал. Не стреляют. Если только они не. Тогда – да. Но зарываться в землю – нет времени. Да и ногти. Хорошо бы. Уперся в стену. Где-то здесь. Открыл без скрипа. Тьма. Из чего ее делают? Из сгущенного света. Судя по ощущениям – они лгут, – огромный цех. Зал. На середину никак нельзя: а вдруг они дежурят у рубильника? И включают свет, когда он выйдет на открытое место, к белой черте? Прижимаясь. Держа перед собой. Мерцает. Сердце сейчас. Лечь, прижаться щекой, зажмуриться. Толчок – он с визгом бросается в пролет. Переворачивается, пытаясь догнать хоть глоток воздуха, переворачивается – и просыпается, весь в поту, дрожащий, в кресле на кухне, перед глазами часы: осталось семнадцать минут. Спал девяносто восемь минут. Более чем. То ли он за кем-то гнался, то ли за ним. Мания величия в форме мании преследования.

Потягиваясь, с чашкой кофе в руке, он прошел в комнату, где у распахнутого окна на треноге стоял крупнокалиберный пулемет. Внизу – огромная площадь с белой чертой посередине. Напротив – массивное здание с голым флаштоком (какой сегодня флаг?). Они уже скапливаются там, в этом здании, в прилегающих проулках и дворах. Как только поднимется флаг, они ринутся на площадь – отчаянные храбрецы-единицы увлекут за собой бойцов посмелее и поопытнее, за которыми хлынет вооруженное мясо.

Осталось две с половиной минуты. Алая с желтым пятном тряпка уже ползет по флаштоку.

Он еще раз обошел квартиру. В прихожей включил взрыватели мин направленного действия и огнеметы. Если им все же удастся проскочить в дом, первым тридцати-сорока смельчакам придется худо. А тем временем он, если повезет, уйдет этажом-двумя выше и попытается завладеть какой-нибудь квартирой. Хорошо бы с женщиной.

Тридцать секунд.

Он проверил патронную ленту (рядом, на полу, около десятка запасных коробок), передернул затвор. Включил дульный вентилятор. Надел шлем с наушниками. С трудом развернул гофрированный хобот тяжелого пулемета и, валяя дурака, дал одиночный выстрел по стеклам дома напротив. Начинается...

Появились первые бойцы. Их около сотни. Стайка мух. Они устремляются к белой черте пока еще неуверенно, короткими перебежками. Из дома напротив, из правого проулка и с крыши ударили пулеметы. Он займется ими чуть позже. А вот сейчас важно уложить первых у рваной асфальтовой воронки. У него свои ориентиры. Следующая – искореженный взрывом автомобиль. Ну а потом – белая черта. Там уж коси их косой – все равно сотни прорвутся, затапывая убитых и раненых. Поднялись. Он дал короткую очередь. Один упал. Остальные продолжают бежать пригнувшись. Тщательнее прицелившись, он изо всей силы жмет на спусковой рычаг. Вентилятор ревет. Трупы, разваливаясь на куски, взлетают в воздух. Мясо! Человек с оторванной ногой еще прыгает, но он уже больше не опасен. Остальные залегли. За ними двинулись бойцы поопытнее. Огонь. Огонь. Огонь! Пошло мясо. Супчик с мясом. Их тысячи, тысячи! Огонь! Что происходит? Что со ним? Ранен? В голову? Почему ему так больно? Так больно! Так больно... Из одного ада – в другой, из одной дурной бесконечности – в другую.

Липкий с ног до головы от горячего щиплющего пота, он резко очнулся. Было темно.

– Я выключила свет, – прошептала Диана. – Ты входную дверь запер?

Он кивнул. Страх и боль медленно гасли, но сердце еще ныло, словно дотлевал последний уголек в костре.

Она взяла его за руку, и он вдруг понял, что она волнуется.

– У тебя сердце колотится, – сказала она. – Ты видел кошмар?

Байрон прокашлялся.

– А ничего другого мне уже давно и не снится, принцесса. Извини: заснул.

– Тебя мучают воспоминания о войне?

– Нет. Я прекрасно помню во всех деталях то, что делал на войне, но это не мешает мне спать... Но кошмары странные: взрывы в метро, перестрелки в каком-то незнакомом городе – на пустынных улицах и площадях... как у Де Кирико... Я даже не вижу лиц тех людей, которых почему-то вынужден убивать. И при этом я всегда один, а их много. Чушь. – Он приподнялся на локте и сделал несколько глотков из бутылки. – Если я правильно понял своего психолога, это что-то вроде ретроградной амнезии, только особого сорта. – Он привлек ее к себе. – Хорошо, что ты пришла.

– Не обижайся... но ты ведь и проституток нанимаешь, чтобы избавиться от этих кошмаров?

– Давай закроем эту тему, принцесса. Проститутки – люди без лиц. После них бывает иногда хуже, иногда – никак. Или как всегда. Мужчине нужна женщина – только и всего. Я, конечно, говорю только о себе, но меня устраивают женщины, которые не обрушивают на тебя всю эту архаику... любовь, смерть, кровавые игрища... ужасы дионисийства, которых так боялся наш великан Гете, потому что они портили милую его сердцу картину эллинского золотого века...

– А я еще назвала тебя старомодным! – В ее голосе прозвучала ирония. – Простой солдат, не верящий в любовь. Мне кажется, я это давно про тебя знала.

– Но все же пришла...

– Надо же когда-нибудь начинать. – Она поцеловала его в пахнувший ромом рот. – Это плохая шутка, прости. Байрон, миленький, я хочу... можно я лягу на живот, а ты – сверху? Не бойся – я терпеливая... если это больно...

От нее пахло душистым кремом.

«Смазалась, – устало подумал он. И почему-то этот запах – скорее прихоть памяти, чем обоняния, – напомнил ему запах, который он ощутил, целуя деда в лоб. – А я просто мертвец. Человек, которому дано пережить собственную смерть».

– Я вся мокрая от пота! – Диана счастливо рассмеялась. – Как ты думаешь, я смогу заменить тебе всех этих девочек по вызову?

Он хмыкнул.

– Налей и мне, – попросила она. – Ты уверен, что дверь заперта?

– Разумеется. – Он плеснул ей на доньшко стакана. – Это баккарди – можно даже посмаковать.

Она выпила одним глотком, закашлялась.

– Обжигает, – прошептала она, возвращая стакан. – А я видела, как ты стучался к Оливии...

– Хотел отдать ей письмо – дед написал такие письма всем домашним. Даже Ниле.

– Надо было подняться этажом выше и заглянуть в бабушкину спальню, – безучастным голосом проговорила Диана. – Наверняка Оливия там. Наглotalась таблеток и спит. Или укололась.

Байрон промолчал.

– Когда Виктора – ну шофера этого – нету, Оливия всегда ночует у бабушки. Такие вот страсти-мордасти.

– Ты хочешь сказать, что они путешествуют в Митилену? Лесбиянки?

– Не знаю. Что я в этом понимаю? А вот насчет уколов – правда. Нила каждое утро выносит на помойку использованные шприцы. Может, она витаминами колется?

– Не засоряй голову, принцесса, – равнодушно посоветовал Байрон. – Скоро она тебе ой как понадобится. В Высшей школе экономики, насколько я знаю, тебя будут трахать круглосуточно. Ты выдержишь, я уверен. А что потом? Неужели вернешься в Шатов – продолжать семейный бизнес?

– Какой тут бизнес! – По ее голосу он почувствовал, что она улыбается. – Просто они выучили это слово, а на самом деле – воровство, жульничество, подставы да старокупеческие хитрости. Я их не осуждаю, честное слово. Ты пройди по магазинам: всюду одна дешевка. Колбасу местную даже кошки не едят. Хлеб липкий... Три четверти города сидит на картошке с огурцами со своих огородиков – тем и живы. Да на водке за тридцать пять рэ за бутылку. Ты встречал такую в Москве? То-то. А здесь пьют – не боятся, да еще спасибо говорят. Года два назад дед открыл в центре магазин «Семь углов»: форма у него такая – семиугольник. Бетон, стекло, оборудование немецкое, товары неплохие – в основном продукты и напитки. А кто в нем отоваривается? Практически – бандиты и их прихвостни. Ну еще какие-то люди. Через полгода хоть закрывай магазин – одни убытки. Пришлось постепенно обновлять ассортимент, снижать ценовой уровень. Бизнес! Здесь семья со среднемесячным доходом в двести долларов считается чуть ли не богатой. А где такие деньги можно заработать? У Таты да у Тавлинских. Старухи вообще на пятьдесят-семьдесят долларов в месяц живут – и еще умудряются откладывать на черный день. Кто ж тут будет брать колбасу по десять долларов за кило?

– «Семь углов» я не видел, а вот аптек в городе явно прибавилось...

– Прачечные. Отмывка денег.

– Так ведь и дед аптеку открыл.

– В ней и цены более или менее божеские. Он ведь известный филантроп. Но открыл он ее, я думаю, для себя и своей семьи. Из этой аптеки к нам то и дело коробки привозят. Я таблеток не глотаю, Нила – так та вообще лечится, как Сталин: три капли йода на стакан воды – ото всех болезней. Ты спишь?

– Не обращай внимания. С закрытыми глазами слушать удобнее.

– В Шатове мне делать просто нечего. Ты ж вот сюда никогда не мечтал вернуться? На кой хер тебе дом родной? Все эти домишки, заборы, безродные собаки... Никакими воспоминаниями детства не заманишь... Байрон!

– Я не сплю. – Погладил ее по плечу. – Спелее лилий, жарче снега и милее агнца... Это о тебе, принцесса.

– Жарче снега...

– Гонгоризм какой-то.

– Все равно хорошо. Я тебя хотела попросить... нет, ты повернись ко мне, я тебе покажу, чего я хочу... Дай-ка руку. Сюда... да... и сюда...

После ее ухода Байрон долго лежал неподвижно. В доме было тихо, как на дне ада. Даже шороха Люциферовых крыльев не слышно. Каждый заперт в своем Коците. Лишь дождь – опять дождь – стучит по крыше. В дождь сигнализация не работает. Однако на этот раз, если верить акту, который предъявил ему прокурор, она работала. А значит...

Он вылез из-под одеяла, быстро оделся, вздрагивая от холода (принцесса ушла галереей, оставив дверь открытой), и только тогда посмотрел на часы. Начало третьего. Мать там, внизу, небось замерзла. Или уснула под пледом.

Он вылил остатки рома в стакан, выпил и закурил. Пальцы подрагивали, но, похоже, это лишь преамбула к синдрому Корсакова. С ним бывало и такое, что пуговицы на рубашке не мог застегнуть. А вскоре что-нибудь или кто-нибудь сигнализировали о настоящей опасности. Однажды в метро, когда он возвращался навеселе после свидания с Артемом и Аршавиrom, его на эскалаторе окликнул старик: «Борис! Какими судьбами!» И раньше случалось, что его с кем-то путали, он не обижался: не кинозвезда. Но всякий раз ему быстро удавалось разубедить собеседника. Тем же вечером, когда его окликнул старик, он – почему? из пьяного куража? – решил выяснить, как далеко может зайти идентификация личности. Он дождался старика внизу и молча, с чувством обнял его. «Ну вот, – забормотал растроганный старик, – я всегда говорил: когда Боря под кайфом, он самый человечный человек... Вспомнил Ильича, вспомнил! А Верочку? Она ведь ждет... который месяц ждет... Ты сейчас как? Может, заглянешь? Дернем по маленькой, покурим». Следуя за стариком, он проехал несколько остановок в метро, вышли на «Царицыно», заглянули в магазин. «Я сам, сам! – остановил он старика, полезшего было в карман. – Пузырек ноль семь и колбаски. Хлеб-то есть?» Его голос совершенно не смутил старика. От магазина до дома они шли пешком с полчаса. Подъезд, пропахший кошками и мочой. Дверь квартиры, обитая драным дерматином. «Зайди к ней, поздоровайся, – предложил старик в передней. – А я пока огурчики с балкона принесу. Холодильник опять сломался». В комнате горел ночник. На узкой кровати лежала молодая женщина, укрытая тонким одеялом. «Верочка, здравствуй, – негромко проговорил Байрон. – Вот и я». Это был последний рубеж, но и его он преодолел с пугающей легкостью. Женщина с улыбкой протянула ему обе руки. Замычала от радости, и он тотчас сообразил по характерному звуку, что она немая. Может, и глухая. Но ведь не слепая же. Неужели он и впрямь как две капли воды похож на какого-то там Бориса? Он с чувством поцеловал ее в губы. Потом они пили со стариком водку и закусывали колбасой. Он остался ночевать у глухонемой. Она была нетерпелива и требовательна в постели. Утром он дал старику денег, и тот побежал в магазин за водкой. Так продолжалось три дня. Наутро четвертого, спасаясь от материализованного бреда, он тайком выскользнул из квартиры. Едва добравшись до дома, тотчас позвонил частному наркологу. После этого он месяца три не пил. А потом снова... И снова – звонок, капельница, доза тетурама.

Он посмотрел на стакан. Отвлечся: вспомнил об акте и сигнализации. Она действительно капризничала, это могут подтвердить все домашние. Да и электрики, которых несколько раз вызывали, чтоб починить барах-

лившую систему. Ну а если допустить, что на этот раз система была в порядке, то вывод может быть только один: убийца – кто-то из Тавлинских. Или чужак, оставшийся в доме на ночь и знакомый с системой сигнализации. Диана и Нила отпадают. Он и Оливия – тоже. Остаются мать и – кто? Шофер ее... как его? Виктор. Был ли он в ту ночь у Майи Михайловны? И что она ответила на вопрос следователя, а следователь наверняка спросил, где она была в предполагаемый промежуток времени, когда было совершено убийство, и что делала. И была ли одна? Байрон видел Виктора рано утром, когда тот вместе с матерью сел в машину, но не видел и не знает, как и когда тот вошел в дом. Не исключено, что парень ночевал дома или у подружки. Войти же мог через калитку, запиравшуюся на простой засов.

Все эти вопросы важны в том случае, если убийца провел ночь в доме Тавлинских. Если же ближе к истине версия матери о киллере, нанятом Татищевыми, тогда можно не терзаться и спокойно ждать развязки всей этой истории.

Он заглянул в дорожную сумку: за вычетом ликеров остались лишь три бутылки виски. Интересно, продают ли виски в этих самых «Семи углах»? Проверил бумажник. Деньги были, но, если вдруг иссякнут, придется просить у матери: на весь Шатов – один банкомат, да и тот только для вкладчиков местного филиала Сбербанка.

Хотя, как правило, ни одна дверь в доме не запиралась (кроме наружных, разумеется), дед всегда держал при себе ключи ото всех замков. Тихо поднявшись на третий этаж, Байрон принялся наугад вставлять один за другим ключи в закрытую навсегда супружескую спальню. У деда были причуды, но само существование в доме этой запертой комнаты было причудой абсурдной. Ведь Алина Дмитриевна умерла еще в старом доме. И именно в старом доме дед закрыл супружескую спальню, открывавшуюся лишь для Нилы и однажды – для Байрона. Зачем же тогда было обустривать эту спальню? Закрывать ее на ключ? Никого, кроме Нилы – с ведром и тряпкой, и близко не подпускать к святыху? Чевертый по счету ключ мягко щелкнул в замке – дверь без скрипа открылась.

Как Байрон и ожидал, ничего особенного в этой комнате не было. Двухспальная кровать. Комод, на котором рядом с латунной пепельницей в форме лаптя стояла фотография бабушки. Кресло-качалка. Два стула. Две тумбочки. Ну и стенной шкаф для белья и одежды. Пустой.

Байрон придвинул стул к комоду и, закурив, стряхнул пепел в латунный лапоть.

После смерти северо-западной Ленты Байрону некуда было идти, кроме как к бабушке Алине. Его мутило и трясло. Он и мысли не допускал, что может кому бы то ни было рассказать о том, что случилось между ним и Лентой. И он не знал, что и думать о ее гибели. Или – что принято думать и делать в таких случаях. В городе говорили, что Лента покончила с собой. Когда мужчина в постели склонился над ней, она выхватила опасную бритву и, выпалив: «Запомни меня такой!», перерезала себе горло. Так утверждал на суде мужчина, который и спустя несколько недель после случившегося содрогнулся, вспомнив последние ее слова. Его оправдали, поскольку на бритве обнаружили только отпечатки пальцев Ленты. Байрон пришел к Алине Дмитриевне и сел в углу на табурет. «Ты не знаешь, с чего начать. – Бабушка закурила тонкую папиросу. – Постарайся не горбиться, пожалуйста. У нее был рак матки в финальной стадии. Это вообще редкость в таком возрасте. Она знала об этом. Остальное же... Бог ей судья. Во всяком случае, не я. – Она положила руку на его плечо и продолжила недрогнувшим голосом: – Иногда полезно наплевать на условности и, например, просто выплакаться в подушку». Он заплакал без голоса. Она сидела рядом, пока он не успокоился. Он ушел, так и не сказав ей ничего. Быть может, только ее он и любил по-настоящему в своей жизни?

Он встал.
Мертвых любить легко.
Пора менять караул у тела покойного.

Прежде чем встретиться с матерью, Байрон спустился черной лестницей в кухню. Нила сидела у окна со скомканным платком в руках. Байрону показалось, что она резко – за полчаса-час – постарела.

Перед нею лежал конверт, надписанный дедовой рукой.

– Нила, ты прочла? Что с тобой?

– Как это странно бывает, Байрон, сынок... живешь, живешь – и вдруг все словно наизнанку выворачивается, все другим каким-то становится... Он мне всего несколько словечек с того света прислал, а я из-за этих словечек сызнава всю жизнь пережила... – Она потянула носом. – Чуть не рехнулась, дура старая. А и всего-то – милой назвал. Господи!

Она прижала платок к носу.

– Прощения просил?

– Просил. А за что мне его прощать? Что грешили, так вместе грешили. Вместе перед Богом и ответим. А остальное... Даже страшно сейчас стало, как подумала: я ведь всю жизнь думала, что я ему вроде отдушины. Потоптал меня – и дальше побежал. К жене, детям, другим бабам, по делам... да мало ли! А он пишет: может, это странно, но если вдуматься, кого я крепче тебя любил? Никого. – Всклинула. – Я это его письмом в саван зашью, чтобы меня с ним и похоронили. – Закрыла лицо большими красными ладонями. – А я кого еще любила? Никого, кроме него.

Байрон налил в граненые стаканчики из пузатого кувшина, придвинул один к Нилиному локтю.

– Давай по маленькой, нянька. Ну, сделай одолжение, пожалуйста! Не чокайся.

Глубоко вздохнув, Нила выпила самогон, приложила платок к губам.

– Видишь, Байрон, любовь разная бывает... бывает видная, а бывает и невидная, тайная – может, она-то и есть истинная... такая и была у нас с Андреем Григорьевичем... а казалось – пустяк... Это ему Бог указал такие слова написать перед смертью. Бог, не иначе. Сам-то, может, так и думал, да поди-ка дождись от него, когда скажет, что он там думал себе... Это Бог, Бог, Байрон!

– У него была не одна женщина – много, – сказал Байрон. – Но только ты – единственная. – Выпил. – Ему повезло, что ты у него такая была.

Она разгладила руками конверт.

– Неониллой назвал – с двумя «лэ». И еще пошутил: буду на том свете прежде тебя – непременно передам привет Терентию и всем чадам твоим. Не понимаю я... А ничего: живой человек и не такое наворачивает.

– Он не наворачивает, Нила. Тебя ведь крестили во имя мученицы Неониллы, которая пострадала вместе с мужем Терентием и семерыми чадами за исповедание христианства, а было это еще при императоре Дециме... давно было... Да я же тебе раза три, если не больше, рассказывал про это!

– Старая стала, забываю. – Она жалобно посмотрела на Байрона. – Дом вон какой большой, куда мне одной управиться – с уборкой, готовкой... Майя Михайловна наняла тут двоих, приходят по субботам, все пылесосят, полы натирают, белье в машине стирают... а я, получается, вроде и лишняя... Сготовишь обед – разве что Дианка поест, остальные на работе перекусывают. А собираются все за столом только по воскресеньям. И гостей не бывает.

– Сколько себя помню, у нас никогда гостей не было.

– А до того, как Ванечку посадили, каждое воскресенье, каждый праздник – полон дом гостей набивался. После того – как отрезало.

Байрон покрутил в руках стаканчик.

– Я вот до сорока лет дожил, а до сих пор не знаю, за что его...

– Девочку насильовал и задушил до смерти. Так говорят. Помрачение ума на него нашло. Падучая.

– Как у отца?

Старуха, опустив голову, что-то пробормотала.

– Что?

– Не любит Майя Михайловна про это говорить...

– Даже со мной? Он же мне дядя родной. Кровный.

– Не любит.

Он вздохнул.

– Ладно, пойду я в зал – сменю мать. Ты мне потом графинчик принеси... Нила!

– Слышу, родной, слышу...

Мать не спала. Закутавшись в плед, она поверх очков читала Библию. Даже в такой домашней позе она выглядела подтянутым и готовым к немедленному бою солдатом.

– Ты рано, – сказала она. – Мог бы еще подремать.

– Не спится. А таблетки боюсь принимать, да и помогают они все меньше.

– Алкоголизм. – Мать сняла очки и отложила книгу. – Впрочем, ты достаточно взрослый мальчик, чтобы я тебе еще нотации читала. – Она потерла переносицу. – Да и сама грешна: снотворное, болеутоляющее, взбадривающее... Витаминами горстями глотаю – и хоть бы что. Возраст. Подай мне туфли, пожалуйста.

Он поставил туфли перед креслом.

– Я скажу Ниле, чтобы она принесла тебе чего-нибудь перекусить.

Она выпрямилась, взявшись руками за поясницу.

– Спасибо. – Байрон опустился в кресло. – Мам, ты можешь допустить, что дед убил какой-нибудь обманутый муж?

– Чушь. Дед умел находить общий язык с роконосцами. Да и что они могли доказать? А слухи – ветер.

– Ну, Шатов не Москва, здесь-то слухи как раз опасней пистолетов.

– Ты всегда был литературным мальчиком. Как жалела Алла Анатольевна, что ты поступил на юридический, а не на филфак...

– Алла Анатольевна... А, учительница литературы. Помню.

– Не помнишь – не ври. А она тебя самым лучшим своим учеником считала. Кстати, доктор Лудинг категорически настаивает на энцефалограмме. Вернешься в Москву – пообещай – и сразу...

– Обещаю. Хотя по возвращении в Москву у меня будет хлопот... Я читал кое-что об эпилепсии, поэтому не уверен, что это она. Ты же помнишь, как у меня сердце схватило? Может, опять гипертония. Хотя раньше врачи и не обнаруживали... Впрочем, это не предмет для спора.

– Именно. Эта болезнь проявляется по-разному и, бывает, не сразу во всей красе.

– Ты имеешь в виду отца и дядю Ваню?

– У твоего отца эпилепсия проявилась еще в детстве. У Ивана... у него через годы... и так страшно, Господи, так страшно!..

– Он в психушке отбывал срок?

– Да. А там и здорового человека могут так залечить, что психом станет.

– Галоперидолом с аминазином. Коктейль имени товарища Андропова.

– Не знаю чем. Меня долго к нему на свидание не пускали. Где я только ни побывала, как ни унижалась, не положено, – и все. Только в последние пять лет позволили – одно свидание в год. Я чуть с ума не сошла, когда к нему собиралась... что взять с собой, что передать... только об этом и думала... А приехала, увидела его – другой человек. Остолбенелый какой-то. Вялый... чужой...

– Мам, ты извини... ты любила его?

– Он веселый был, добрый, другой, совсем другой – не такой, как сейчас... Пьет, паясничает... юродивый какой-то, разве что – тихий. Слава Богу, деду удалось снять его с таблеток, врачи помогли. А он – в водку ударился. – Она едва удержалась от вздоха. – Ничего не напишешь: жизнь. Не знаю, кем бы он в старой советской жизни стал, а вот в новой русской – уже никем.

– Дядей Ваней-то он останется...

– Слабое утешение. – Она помассировала шею. – Кирцер вернул дедов револьвер, я его в сейфе заперла. На всякий случай. Ты поосторожнее: пока убийцу не поймали, кто знает, не вернется ли...

– Если это и правда киллер, то он или в Москве гонорар пропивает, или с камнем в ногах на дне реки покоится. Погоди! Тебе ведь показывали акт о проверке сигнализации?

Мать кивнула.

– Сигнализацию можно только из дома отключить. Я не думаю, что это сделал – мог бы сделать – кто-то из своих. Диана, Нила, Оливия, я, ты... А не могло быть в доме еще кого-то... гостя...

Майя Михайловна презрительно улыбнулась.

– Здорово же мы очужели, Байрон.

– Я не об этом...

– А я – об этом. Ты же имеешь в виду моего шофера – Виктора Звонарева. Нет, в эту ночь я спала одна. Этот вопрос мне уже задавали, кстати. Я сказала им то же, что и тебе сейчас. И подписалась под протоколом. Тебе тоже моя подпись нужна?

– Иди спать, мама. И помни: меня не интересовало и не интересуется, с кем ты спишь.

– Надеюсь, я не обязана благодарить тебя за сыновнюю деликатность?

– Спокойной ночи, ма. – Он взял Библию, открыл наугад. – Если засну, разбуди.

Скрипнув каблуками, она резко развернулась и легко побежала вверх по лестнице.

– И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль; и отяжелеет кузнечик... Господи, какой к хренам кузнечик! – простонал Байрон.

Из темноты выплыла с подносом Нила. Молча расставила тарелки, кувшин, салфетки и стакан на столике.

– Слыхала? – спросил Байрон. – Я ей про Фому, а она мне про Ерему!

– Был Ерема, сынок, был. Чужой человек. Не могу на Библии поклясться, но спала она не одна. И не с Оливкой.

«Вот кто все знает, – со странным весельем подумал Байрон, наливая в стакан душистого самогона. – Наверняка и про меня с Оливией. А может, и про Диану? Ну это – вряд ли».

– В нижней душевой он среди ночи мылся, – шепотом продолжала Нила. – А кто – не разглядела.

– Звонарев? Виктор этот?

– Не знаю. Мелькнул – и пропал. А голые со спины все на одну жопу.

– Почему же следователю не сказала? Ведь, может, эта жопа и убила деда. А пока все вальт на меня. Понимаешь?

– Не сказала – и не сказала. Позор-то на семью навлекать... Кто я тут такая? Приживалка, да еще, может, из ума выжившая. А ты мужчина, сам прокурором был – отобьешься. Бог не выдаст.

– Значит, свинья съест. А в какое время ты его видела?

– Ближе к утру. Светало... хотя еще очень хмуро было...

– И больше никого не встречала?

– Да Иван за самогонкой спускался. Я ему всучила графин, чтоб успокоился...

Нила, сердито нахмурившись, перекрестилась на гроб и уплыла в темноту.

– Так. – Байрон отхлебнул из стакана, выбрал бутерброд потолще. – Значит, еще почитаем эту книгу жизни, черт бы ее взял!

Вытащил из кармана толстенный негнувшийся конверт – послание от деда – и вскрыл его при помощи вилки. В пакете оказались несколько листов голубоватой тонкой бумаги, исписанных с двух сторон, и пачка фотографий.

Байрон передвинул торшер и прилег на диван. Первая же фраза вызвала у него недоуменную улыбку. Он повернул голову к гробу.

– Значит, дед, ты только прикидывался мумией, а на самом деле был нежным телятей... Ужо почитаем!

«Милый мой Байрон! Написал эти три слова – и умилился сердечно. В этой сентиментальности и есть моя правда: ведь я всегда считал тебя скорее своим сыном, чем внуком. И чем больше тебе доставалось от жизни, тем острее я это чувствовал. А когда от той же жизни доставалось мне, всякий раз при этом вспоминал о тебе, жалея, что нет тебя рядом, потому что только с тобой и мог бы я поговорить о превратностях судьбы, не с бабами ж!

Первой моей мыслью было изложить в этом письме всю свою судьбу, но потом я подумал, что и времени это займет Бог весть сколько да и малоинтересно будет. Однако сейчас мне ничего не остается, как только вспоминать и строить предположения (чуть не написал – пророчествовать).

Я горжусь тем, что не продал своего отца Григория Ивановича Тавлинского, которого ретивые революционеры решили было пустить в расход как буржуя, то есть владельца единственного на всю округу книжного магазина (приносившего, надо сказать, совсем небольшой доход). При магазине была маленькая читальня, где подавали самовар и собирались местные интеллигенты и несколько грамотных фабричных. Они-то и составили после Октября первое уездное правительство. Об этом я и напомнил судьям, а поскольку к тому времени я уже закончил школу и состоял в ЧОНе (части особого назначения по борьбе с контрреволюционным крестьянством), слова мои возымели действие, и отца выпустили из кутузки. Некоторое время он служил в библиотеке, а вскоре умер – слава Богу, своей смертью. Невелика, конечно, заслуга – спасти жизнь собственного отца, но в те лихие времена (да и в последующие лихие времена, поскольку других времен на Руси не было) я знавал немало случаев, когда родные отказывались друг от дружки, а то и проливали родную кровь. И было это не на войне, которая обошла Шатов стороной, а в мирных условиях.

Горжусь я также и тем, что уберег Алину Дмитриевну, твою бабушку, от большущих неприятностей, а может, и от невзгод, которые свалились на ее семью. Горжусь, но даже сейчас – втайне, поскольку она мне этого никогда не могла простить. А я не мог почему-то открыть ей, чего мне стоило при живой жене привести в дом молоденькую девушку, которую я называл при посторонних то домработницей, то сиделкой, пока не померла моя первая жена. Я же служил в НКВД и взял на себя заботу о дочери репрессированных, вообрази-ка, ты же читал об истории того времени. Она, может, и понимала, чем мне это грозило, но не могла простить, что все произошло так прозаично. А может, считала, что я воспользовался ее безвыходным положением и завладел ею? Наверное, так оно и было, но прежнего вернуть уж было нельзя, и она вышла за меня и родила двойню. То же, что случилось между нами впервые, как между мужем и женой, я бы не спешил называть насилием. В доме еще не выветрился запах лекарств, напоминавший о моей несчастной первой супруге, а мы уже сидели вдвоем за столом, я и она, и пили крымский мускат, с великим трудом раздобытый мною как раз к такому случаю. Она выпила две рюмки, но даже тени румянца не появилось на ее застывшем бледном лице. За столом мы не проронили ни слова. И так же без слов отправились в супружескую спальню. Сейчас я могу признаться, что, пропуская ее вперед, я мысленно черты-

хался, предвидя тоскливый обряд дефлорации живого трупа. Но вышло иначе. Она и пальцем не шевельнула, чтобы раздеться, поэтому всю эту процедуру пришлось проделать мне, радуясь втайне, что по неопытности своей она тем самым раззадоривала не только меня, но и себя. До последнего своего вздоха буду помнить ее белое тело, по сравнению с которым накрахамаленные простыни казались черными. Раскаленное белое тело. Она искусала губы в кровь, но все же не выдержала и сорвалась на крик, требуя от меня еще и еще большего – быть может, того большего, которое ввергает любовников в священное безумие, стирающее между ними – в припадке высокого безумия – все прошлое, все, что разъединяет их... Я этого не могу забыть, потому что время от времени у нас еще случались такие ночи.

Рассказывая тебе о расстреле в Домзаке, я, наверное, умолчал об одном штришке. А штришок вышел густой: я лично застрелил двоих заключенных, потому что мы спешили покончить с делом до света. Один из них сказал мне то, что, вероятно, говорят своим палачам все жертвы: «Бог тебя покарает».

Если посмотреть на внешнюю сторону моей жизни, которая видна была всем людям, то никакой Бог меня не покарал, напротив, наградил меня долгой жизнью и крепким здоровьем, богатством и властью.

Но я-то догадывался, и с годами догадка моя превратилась в уверенность, что Божья награда оборотной своей стороной является и карой за мои дела, – счастье, что об этом знали только я и Он.

Бог или дьявол – а может, какое-нибудь древне-среднее Оно – покарали меня сыновьями. Мне даже сейчас трудно говорить об этом (поэтому ты все ж встреться с Иваном и задай ему прямой вопрос), но однажды случилось так, что твой отец, уже женатый на Майе, в помутнении рассудка изнасиловал и задушил пятнадцатилетнюю девочку Д. В тот день мы принимали гостей – тогда мы часто устраивали вечеринки. Совершив злодеяние, Григорий упал в корчах, с пеной на губах – с ним случился очередной припадок эпилепсии. Спохватившиеся Нила и Иван обнаружили в комнате наверху два тела и тихонько позвали нас – меня, Алину и Майю. Внизу шумели гости, и мы, конечно, не хотели привлекать их внимания. Мы с Майей спустились вниз, чтобы дожидаться, когда гости разойдутся. Это были ужасные для нас часы. Мы поднимали рюмки с гостями, чем-то даже закусывали и поддерживали нестройный разговор, не подавая и виду нетерпения или раздражения. Когда же последние гости разошлись, мы бросились наверх. Григорий уже пришел в себя. Он плакал, бился в истерике, а то затихал и тупо смотрел на мертвое тело. Майя вдруг предложила зашить тело в мешок и утопить в реке. Никому, как помню, мысль эта сначала не показалась дикой: тогда мы все словно вдруг одичали и были готовы на все. Будто какое-то воспаление разом поразило наши души и умы, и, помню, даже самый вид чайного стакана на подоконнике, колыхание занавесок, гудок парохода, донесшийся с реки, – все казалось верхом нелепости и дикости. Первой взяла себя в руки Алина Дмитриевна. Она сказала, что избавляться от тела нельзя, потому что таким образом мы окажемся повязаны страшной тайной, ужас которой превышает силы отдельного человека и рано или поздно разрушит семью. Кто-нибудь однажды да не выдержит – так я понял ее слова. И вот тут вступила Майя. Не глядя на мужа, она сказала, что если дело вскроется, судьба ее будет сломана навсегда, а Григория посадят, не позволив закончить институт. Вдобавок она сообщила, что ждет ребенка. И все только потому, что больной эпилепсией муж под влиянием вина набросился на эту девочку, при этом, возможно, даже не сознавая, что делает. Григорий сказал, что он помнит, как они поднимались наверх, остальное же начисто выпало из памяти – так бывает у эпилептиков. «Бедный мальчик, – сказала Алина. – Почему именно тебя Господь выбрал, чтобы подвергнуть такому нечеловеческому испытанию? Это несправедливо». И тут неожиданно для всех нас выступил Иван. Он заявил, что готов ради семьи взять вину на себя. Он был трезв, волновал-

ся, но говорил связно и по видимости разумно. Меня особенно поразил странный блеск в его глазах. Это был не блеск безумия, но блеск какой-то странной радости. Почему? Зачем тебе это нужно? Мы недоумевали, а он только сильнее распался. Он не безумец, а вполне здравомыслящий человек, который не видит иного пути спасти репутацию семьи, будущее Майи и Григория и их ребенка. Так сформулировал он свою позицию. И тут-то меня осенило: да ведь он подвига жаждет! Он хотел совершить что-то такое, что возвысило бы его над бесчеловечными законами текущей жизни, хоть и ввергло бы в ад. Но именно сошествие в ад (о котором я-то знал не понаслышке) и виделось ему подвигом. Я взял его за руку и увел в другую комнату, где и высказал все, что думаю о его решении. Немного подумав, он согласился со мною. «Я не могу благословить тебя на такое дело», – сказал я ему. «Выбора у нас нет», – ответил Иван. – Так хоть выходом воспользуемся». Я мог бы сказать «нет», но я промолчал. Видя его твердость, смешанную с возбуждением, понимая, что он впервые в жизни переживает чувства, которые другого человека просто разорвали бы в клочья, я думал о том, что мое «нет» может не только изговнять всех нас, но и сломать Ивана: на такое решаются раз в жизни, да и выпадает такое тоже не чаще, чем раз в жизни, уж поверь. Тут только глас Божий мог бы разрешить все сомнения, но похоже, что Бог специально для того и придуман, чтобы оставлять человека один на один в самую страшную минуту его жизни.

Я вышел к домашним и объявил о поступке Ивана как о деле решенном. Все заплакали, это я помню. Но вот чего я никогда не забуду, так это всеобщего молчания. Никто не воспротивился решению Ивана и моему слову. Скисшего вконец Гришу отвели вниз и уложили спать, а я позвонил в милицию. Суд был закрытым, Иван сознался во всем, прибавив, что совершил это в помрачении рассудка. Экспертиза была скорой, да и какая тогда была экспертиза, да еще в Шатове. Ивана приговорили к пятнадцати годам строгой изоляции с принудительным лечением.

Сейчас я думаю, что тот случай изменил всех нас. И хотя никто и не говорил в открытую, все винили в случившемся меня. Алина Дмитриевна – уж точно. Однажды она даже назвала меня Авраамом, заклавишем своего сына, но Авраамом, ставившим Бога ни во что. Григорий сломался, хотя процесс его вырождения и растянулся на годы. Майя и Алина считали Ивана героем, и, когда он вернулся из тюрьмы, плакали, и просили у него прощения. Наверное, Алина и на том свете не может мне простить того, что я не попросил прощения у несчастного сына. А я видел перед собой другого Ивана, нового, ничуть не похожего на прежнего, человека, пережившего и, может, изжившего свой подвиг, и не знал, зачем мне просить прощения у этого нового человека. Я помог ему устроиться в новой жизни, назначил пенсию из своих денег, помог избавиться от пристрастия к лекарствам, которыми его пичкали в психушке, но вернуть Ивана прежнего я был не в силах.

Мы и прежде (когда ты ребенком был) с тобой ездили в Домзак – помнишь? – на рыбалку или просто побродить по двору. А после того как вернулся Иван, я непостижимым каким-то образом просто поселился в Домзаке. Бывал там часто, встречался там же с женщиной, видел – почти каждую ночь – Домзак во сне. То опустевший, как в первые дни после ликвидации тюрьмы, то многолюдный, но этими людьми были не новые кильцы, а зеки, которых мы в ту ночь расстреляли... Я и строительство нового дома затеял, чтобы забыть, чтобы забыть Домзак. Не получилось. Нигде в России не было мне пристанища более реального, чем Домзак, да и вся Россия казалась бескрайним Домзаком (мысль, впрочем, не моя и не новая). Возникла однажды даже дикая мысль – застрелиться в Домзаке, чтобы покончить с ним навсегда. Заползти в какой-нибудь темный, засранный угол – и пулю в висок. Но спохватился: уж больно дешевым театром отдает.

А несколько лет назад я случайно узнал (мэр рассказал), что стоять Домзаку осталось недолго. Как-то летом по заказу пароходства водолазы

обследовали дно реки и основание острова и доложили, что за многие века вода подточила камень и уже добралась до рыхлых пород, что рано или поздно приведет к обрушению острова, а с ним и кошмарного этого Китежа – Домзак. В расчеты эти я не вникал, но тогда же подсунул мэру идею насчет переселения жильцов Домзак в муниципальные дома. Ради этого моя компания даже увеличила вложения в строительство городского жилья. Так что на сегодня там остались две или три семьи, да и те сидят на чемоданах. А может, и выехали. Мне же важно, чтобы обязательно съехала оттуда Надя Зверева (Звонарева) – та женщина, с которой я когда-то имел близость. Погибший старший сын ее Михаил был мужем Оливии, а младшего, Виктора, я пристроил шофером к Майе. Осталось пристроить Надежду. На всякий случай я купил на ее имя выморочный дом на Садовой, привел его в божеский вид. Все документы хранятся у нотариуса Коли Павука (сына нашего главного юрисконсульта). Позаботься об этом – это по смертная и последняя моя просьба к тебе.

Невзирая ни на что, я надеюсь на твое выздоровление, и ты – крепись, Байрон. Потому что после смерти Гриши и превращения Ивана ты остался для меня тем человеком, благодаря существованию которого я и Богу скажу, что я был не одинок.

Прощай.
А.Г.Т.»

Глаза слипались. Байрон аккуратно сложил письмо деда и спрятал в карман. Но в конверте еще было множество фотографий. Он высыпал их на диван. Домзак. Со стороны одного берега. С другого берега. Ворота. Сторожевые вышки на каждом углу. Пустынный двор. Ряды однообразных дверей. Церковь без купола. И снова – стены с колючей проволокой. Много, слишком много колючей проволоки. И никаких признаков, что здесь когда-то служили солдаты и томились заключенные. Видимо, снимки сделаны уже после того, как Хрущев распорядился закрыть Домзак. Заключенных кого выпустили, кого перевели в другие лагеря. Персонал привел здания, соорудения и территорию в порядок и оставил Домзак. Дед привел фотографа и вот всю жизнь хранил эти снимки, как другие хранят фотки детей и жены...

Байрон обвел безжизненным взглядом темный зал с гробом посередине. Днем здесь снова соберутся люди. А потом старика похоронят. Он закрыл глаза. Зароют. Закроют. И опустеет Домзак, и умолкнет, наконец, и эта старая мельница, и порвется наконец-то какая-то там цепочка...

Очнулся он внезапно, как всегда бывало с перепоя. Ночью кто-то укрыв его пледом. Мать? Вряд ли. Скорее – Нила. Заботница.

Все двери – в большую прихожую и во двор были открыты. Майя Михайловна, нервно ввинчивая феррагамовский каблук в цементную плитку крыльца, о чем-то разговаривала по мобильнику. Байрон уловил лишь раздражение в ее голосе, но не слова. Что-то случилось. Он перевернулся на другой бок и попытался заснуть. Все, что происходит, – это их бизнес, и они действуют по какому-то своему плану. Вот и пусть их. Он погрузился в дрему, но еще слышал низкий голос Оливии, успокаивавшей Майю Михайловну, и щелчок закрывшихся дверей, и надсадный рев ЗИСа-111, выползавшего из гаража. Значит, что-то случилось, если матушка поехала на «линкоре», а не на своем любимом BMW. Царица морская. Отныне ей принадлежит Шатов и окрестности, и даже поставленная иждивением деда арка при въезде в город с надписью «Шатов основан в 1001 году» – ее собственность. Что ж, она сумеет распорядиться имуществом, даже если ему больше тысячи лет...

Он нащупал кувшин с остатками пойла и выпил. Но самогонка не забирала. Неужели придется вставать? Не хотелось. Опять топтать протез, испытывая боль, стреляющую в колено.

– Не спится? – прошелестел голос Нилы над ухом. – Значит, хватит тебе спиртягу глушить: себя не обманешь.

Он открыл глаза.

– Нила, а есть у тебя водный раствор аммиака? В ампулах. Ну разбавленный нашатырь?

– Сам посмотри в аптечке, – проворчала Нила, собирая объедки на поднос. – Нашатырь-то, конечно, – куда ему деваться? Есть. А ты про что? Посмотри у матери – у нее в комнате настоящая аптека.

Он опустил ноги на пол.

У дедова изголовья сидела какая-то старушка, вся в черном, и бормотала что-то – Байрон улавливал только отдельные церковнославянские слова.

– Чтицу пригласили, – пояснила Нила. – Чтоб молитвы над телом по уставу читала.

– Я поднимусь к матери... Чего это она с утра пораньше завелась?

– Витька запропал, шофер ееный. Пришлось Александр Зиновича звать.

Большая комната, которую мать занимала на третьем этаже, была разделена на кабинет и спальню с душевой. То, что Нила назвала аптекой, помещалось в шкафчике-пенале в углу кабинета. Набор лекарств Байрона привел в легкое недоумение, особенно когда он добрался до коробок с ампулами морфина и кодеина. На всякий случай сунул в карман несколько упаковок с эфедрином в таблетках. Набрал номер матери.

– Ма, твой компьютер подключен к интернету? Мне нужно отправить послание друзьям в Москву... Да, насчет всей этой истории... Вдруг понадобится адвокат? Пусть ребята работают. Может, и не понадобятся, но будут наготове. Спасибо. Говорят, твой шофер пропал? Ну не хочешь – так не хочешь. Он где живет? А...

В Домзаке. Звонарев. Значит, это о его матери писал ему с того света дед.

В душевой он набрал полный стакан воды и бережно добавил несколько капель нашатырного спирта. Выпил залпом. Иногда это помогало выйти из похмелья за полчаса.

Отправил «мылом» письмо Аршавиру – пусть его ребята знают, что происходит в Шатове.

Душ он принимал внизу. Долго стоял, подставив лицо режущим струям горячей воды. Возможно, прошлой ночью точно так же стоял под душем тот голозадый, которого разглядела старуха Нила. И скорее всего это был тот самый Виктор Звонарев. Впрочем, одернул он себя, из этого еще не следует, что Виктор Звонарев был убийцей деда.

Раствор нашатырного спирта действовал: завтракал он с аппетитом. И даже отважился выпить большую чашку мятного чая.

Значит, из чужих в доме мог оставаться именно этот шоферюга. Тот самый, с матерью которого когда-то крутил дед. И крутил, видимо, всерьез: недаром же помянул в предсмертном письме, да еще дом ей купил. Вовсе не исключено, что дед считал этого Виктора своим сыном. А может, и нет. Теперь уж не дознаешься. Однако его внезапное исчезновение что-то же да значило. Или – ничего. И потом, за что ему убивать старика Тавлинского? Мотив. Был или нет? Что Байрон о нем знает, об этом человеку? Служил в Чечне, вернулся в родной Шатов, с пониманием отнесся к Оливии, был нанят шофером-телохранителем, добросовестный трудяга. Он и лица-то его не успел разглядеть. Исчез... Да глупости! Был бы настоящий убийца – вовсе не исчезал бы, а держался как можно ближе к хозяевам. К Майе Михайловне.

В кармане зажужжал телефон. Мать.

– Тебя ждет Кирцер. Не манкируй, будь добр. Его зовут Евсеём Евгеньевичем, не забудь.

– Сейчас еду. Виктор нашелся?

– Мне не до того, извини.

Ампулы с морфием, несколько шприцев в упаковке и эфедрин он спрятал в своей комнате.

Было солнечно и ветрено.

Байрон заглянул в гараж. Пусто. Значит, Оливия укатила на BMW. Его «Опель» отогнали в угол двора. Когда он сел за руль, ворота со скрежетом отъехали: Нила постаралась. Он с места рванул машину, резко повернул вправо, дымя резиной, и погнал вверх – к центру.

Центральная улица в Шатове носила два названия – все нечетные дома были украшены синими табличками с надписью «Советская», четные – красными табличками, на которых старинной вязью было выведено «Ямская». Так лет десять назад завершился спор между сторонниками и противниками новизны. Компромисс по-шатовски. Когда у отца Ивана, настоятеля самой старой церкви в Шатове, спросили, не раздражает ли его то обстоятельство, что храм стоит на улице, носящей имя палача Держинского, тот только улыбнулся: «А вы слышали, чтобы в городе кто-нибудь правильно выговаривал его имя?» Даже водители автобусов, считавшиеся в городке чуть ли не интеллигентами, объявляли остановку: «Улица Держинского». Старушки же прихожанки и вовсе выговаривали – «Жиржинского», и никому из них и дела не было до когдатовского начальника ВЧК. «Из поляков? Ну и Бог с им, лишь бы не из жидов».

Нотариальная контора располагалась в здании рядом с типографией. Байрон прошел через пропахшую керосином и ваксой приемную, украшенную фотографией Бориса Ельцина в камуфляжной форме, и без стука вошел к Николаю Павуку. Они были одноклассниками. Отец Николая – толстопузый Андрей Иванович, единственный в городе человек, куривший трубку, – был главным юрисконсультком компании Тавлинских. Сын его курил сигариллы – и явно без удовольствия. Байрон, изобразив занятость, попросил выдать ему конверт на имя Звонаревой Надежды. Павук молча выдвинул ящик стола и бросил конверт на стол.

– Я могу оставить тебе свое завещание? – вдруг спросил Байрон. – Говорят, это сейчас проще простого.

– Можешь хоть говна кусок в пакете принести, – процедил сквозь кривые зубы Павук-младший. – Я обязан принять на хранение. Ну заплатишь, как полагается...

Поблагодарив нотариуса, в кабинете которого – за спиной хозяина – висел дурно написанный портрет президента Путина с часами на правой руке, Байрон стремительно выскочил на улицу и бросился в машину. Вскрыл конверт, быстро пролистал бумаги. Дом на улице Садовой, 12. Все чин чинарем. Теперь можно было и в милицию.

Здание милиции углом выходило на центральную площадь с памятником Ленину и называлось в городке Ясеныным домом: перед ним росли пять старых ясеней, которые в первых числах сентября в одну ночь все разом вспыхивали золотыми кострами.

Байрон зашел к майору, заместителю начальника милиции, и рассказал ему ту же историю, что и прокурору. Подписал протокол допроса. Когда немногословный майор прятал бумагу в папку, Байрон спросил:

– А шофера материного – Виктора Звонарева – допрашивали?

– Всех допрашивали, кого нужно, – уклонился от ответа майор. – Вас начальник ждет, Байрон Григорьевич. По коридору налево.

Кирцер был не один. На подоконнике сидел прокурор, куривший вонючую сигарету. На столе стояла откупоренная бутылка минеральной воды и чайные стаканы тонкого стекла.

– Оформился? – весело приветствовал Байрона Кирцер, сидевший за столом без кителя.

– Пойду я. – Прокурор спрыгнул с подоконника. – Жара сегодня будет, черт возьми.

– Может, минералочки? – предложил Кирцер, когда за прокурором захопнулась дверь. – Ты его не бойся. – Он налил в стаканы минералку, чокнулись, выпили – это была водка. – Приходится маскироваться. Кури, кури, сам-то я бросил, но люблю дымом подышать.

– Евсей Евгеньевич, я ж за рулем! – неискренне запротестовал было Байрон, когда майор снова взялся за бутылку.

– Я ж тебе не за рулем, а в кабинете предлагаю выпить. – Выпил, посолил лимонную дольку. – В общем, что я тебе могу сказать... Отрабатываем две версии. Первая основывается на показаниях домохозяев и предполагает, что убийца в момент совершения преступления находился в доме. Эта версия мне не нравится, потому что ни у кого из вас не было мотива убивать старика, да еще – топором. – Выплюнул лимон в мусорную корзину. – Топором! Отпечатки пальцев мы послали в область – своей лаборатории как не было никогда, так и нет. Но если даже обнаружатся чужие отпечатки, которых нет в картотеке, можно про них забыть.

– Допросили, как я понимаю, всех, – сказал Байрон, закуривая. – И все заявили, что спали в это время как убитые и слыхом ничего не слыхали. Глубокая ночь, дождь...

Начальник грустно улыбнулся.

– Вижу, куда ты клонишь. Не веришь матери...

– Верю, – тотчас откликнулся Байрон. – Всем верю. И согласен с вами: ни у кого не было мотива для убийства. Ведь все заранее знали, кому что старик оставил в завещании. Мне дед сам об этом говорил... еще года три назад... А в сейфе оставил шкатулку с письмами... с прощальными письмами, в которых еще раз подтвердил неизменность завещания... Эти письма не имеют юридической силы, конечно, но он и с того света хотел попросить прощения... и так далее...

– Мы всех опросили, даже шоферов: все спали по домам.

– А Виктор Звонарев?

– У него какая-то девчонка на Садовой – с ней он и провел ночь.

– Садовая, двенадцать?

– Да. Ты откуда знаешь?

– Этот дом дед купил для Надежды Звонаревой. – Байрон хлопнул себя по карману. – Все бумаги на него у меня. Значит, дом стоит запечатый?

– Может, запечатый, а может, и нет. – Кирцер нахмурился. – Если старик заранее сказал Надежде про дом, мог и ключ от дома отдать...

– Ключ в конверте.

– Ты хочешь сказать, что Витька соврал? – рассердился Кирцер. – А вот я так не думаю. Ты знаешь старика: он в людях разбирался. Витька – свой, тавлинский. А главное – какого черта ему убивать старика?

– Понятия не имею.

– Я тоже. И поосторожнее со своими, Байрон, побережнее. Ты же оевал, знаешь: соседу по окопу надо доверять, иначе погибнешь. Тавлинские все в одном окопе. Ты меня понимаешь?

– Вы, Евсей Евгеньевич, как Нила, рассуждаете! – рассмеялся Байрон. – Нельзя выносить сор из избы.

– А ты задумывался, почему некоторые истины называют избитыми? Потому что их тыщу лет и так и этак били-колотили, прежде чем они стали истинами. – Он налил в стаканы. – Домашнюю версию наш прокурор любит. А знаешь – почему? До сих пор себе простить не может, что принял от старика Тавлинского подарок. Нет, не взятку! Куда! Тавлинский построил шикарный дом с большущими квартирами, половину квартир выставил на продажу, а оставшееся передал муниципалитету. Вот в эти квартиры и въехали разные начальники. Мэр лично выдавал ордера, в том числе и прокурору. Тот взял как миленький, потому что с женой и двумя малышами мыкался в двухкомнатной квартирке на набережной, туалет во дворе, вода из

колонки, вообрази-ка, каково там зимой было жить. Вот и переселился. Но как-то мне сказал, что, мол, Тавлинский все начальство подкупил этими квартирами. Я ему посоветовал попридержаться свое мнение при себе, потому что дойди оно до мэра – прокурору была бы устроена трудная жизнь. Это ведь запросто делается, сам понимаешь.

– Понимаю. А вы-то какой версии придерживаетесь?

– Татищевской. Уверен на девяносто девять процентов, что это их рук дело. По таким делам у них самый младший мастер...

– Обезьян?

– Он самый. Лихой парень, люблю таких. Умеет, черт, рубаху на груди рвануть и все такое прочее. Русский человек! Но – гад, и гад редкостный. Я своих ребят на него спустил, но пока не могут его найти. Ничего, подождем...

– Так он и признается...

– Посмотрим. – Кирцер высморкался. – Как жара, так у меня насморк. Аллергическое, что ли? – Подошел к окну. – Мы же здесь тесно живем, очень тесно. Как в бане: голыми жопами толкаемся. Все друг про дружку знаем. Так что я не думаю, что Обезьян сделал все так чисто, что комар носа не подточит. Найдутся какие-нибудь свидетели... они почти всегда находятся... Ты в город? Матери привет от меня и поклон. Жду не дождусь, когда же на пенсию выйду. Майя Михайловна обещала взять к себе – заместителем по вопросам безопасности. – Кирцер с улыбкой потянулся. – Надоело за обезьянами бегать! Знаю я их всех как облупленных, а они мне – врут, врут и врут. А я еще должен доказательства собирать, чтобы во вранье их уличить! Тьфу! Да разбуди среди ночи – я тебе сразу по любому делу всех подозреваемых назову. – Он протянул Байрону руку. – Бывай. Недаром мы тут тысячу лет живем. Это не Москва, где память и совесть друг к дружке в гости не ходят. Это Шатов, брат.

Спустившись с моста через Сту на грунтовую дорогу, проложенную параллельно реке, Байрон сбросил скорость: лужи в колеях еще не высохли.

Издали монастырь на острове напоминал крепость: мощные невысокие стены, подпертые контрфорсами, которые утопали в воде, горбатые шиферные и железные крыши, церковь без колокольни можно считать сторожевой башней-донжоном. Кое-где на стенах еще сохранились обрывки колючей проволоки, свисавшей с острых железных штыков, которыми когда-то густо щетинился Домзак, словно угрожая окружающему миру. И – никаких признаков жизни. Видно, и впрямь бросили люди проклятое место. Но одна семья должна остаться. Звонаревы.

Байрон не отважился въезжать в Домзак по узкому бревенчатому мосту, покрытому бурой плесенью и, казалось, едва державшемуся на своих деревянных опорах, которые острыми углами, обитыми железом, были развернуты против течения. Дед рассказывал, что весной, во время ледохода, охране приходилось взрывать ледяные заторы, образовывавшиеся перед мостом.

Оставив машину на взгорке, Байрон миновал мост и через проем в стене, когда-то закрывавшийся стальными воротами, вошел во двор Домзака. Под ногами похрустывал шлак, который десятилетиями трамбовали зеки.

Огляделся. На галереях, подпертых деревянными столбиками, валялось брошенное и забытое тряпье, какие-то полуразбитые ящики, обломки старой мебели. Под галереями были кучно свалены сосновые бревна – судя по светлым срезам, еще не успевшие пропитаться водой. Дверь церкви перевязана проволокой. В храме хранились запасы угольных брикетов для кочегарки, пристроенной сбоку (когда-то дед здорово сэкономил на угле, заключив выгодный договор на поставки угольных брикетов для тюрьмы, которые продолжались и после того, как Домзак тюрьмой быть перестал). Ее ржавая труба была скобами прихвачена к церковной стене и дос-

тигала срезанной верхушки храма. Слева от церкви громоздились черные железные бочки, источавшие запах керосина. Байрон обошел храм кругом. Постоял у скелета лесопилки, выстроенной когда-то на месте разрушенного при расстреле зеков сарая.

– Эй, там! – раздался мужской голос. – Выходи сюда!

Виктор Звонарев в линялой майке курил, пряча сигарету в кулак, на галерее. За его спиной колыхалась занавеска.

– Я Тавлинский, – сказал Байрон. – По делу к тебе.

– Мать, что ли, прислала?

– Нет.

– Тогда заходи – гостем будешь.

Квартира Звонаревых состояла из четырех комнат – бывших камер, между которыми были пробиты дверные проемы. «И здесь жила Оливия, – подумал Байрон, входя в кухню. – Неужели и впрямь любила этого Михаила? После меня, после того самого удара молнии?» На столе, крытом клеенкой, стояла батарея водочных бутылок, окруженная тарелками с грибами, помидорами, вкривь и вкось нарезанной колабасой, ломтями липкого хлеба и дольками лимона. Запах в кухне, к удивлению Байрона, был непривычно – по сравнению с обычным шатовским кухонным запахом – пищевой, чистый. Разве что из соседней комнаты, дверь в которую была слегка приоткрыта, тянуло застарелой мочой и горелыми восковыми свечами.

– Мать отсыпается, – хмуро пояснил Виктор, садясь за кухонный стол. – Будь гостем, Байрон Тавлинский. Почему тебя назвали нерусским именем? Извини, конечно.

– Мать любила Байрона. Джорджа Гордона. Это поэт такой английский был...

– Не держи меня, пожалуйста, за дурака, – сказал Виктор, наливая в граненые стаканы водку. – Лорд Байрон. Слыхал. Правда, не читал ничего – мне Пушкина хватило. – Усмехнулся. – За знакомство?

Они выпили. Закусили грибами и колбасой. «А колбаса хорошая, – машинально отметил Байрон. – Не обижает матушка своих телохранителей».

– Ви-ить! – простонала из соседней комнаты женщина. – Кто там у нас?

– Извини. – Втоктор налил стакан доверху. – Надо даму опохмелить. Тогда она заснет и не будет мешать разговору.

Он скрылся за дверь.

«Может, и он, – равнодушно подумал Байрон. – Голая жопа. Мать постоянна в своих привычках, как говаривал дед. Но мотив?»

– Я ей сказал, что ты Тавлинский, – сообщил вернувшийся Виктор. – Она, кажется, даже обрадовалась.

– Обрадовалась?

– Она часто вспоминала старика. Иногда даже добром поминала. Говорила, может, один за всю жизнь и был у меня мужчина, которого любила. Это она про мистера-капиталистера, твоего деда. Сорок секунд уже прошло – пора еще по одной.

Они выпили.

Виктор обладал неброской внешностью: крепыш, с татуировкой на левом плече в виде скрещенных мечей, разве что сросшиеся на переносье брови хоть как-то выделяли его из толпы таких же, как он, окружающих – в Москве их Байрон встречал часто – новых русских, в народе этих выкормленных стероидами и анаболиками битюгов называли «быками».

Байрон молча выложил на стол конверт с купчей. Виктор неторопливо перелистал бумаги, кивнул.

– Я всегда знал, что он не обманет. Еще по одной?

– Мать беспокоится, что ты сегодня не вышел на работу.

– Дела. – Виктор налил в стаканы водки. – Будь.

Выпив, он закурил и усталился на Байрона.

– Майя Михайловна говорила, что ты в Афгане воевал. И даже Героя схлопотал.

– Было.

– А в Чечне что? Я ж там и действительную отбыл и по контракту отбыхал.

– А что в Чечне? – Байрон закурил, бросив пачку «Мальборо» на стол. – Я же следователь военной прокуратуры. Нас ни местные не любили, ни свои. То есть ненавидели.

– Было за что.

– Ну да, кому нужен чужой присмотр за такими, как ты. Где служил-то? Кого не спрашиваешь, все говорят: в спецназе, в ГРУ и тэ пэ.

– В спецназе. Без дураков. Можешь запросить в военкомате.

– Да я верю.

– А чему же не веришь?

– Меня обвиняют в убийстве деда.

– Ого, – без выражения сказал Виктор. – Додумались.

– Ты уволиться решил, что ли?

– Вроде того. Оружие сдам – пусть не беспокоятся. Да и на что мне их Макаров? Пукалка. Но ты ж не за этим приехал?

– Ты был у матери в ночь убийства? Без протокола, Вить...

– В протоколе записано, что не был. – Виктор усмехнулся. – А может, ты меня выслушаешь, полковник?

– Подполковник.

– Договорились. Так вот выслушай, брат. Не обижайся на «брата» – так все друг дружку зовут, кто через Чечню прошел... А я хочу тебе рассказать о своем родном брате Мише. Михаиле. Знаешь, кем он для меня был? Богом. Я хоть и верующий человек и понимаю, что грех так про земных людей говорить, но Миша был настоящим богом для меня. Отца-то не было. А был брат. Он мне ширинку застегивал. Понимаешь? Стирал, убирал за мной, учил ботинки чистить, на коньках кататься, всему учил. На закорках катал. Однажды я – это весной было – поехал на коньках и влетел в полынью. А? В полынью. Ближе к весне дело было. Я в полном обмундировании ушел под лед, перепугался, дыхания никакого, руками в лед уперся, и вдруг чья-то рука меня из соседней полыньи вытаскивает за шкурку. Мишка! Отнес меня на руках домой, обтер, дал чаю горячего и спать уложил. Тогда я впервые смерть глаза в глаза увидел. А он меня – спас. Выдернул с того света. Рассчитал все – и из соседней полыньи вытащил. Так что пусть не говорят, что он пьяница был забубенный! И ты не смей говорить!

Байрон кивнул.

– Когда он из армии вернулся, пошел на фабрику. А она вскоре развалилась. Мишка попивать стал, не так чтобы очень, но – каждый день. Не дрался. – Виктор покивал. – Это он к тому времени, когда на Оливии женился, стал руки в ход пускать. А когда я вернулся из Чечни, тут вдруг и случай: Миша погиб. Утонул. – Он подался к Байрону. – Я же через многое прошел, потому и не поверил, что брат по своей воле отправился на тот свет. Он смерти боялся. Боялся.

– Ты Оливию винишь?

– Нет, – сразу ответил Виктор. – Ее – нет. Но и в смерть случайную – не поверил. Это ж до чего надо дойти, чтобы самому съехать на инвалидной коляске в ледеход!

– Не кричи. – Байрон выпил. – Ну и водку здесь делают гадкую!

– Здесь все делают гадкое! – закричал в голос Виктор. – Всю жизнь! – Он тоже закурил. Морщины на его лбу разгладились. – Знаешь, полковник, я сразу не поверил. И сразу подумал: кому выгодно? Правильно?

– Оливии?

– Нет. Не ей. Я решил выждать и посмотреть хорошенько, кто из этого выгоду извлечет. Тут как раз старик меня шофером к твоей мамаше определил... удобное место...

– Стоп. – Байрон поднял руку. – Ни слова о матери.

– Ни слова. – Виктор выпил водки. – Я разве твою мать в чем виню? Нет, брат, ни в чем. Но когда Оливия стала жить с Татой-старшим, я начал кое-что соображать.

– Значит, Тата?

– Но Оливия-то не ему принадлежала! Она ж – Тавлинская! Есть хозяйин. Будешь? Как хочешь. – Он плеснул себе водки в стакан. – Водка-то, обрати внимание, называется «Тавлинской». – Выпил. – Оливия, повторяю, принадлежала Тавлинскому. Старик. Я ж помню, как он радовался, что обвел вокруг пальца Тату и завладел его акциями. При мне было. Разговор, в смысле. И я помню, как Обезьян психовал в казино... помню! Дружки мне говорили, что теперь Татины люди старика замочат. Да и чего трудного? Сигнализация не работает, старик спит во флигеле...

– Откуда ты знаешь про сигнализацию?

– Ты не топырься, братан, потому что мне сто раз поручали эту сигнализацию наладить. Я, конечно, на все руки мастер, но не до такой же степени... А через забор перебраться – тьфу!

– Значит, Обезьян?

Виктор с насмешкой посмотрел на Байрона.

– Следователь – он и есть следователь. Тем более военный.

– Я давно не следователь. И давно не военный. У меня, Вить, странное подозрение... что ты убил старика... ты не обижайся. Но почему бы и нет?

– А! – Виктор откинулся на спинку стула. – Понимаю. Но ничего тебе определенного сейчас не скажу. Хотя и считаю, что старик Тавлинский был виноват в смерти Мишиной. Ви-но-ват! Из этого, однако, ничего не следует. Мало ли что я считаю... Ты вот чего прихрамываешь?

– Миной ступню оторвало. В Чечне.

– Мина! Понимаешь? Мина, а не Бог с его присными правит всем этим сраным миром! И не на кого оглянуться... Раньше я хоть на Мишку оглядывался... А теперь – не на кого. Делай, что хочешь. Вот я и буду делать, что хочу. Валар.*

– Я даже не спрашиваю – что.

– У меня своя информация, Байрон. Я, лорд, сперва сам во всем разберусь, а уж потом пусть кто угодно разбирается: все равно будет правдой то, что я сделаю!

– Ты деда убил?

– Иди ты к едреной фене, Тавлинский! – Виктор налил в стаканы. – За дом спасибо старик. Кстати, ведь отчество у меня – Андреевич! А? Вдруг он и вправду мне родной отец? Как же я на родного отца – да с топором?

– А у меня – Григорьевич! – со злостью ответил Байрон. – Это еще ничего не значит. Но если я буду твердо уверен в том, что ты деда убил...

– Ну и что? Убьешь? А на кой хер мне эта жизнь, ты подумал? И твоя, кстати, жизнь, на кой она тебе ляд сдалась? Мы сданы в утиль, братан. Делай, что хочешь. Живи, как знаешь. Россия такая. Хотя... какой еще ей быть сейчас? Я Россию не виню. Слишком она велика, чтоб на нее оглядываться. – Он поднял стакан. – На посошок? Давай. Сегодня же мать отправлю в новый дом, слово даю. А у меня еще кой-какие дела остались... Пошли! Ну чего ты застрял? Фокус покажу. Фокус-покус.

Байрон присел на колченогий табурет, брошенный переселенцами, и молча наблюдал за Звонаревым, который пристраивал две пустые бутылки в стенной нише.

– А теперь – опаньки! – крикнул Виктор.

Выхватив пистолет, он разбежался, сделал кульбит и первым же выстрелом разбил бутылку. Выдохнув, сделал кульбит назад и вторым выстрелом разбил оставшуюся бутылку.

* Смерть (чеченск.)

– А говорят, что Макаров – говно! – крикнул он, задыхаясь. – Хочешь попробовать?

Байрон затряс головой. Нет. Он и без того был уверен, что в случае необходимости этот Звонарев перебьет всех, кто встанет на его пути. Без цирковых фокусов и без злобы. «Но фигляр, – подумал он с внезапной злобой. – Шут гороховый – тем и опасен».

– Бывай! – Байрон встал и, слегка покачиваясь, направился к воротам. – Из меня стрелок хреновый.

– Чего? – не расслышал Звонарев.

– Мать увози! – откликнулся Байрон. – Чем раньше, тем лучше!

Он проклинал себя за то, что поехал в Домзак, за разговор со Звонаревым, а его – за это идиотское шутовство с пистолетом («Тоже мне Гарри Гудини!»), за бессмысленное питье без просыху, за Оливию и Диану... За все. Но легче от этого не становилось.

Солнце стояло уже высоко, и машина нагрелась. Байрон опустил боковое стекло и закурил. Ну вот, он встретился со Звонаревым – и что? Что он узнал? Почти все. Но в этом «почти» таилось слишком многое, чего он еще не понимал или отказывался понимать. Например, зачем Виктору Звонареву убивать старика Тавлинского? Мечь за брата, которого он обожествлял, мечь мистери-миллионисту? Это что-то вальтерскоттовское, средневеково-романтическое... Но, похоже, он сам склонялся скорее к тому, что виновниками убийства были сыновья и внук Таты. При этом, однако, поправил себя Байрон, Звонарев не исключал и виновности Тавлинского-старшего. Если это так, то именно он и убил старика. А матушка скрывает, что в ту ночь спала с Виктором. Это, конечно, ее право. Тем более что Звонарев, кажется, и сам не очень-то убедительно говорил о киллере, poslanном Обезьяном.

Байрона передернуло от воспоминания о водке и грибах, которыми они с Виктором отмечали знакомство. Что ж, Шатов есть Шатов. Живут здесь картошкой с грибами да водкой «Тавлинской». Это вам не Москва. И пока Шатов хоть чуть-чуть не сравняется с Москвой, все будет продолжаться: бедные, которые беднее бедных, картошка, огурцы, грибы, убийства, зависть и упование на судьбу, которую они ошибочно принимают за Бога, живущего на улице Жиржинской...

Зазвенел мобильник.

– Ты не забыл, что тебя ждет Любовь Дмитриевна? – спросила Оливия.

– Какая такая?

– Ага, опять двадцать пять. Знахарка. Ты где? За тобой заехать? Если сам доберешься, то она живет рядом с церковью, где отец Михаил служит. Сообразишь?

– Еще как!

– Я все равно приеду, – сказала Оливия. – Ты где? Не в Домзаке ли?

– Я уже еду. Еду, говорю!

Церковка, в которой служил отец Михаил, стояла не так уж высоко над урезом воды, но даже во время весенних половодий почему-то не затоплялась, в чем многие усматривали промысел Божий и даже чудо. Отец Михаил, как уже знал Байрон, был внучатым племянником того архимандрита, которого поздней осенью 1941 года расстрелял Андрей Григорьевич Тавлинский. Самому настоятелю церкви тоже не повезло в жизни. На подаренном прихожанами автомобиле он врезался в трейлер, сам остался жив, но при этом погибли жена и двухгодовалая дочка. Это обстоятельство – в глазах прихожан – добавляло отцу Михаилу святости, хотя сам он, по слухам, после аварии то и дело впадал в самый настоящий русский запой. Знахарка Любовь Дмитриевна, женщина молодая и, как говорили, ничего себе черт в юбке, снимала у одной старушки избу поблизости, но фактически не покидала дома священника. Ее не осуждали. Тем более что

отношения свои напоказ они не выставляли. Когда-то Любовь Дмитриевна училась в фармацевтическом институте (и вроде бы закончила), но по специальности не работала и дня. Утверждали за верное, что была она истовой наркоманкой, прибилась к отцу Михаилу случайно и вот якобы ему и удалось отвадить ее от пристрастия к дьявольскому зелью. Правда или нет, но к ней водили алкоголиков, наркоманов, подверженных трясучке и прочих неполноценных – с точки зрения шатовцев – людей. Многим она помогала – кому лекарством, кому словом, и это укрепляло ее славу, – однако отец Михаил относился к ее практике если не с отвращением, то с неодобрением – точно. Он был заурядным провинциальным священнослужителем, который строго следовал правилам и строго осуждал и колдовство (а занятия Любови Дмитриевны он полагал за колдовство), и оккультизм. Однажды он устроил настоящий дебош в книжном магазине старика Тавлинского, куда заходил каждое воскресенье и где как-то раз обнаружил книжки по оккультизму, в число которых он включал и Рериха, и авторов «фэнтэзи». Андрей Григорьевич Тавлинский безо всяких препирательств изъясил все эти книги из магазина, хотя товароведы и убеждали его, что эти книжки пользуются у населения повышенным спросом. «Вот подуспокоится Россия, – отвечал Андрей Григорьевич, – и самой станет стыдно, что за такие книжки деньги выкладывала».

Байрон увидел во дворе священника BMW и остановил свой «Опель» метрах в двадцати-тридцати от ворот. На высоком крылечке сидела с сигаретой Оливия.

Медвяная Оливия. Вся в черном. Ей это шло.

– Любаша тебя ждет. – Оливия швырнула окурочек не глядя. – Только, пожалуйста, без выпендрежа. Ага? Ради меня.

Байрон вскользь поцеловал Оливию в щеку и послушно последовал за нею.

Они свернули за угол священнического дома («Бедного, надо сказать», – отметил про себя Байрон) и направились к сараю, точнее, к сруб, наполовину утопленному в землю.

– Ждет, – вполголоса проговорила Оливия. – От тебя пахнет водкой.

– А чем еще может от меня пахнуть? – пробормотал Байрон, проклиная себя за то, что поддался бабьим уговорам. – Она хоть не кликуша?

Оливия презрительно фыркнула.

– Банька с пауками, – проговорил Байрон, наклоняясь и входя в дверь. – Достоевщиной разит – Боже мой!

Из-за дощатого стола, занимавшего добрую половину помещения, поднялась молодая женщина в темном платке, но одетая в полупрозрачное платье, под которым виднелись спортивные брюки. Лицо ее было вытянуто, как в декадентском фильме, глаза – огромные, черные – прямо и безразлично взирали на пришельцев.

– Ты уходи пока, Оливия, – сказала она. – А вы разденьтесь, пожалуйста. До трусов.

– У вас тут пауки не водятся? – поинтересовался Байрон, расстегивая джинсы. – Бюсь я всяких мелких гадов. Особенно с лапами.

– Нету. Да не стесняйтесь вы!

Байрон стянул с себя джинсы, не трогая протез. Лег на тахту, крытую чистенькой клеенкой.

– Левая, – сказала Люба. – Лживая. Уколов не боитесь? В смысле: противопоказаний против анальгина нету?

– Никак нет. – Байрона разобрал смех. – Вы и в самом деле ведунья?

Она фыркнула, набирая из ампулы в шприц что-то розовое.

– Если нету идиосинкразии, тогда подставьте руку. Давление нормальное?

– Сто тридцать на восемьдесят. Иногда скачет под сто восемьдесят.

– При вашей комплекции и пристрастии к вину... – Ввела шприц в вену. – Вы не бойтесь. Я колдунья с дипломом. Опа!

Он не знал, сколько времени прошло, пока он был в отключке. И что эта стерва ввела ему в вену – белену какую-нибудь. Дурман. Русские ведьмы изобретательны. Вареву из лягушек и прочей дряни – это прерогатива кельтов. Он оцепенел. Он видел ведьму и Оливию: они о чем-то шептались, перекиваясь. Он полный дурак. Доверился двум идиоткам.

Он отчетливо видел все, что они делали, – входили и выходили из банки, о чем-то разговаривали, – но не мог расслышать ничего, даже биения собственного сердца. Потом вдруг зрение его замерцало – и все погасло. Кто-то положил ему на лоб холодное влажное полотенце.

Высокие металлические ворота открылись бесшумно. Он взял под козырек, увидев выбирающегося из машины старшего офицера. Майор Синицкий. Стянув с толстой руки кожаную перчатку, майор поздоровался. «Прошу туда! – Он пошел вперед, напряженно соображая, какого черта в такое время – уже даже днем в Шатове был слышен гул немецкой артиллерии – в Домзак пожаловало высокое начальство. – Эвакуировать, наверное, будут. Могли бы и курьера прислать. А тут – майор НКВД. Сам. Значит, что-то серьезное». Они поднялись на второй этаж и, свернув за угол, оказались в кабинете начальника тюрьмы. Дневальный вытянулся, отдавая честь. «Свободен! – приказал Синицкий. – Ну и теснотища у тебя здесь, начальник. Впояданку спите, что ли? Шучу». Протянул конверт. Пока он читал бумагу, Синицкий расположился у печки, снял фуражку. Коротко стриженные курчавые волосы. Гладко выбрит. Попахивает спиртом. Ну, понятно, на таком морозе... Он перечитал бумагу. «Значит, всех?» Синицкий вынул фляжку, глотнул, обтер рукавом горлышко, протянул ему. «А ты что – неграмотный? Или патронов не хватит?» «Хватит, товарищ майор!» Осторожно пригубил из фляжки – чистый спирт. Двести девяносто четыре человека к утру должны превратиться в двести девяносто четыре трупа. Интеллигенты и крестьяне, ремесленники и чиновники, русские и татары, евреи и трое удмуртов. Почему-то запомнилось, что удмуртов было трое. Он посмотрел на майора, на его скуластое лицо, порозовевшее от тепла и спирта. «Распишись, – лениво велел майор. – Вон там. Шофера я погнал в город – за спиртом. А то ребята на морозе еще заразу какую-нибудь подхватят. Пусть греются». Двести девяносто четыре. Из них человек тридцать, не больше, – настоящие уголовники. Но и им уготована общая судьба. «А потом что? – спросил он. – Их же хоронить надо». Синицкий посерьезнел. «Это – обязательно, – сказал он. – Пошли кого-нибудь подыскать место. Чуть недалеко отсюда. Места у вас песчаные, так что главное – заморзую корку подорвать. Остальное – лопатами. Да лучше всего яму какую-нибудь... углубить динамитом – динамит есть? – и засыпать. – Майор усмехнулся. – Неужели ты думаешь, что их кто-нибудь искать станет? Да никогда». Он приоткрыл дверцу печки, крупные его руки стали ярко-красными от света пламени. «Выполняй – я сейчас спущусь». Он убил его одним выстрелом – в висок. Коренастое тело майора свалилось со стула набок. Даже ножкой не дрыгнул. Прислушался: в канцелярии было тихо. Кое-как затащил Синицкого в холодную подсобку, где стояли ведра, швабры и валялся разный хлам. Закидал тело тряпьем. Подсобку запер на ключ. Предписание вместе с конвертом бросил в печку. Повел плечами, поправил ремень. Дверь за собой тоже – на ключ. Бросил дежурному офицеру: «Общий сбор!» И уже через пять минут перед ним на плацу выстроились солдаты. Даже часовых с вышек сняли. «Из Москвы поступил приказ: всех заключенных срочно распустить по домам. Бумаги им выписывать некогда, сами понимаете. Всех. Приказываю: камеры и ворота открыть!» Согретьшихся было в тесных камерах заключенных пинками выгнали на мороз, выстроили в колонну по пятеро. Не забыли и тех, что были заперты в церквях. Двести девяносто четыре. «Вы свободны! – крикнул он. – Ворота

открыты! По мосту идти не в ногу. Шагом марш отсюда! Молитесь за товарища Сталина!» Послушно зашаркали сотни ног. Мимо него проходили сгорбленные люди – кто в пальто, а кто и в одной рубашке. Где эти удмурты? И вообще: куда они все пойдут? Да, куда? Почему-то этот вопрос и в голову ему не приходил. Но сейчас уже поздно рассуждать. Куда дойдут – туда и дойдут. Когда за последней пятеркой захлопнулись стальные ворота, он приказал: «Отбой! Всем спать!» И бегом бросился в канцелярию. Фляжка со спиртом так и осталась на столе. Он жадно глотнул. Закурил папироску и вытянул ноги к печи. Никаких вопросов он себе не задавал. Он поступил, как учили: никаких вопросов. Действовать по обстановке. Вот он и действовал. А что будет дальше – не его забота. Никто и не вспомнит про этих бедолаг да и про него... Нет, про него-то как раз вспомнят. Сразу расстреляют или посадят? Может, на фронт пошлют... Он и не заметил, как уснул. А очнулся от громкого стука в дверь. «Товарищ начальник! – кричал дежурный. – Спуститесь во двор! Товарищ начальник!» Снова поправив амуницию, он отпер дверь и, толкнув дежурного плечом, прогрохотал сапогами вниз. Что за звук? Прошло – он бросил взгляд на часы – не больше четырех часов. Темень. В ворота стучали. Множество рук. Господи, да неужели... «Открыть ворота!» Едва створки поползли в стороны, как в образовавшуюся щель протиснулся первый зек – в пальто и шапке-ушанке. За ним – остальные. Словно сквозь брешь в плотине, они хлынули во двор и бросились по своим камерам. «Стоять! – закричал он. – Стоять! Стрелять буду!» К нему приблизился седобородый старик с крестом во рту. Аккуратно выплюнув крест в ладонь, перекрестил начальника. «Не гневайся, брат. Но куда ж нам идти? Мы-то думали – на волю, а воли там – нету. Нету там ничего, брат!» Оттолкнув старика, он крупно зашагал к распахнутым воротам. Бросил на ходу дежурному: «Пересчитать всех!» Остановился в проеме ворот. В лицо ему бил ледяной ветер, и ветер этот, вдруг понял он, не знаком ни с крышами жилых домов, ни с лесными деревьями, ни с просторами вод. Это был ветер ниоткуда. Словно ударил из средоточия тьмы неведомой, где таился до поры до времени, чтобы вернуть закону – Закон, а силе – Силу. «Таких ветров не бывает, – тупо подумал он. – Это все... это вся эта Россия против меня... У нее даже ветер особенный отыскался, чтоб напомнить мне: шалишь, брат! А закон?»

– Нет такого закона, – внятно проговорил Байрон, содрогаясь от холода на клеенке. – Где вы там?

– Сейчас, милый, сейчас...

Он приподнялся на локтях. Стоя перед ним на коленях, Любовь Дмитриевна заканчивала перевязку его обрубка. Пахло ихтиолкой, какими-то травами...

– Где Оливия? – хрипло спросил он. – Чем вы там намазали?

– Оливия уже приехала, – ответила Любовь Дмитриевна, поднимаясь с колен и вытирая руки полотенцем. – Если ваши московские врачи спросят насчет мази, я тут все выписала на бумажке. Можете не трудиться: все по-латыни. Они поймут, а вам ни к чему. – Она кивнула на литровую банку с какой-то желтоватой мазью. – Этим будете смазывать на ночь. Но, судя по всему, это поможет только отек снять. А я, увы, не хирург и даже не онколог. Могу только сказать, что вам скорее нужно возвращаться в столицу – и в клинику, в клинику! Без промедления.

– Вы же не хирург и даже не онколог. Курить охота.

– Кошмар снился? – Она протянула ему сигарету, чиркнула спичкой. – Да у вас губы дрожат, милый! И давно это у вас?

Он кивнул, глубоко затягиваясь дымом. Голова еще кружилась, но звон в ушах пропал. Он снова все видел и слышал.

– Послушайте... вы и правда были наркоманкой?

– Мало ли что говорят. Что было, то прошло. А с тех пор, как я здесь поселилась, жизнь моя изменилась. Я сама изменилась. Довольны?

– Но вы же, простите, спите с этим отцом Михаилом? Не обижайтесь! Я же тоже не деревянный, понимаю: любовь и все такое.

– Любовь... – Она тихонечко рассмеялась. – Любовь – это мир превыше всякого ума. И вашего в том числе.

– Это буддизм.

– Какой вы, однако, глупый! Апостолов читайте... Павла – особенно... хотя бы читайте... Они были такими же людьми, как мы. Только они на пределе душевных и иногда физических сил размышляли о непостижимом. И верили в Бога. А вы ведь в Бога не верите, правда?

– Спасибо за сигарету. – Он протянул ей окурок. – Однако в таком виде мой обрубок в протез не влезет...

– Я вам палочку дам, чтоб опираться. А протез не забудьте, к утру наденете как миленький. Опухоль спадет, это я вам гарантирую. Но только это.

Со двора донесся шум машины.

– Это Оливия. Она ваш автомобиль домой отогнала, все равно вам сейчас за руль нельзя. А пока она и будет вашим водителем. Ну Бог с вами. – Женщина перекрестила его. – Дедушку вашего завтра ведь хоронят?

– Да. Спасибо вам. – Натянув джинсы, он полез в задний карман за бумажником.

– Ничего этого не надо. – Она улыбнулась. – А то меня еще за медпрактику без лицензии привлекут. Идите к Оливии. Палочку, Байрон Григорьевич! Палочку не забудьте!

Все же всунув с трудом обрубок ноги в незастегнутый протез и опираясь на палочку, Байрон кое-как добрал на машины.

– Долго я проспал?

– Уж вечер близится. – Оливия явно нервничала, но старалась держать себя в руках. – Поехали к моим: отцу захотелось с тобой повидаться.

– А что дома?

– Майя Михайловна всем подряд устраивает головомойку, – нехотя ответила Оливия. – Завтра похороны, а тут, видишь ли, не прибрано, это не готово, то валяется... Бесится. Больше всех почему-то Диане досталось: ревет до сих пор. Ей-то за что?

– Был бы человек, а вина найдется.

Машина свернула с проселка на асфальтированную улицу, обсаженную бурными тополями, и вскоре остановилась у двухэтажного дома, высившегося на белом кирпичном цоколе. Выше по улице тянулись одинаковые дома под черепичными крышами, над которыми – вдали – виднелись краснокирпичные строения ликеро-водочного завода. Даже отсюда была отчетливо различима паутина колючей проволоки поперх глухого стального забора цвета хаки.

От калитки к невысокому крыльцу вела аккуратная вымощенная тесным камнем дорожка, по бокам которой тянулись кусты подстриженного шиповника. Крыльцо с перилами и деревянный этаж дома были выкрашены голубой краской, а крышу – с обоих концов конька – украшали цветастые петухи. Да и все вокруг было чистым, ухоженным. «Так и просится на гравюру конца какого-нибудь семнадцатого века, – подумал вдруг Байрон. – Наверное, именно эта аккуратность и поразила юного царя Петра в Немецкой слободе».

Они вошли без стука. В прихожей Байрон нечаянно прижался к бедру Оливии, снимавшей туфли, она с силой, но мягко отстранила его. Промолчала:

– Ты здесь только моего женишка не разыгрывай. Не обижайся, ладно?

– Штрафную! – нараспев прокричал дядя Ваня, появляясь из комнаты с подносиком в руках. – До дна, племянничек, чтоб зла не оставлять!

Байрон молча и не кривясь выпил. Обнял дядю.

– Ты извини: от меня микстурой пахнет... только что от Любви Дмитриевны...

– Святая женщина! – прошептал дядя. – Но бабушка – не одобряет! Молчу! Молчу! Она к нему бродяжкой пришла, и так сошлось, что прибыла она как раз в тот день, когда отец Михаил жену и дочку отпевал. Любовь Дмитриевна в толпе верующих стояла, а потом вдруг – в обморок. А очулась – и не захотелось ей больше бродяжничать. Знак! То знак был свыше!

Он подтолкнул племянника в спину.

Из-за стола, уставленного тарелками с закусками, бутылками и рюмками, поднялся худощавый священник со связанными в хвост на затылке волосами.

Байрон не знал, принято ли здороваться с попами за руку, и поэтому поклонился издали. Бабушка ответил таким же неглубоким поклоном.

Вошла жена дяди Вани, Лиза, тоже поклонилась Байрону. Освободила место за столом, выставила чистые тарелки и, опять зачем-то поклонившись, исчезла за дверью.

– А мы тут с отцом Михаилом о страдании рассуждаем, – продолжая разговор, дядя Ваня налил всем в рюмки. – Я утверждаю, что пострадавший за близкого своего – например, за отца или брата – уже если и не святой, то мученик. А еще про канонизацию царской семьи... – Он поймал вилкой гриб, проглотил. – Я говорю, если уж на то пошло-поехало, тогда надо всех погибших канонизировать – и белых, и красных, да и тех, которые бесследно и бесследно на Колыме пропали...

Священник смущенно улынулся в редкие усы.

– Со здоровьем!

– Об этом много в газетах писали, – сказал Байрон, подцепив вилкой кусок хорошей ветчины и отправляя его в рот: после Любашиного снадобья пробудился аппетит. – Пописали – и забыли. Иконка в церквях появилась новая... А знаете, бабушка, – он чуть склонился к отцу Михаилу, словно желая сказать тому что-то по секрету, – а ведь будут люди молиться царю-мученику. Будут. Только не потому, что он мученик, а из-за малолетнего сына Алешки, погибшего вместе с родителями. Младенец ведь... Молиться будут отцу, а вспоминать – малыша, которого большевики убили.

– В вашем мнении есть какой-то резон, – сказал священник. – Но только вот такусенький... частичный...

– Ты ради этого Байрона звал? – с холодком в голосе поинтересовалась Оливия.

«Интересно, – подумал Байрон, – считает она его настоящим своим отцом или нет?»

– Из-за этого? – удивился дядя Ваня. – А чем этот разговор хуже других? Хотя, конечно, с места в карьер – негоже. Твой тост, племянник!

– Спасибо. – Байрон обвел взглядом присутствующих. – Только у меня не тост даже, а как бы предупреждение...

– Преамбула! – воскликнул дядя. – Какой же тост без преамбулы?

– Вам, бабушка, мой дед, наверное, рассказывал о том происшествии сорок первого года... которое в Домзаке случилось однажды ночью...

Священник кивнул.

– Вообразите: мне приснился сон. – Байрон выпил. – Можно я у вас тут подымлю?

Оливия придвинула пепельницу.

– Как будто я начальник Домзак и получил приказ отпустить заключенных, приговоренных к смерти. Выпустил. А прошло три или четыре часа, как вдруг они все вернулись. Бегом. Как в дом родной. Встал я в распахнутых воротах на ветру и не знаю, что дальше будет...

– Ну и? – подался к нему дядя Ваня.

– Проснулся я. – Байрон посмотрел на священника. – Вы, наверное, Кафку читали? Так вот многие считают, что главного героя казнят ни за что. Просто так.

– А вы считаете как? – спросил отец Михаил.

– Его прирезали, как собаку, в отместку за то, что свой личный закон он искал за пределами себя. В чужом Законе. Может, это и не я придумал, а вычитал где-нибудь... неважно! Почему они все вернулись? Ну я понимаю: война, вокруг солдаты, патрули, да и идти им, в общем, было некуда: родные вмиг бы выдали, такие были времена. Но ведь кто-то же мог и не вернуться? Лучше уж на воле погибнуть, чем по-телячьи покорно ждать расстрела. Ради чего? Ради еще одного теплого часа в вонючей камере? Ведь все на верную смерть вернулись...

– Ты, конечно, хотел бы этот свой сон на всю Россию распространить! – воскликнул дядя Ваня. – Сонная овечья страна и так далее.

– Ваш дедушка, царствие ему небесное, – начал священник, – рассказывал, что некоторые приговоренные держали во рту нательные крестики...

– И мне рассказывал, – подтвердил Байрон. – Последняя соломинка...

– А вам не приходило в голову, что они на мучение-то и вернулись? Что бы пострадать? Ведь тут не Кафка, а Бог внутренний и Бог внешний, как вы это называете, слились воедино... А вы, похоже, протестантов начитались, а истинной православной веры не имеете ни капли... разве что тягу...

– Среди них немало и атеистов было, – упрямо вернул разговор в прежнее русло Байрон.

– Это уж Господу разбираться, кто из них верующим был, а кто, как вы называете, атеистом. Вот вы себя к последним, кажется, причисляете, но ведь мучает вас история, рассказанная дедом, в сновидениях является. Даже если хотя бы один человек вернулся туда, чтобы за веру пострадать, то и остальные оправданы...

– И евреи с удмуртами?

– И они. То есть один подлинно верующий, хочу я сказать, тьму язычников перетянет.

– Вы своего деда архимандрита имеете в виду?

– Почему же только его? – удивился батюшка. – Хотя, конечно, и его тоже. Но ведь было там много народу, и наверняка верующих было больше, чем отрекшихся от веры. Поэтому я и готов утверждать, что не от моруза или патрулей те люди вернулись, – они на подвиг вернулись.

– Во сне? В моем собственном сне?

– Как знать. Бывают сны тонкие, духовные, даже провидческие...

– Но случилось-то все не так. И мой дед участвовал в этом. И знаете, что он мне перед смертью сказал? Что не испытывает никаких мук совести за содеянное. Его мучили какие-то детали... скрип сапог, чьи-то рожи, керосиновые лампы, горевшие почему-то вполнакала... Да он этими керосиновыми лампами мучился больше, чем тремя сотнями убитых! Кто велел прикрутить лампы? Вот какой вопрос он себе до самой смерти задавал!

– Этот вопрос он себе на своем языке задавал, но и этот вопрос был мучением его совести, только в причудливой форме... как у вашего Кафки, например...

– Эк ты его, Миша! – Пьяненький дядя Ваня снова взялся разливать водку по рюмкам. – На одном языке Бог говорит, на другом человек, и это, может быть, и правда.

– Не совсем точно я выразился, но, надеюсь, вы меня поняли?

– И выразились точно, – сказал Байрон, – понял я вас. Вопрос теперь в другом: почему это в моем сне случилось? Почему деду снилась керосиновая лампа, а мне – все остальное? Ведь сны по наследству не передаются. Да и вина – понятие не наследственное. И почему приснился этот тонкий сон – мне?

– Объяснение тут, вообще говоря, простое и к богословию отношения не имеет, – проговорил священник. – Просто-напросто вы только об этом в последнее время и думаете. Зубы чистите – об этом думаете. Водку пьете – а мысль не отвязывается. Чистая психология. Чем-то же поразила вас

эта история, Байрон Григорьевич, и в этом вы сами признались. Значит, поведение тех людей показалось вам странным, еще когда дедушка рассказывал вам о той страшной ночи... А сон стал продолжением ваших размышлений, которые подспудно жили в вас и не отпускали. И во сне явился вам иной образ случившегося: подвиг.

Байрон снова закурил и, тупо уставившись на иконку в углу, тихо проговорил:

– Это все обдумать надо. Вроде бы я понял, что вы хотите сказать. И понимаю, что вам тяжелее все это, чем мне, и вы еще наворотите дел, отец мой, потому что времена сейчас нехристианские... Но вы – верующий человек. А я, как и большинство, ни то ни се. И нету у меня времени, честно говоря, чтобы склониться к тому или к сему. – Сухо усмехнулся. – Да и надо ли? Впрочем, спасибо, батюшка, и на том.

– Папа! Это же салфетница! – возмущенно воскликнула Оливия, пытаясь вырвать у отца пустую ребристую вазочку. – Ну как хочешь! Тогда и мне наливайте.

Дядя Ваня поднялся. Был он крупен – в отца – и широкоплеч, а Байрон вдруг вспомнил его сгорбленным пришельцем, заявившимся к родственникам после долгих лет тюремной отсидки.

– Я недаром позвал тебя, Байрон, – начал он, – чтобы в присутствии святого отца... и так далее... Я не знаю, что тебе рассказывал отец насчет меня...

– Считай, ничего.

– Тем хуже... или тем лучше... – Он залпом выпил водку и шумно потянул ноздрями. – Случилось это незадолго до твоего рождения. Да, я буду краток. До рождения. Мы с твоим отцом, а моим единокровным братом, катались на санках и ударились головой. У Гриши вскоре обнаружилась падучая, а мне – хоть бы что. Но приступы у него случались редко, очень редко. Я и рассказать хочу только об одном приступе, который изменил не только мою жизнь... не только! У нас в старом доме что ни воскресенье собирались гости. Гриша, твой отец, был уже женат на Майе, и вроде бы они ждали ребенка... детали опускаю... Среди гостей оказалась девочка лет пятнадцати-шестнадцати. Шалунья, игрунья... В общем, по тем строгим временам – слишком избалованная была девочка. Гриша за нею в шутку взялся ухаживать и сдуру – только сдуру! – выпил водки. А ему ж было нельзя. Врачи – строго-настрого. Ну дальше проще: уединились они наверху (а только я один и видел, как они туда крались). А внизу веселье продолжается вовсю. Вино – рекой... И тут вдруг подходит ко мне тихохонько Нила и велит следовать за нею, не привлекая внимания гостей. Поднялись мы наверх – а там страх и ужас. Гриша без сознания, а девочка-шалунья – мертва. Изнасилована и мертва. Мы позвали родителей. Гриша постепенно пришел в себя и его увели. А когда гости ушли, состоялся разговор. Выдавать Гришу правосудию – значит, губить не только его, но и беременную Майю, да и репутацию семьи. Долго о чем-то разговаривали, кто-то плакал, кто-то... впрочем, это неважно! А я сидел и слушал их, и где-то в глубине души у меня словно бы какой-то страшный бутон распускался, и чем дальше, тем больше, тем сильнее я его чувствовал, а когда уже терпеза моего не стало, схватил отца за руку и потащил в другую комнату. Я, говорю, готов взять все на себя. Должны же дети хоть чем-то платить родителям, и я готов заплатить всю цену. Отец сначала решил, что я с ума сошел. Слово за слово – оба вроде успокоились, а бутон в душе моей вовсю распустился. Я был готов на все. Дом поджечь? Милости прошу! Человека убить? Да с моим удовольствием! И все это я отцу сказал... даже не сказал, а – говорил и говорил, пока совсем его не заговорил до полной одури, и сам по уши в этой одури, и вижу – он тоже. Аж вздрагивает. Налил нам по капельке коньяку, а потом вдруг – трах рюмку в пол. Пусть, говорит, Бог решает. Вот вам и неверующий человек, однако. Ты, говорит, хоть понимаешь, перед каким страшным выбором меня ставишь? А я этот выбор,

говорю, сам сделал. И пойду – до конца. И суд? И тюрьму? И суд, и тюрьму. Да нам же с тобой вовек не рассчитаться, Ваня, говорит он тихо. Вот в этом-то, говорю, и вся разница между нами. Вы про расчеты, а я – без всяких расчетов. Голый! Совершенно голый!

Он перевел дыхание и сел. Поискал что-то в кармане. Оливия протянула ему платок. Дядя Ваня промокнул глаза.

– И ведь все выдержал, все перенес. Что там следствие и суд! Хуже было, когда меня в психушку определили. Боже милостивый, знали б вы, что там с нами делали! Уколы, таблетки – это еще ничего. Терпимо. Книг не давали, даже переписку с родными запретили. Я уж не говорю о свиданиях с близкими. – Он громко высморкался в салфетку, скомкал и сунул ее в карман. – Санитары насильовали нас, братцы. Измывались... Я спасался только тем, что вспоминал прочитанные книги. Как я жалел, что читал без ума, не все запомнил! Стихи – и те вспомнить иногда не умел. Я же в драмкружке занимался – еще в школе. Мы Чехова ставили – так, рассказы, водевильчики. Но вот Чехова-то я, оказывается, и запомнил. И когда приехала ко мне Майя на первое свидание, я ей и говорю: «Те, которые будут жить через сто-двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Майя, ведь не помянут!» А она мне – слово в слово: «Люди не помянут – зато Бог помянет». За эту ее памятьливость, за эти ее слова я готов был не знаю на что ради нее... – Он вытер слезившиеся глаза тыльной стороной ладони. – «Позвольте мне говорить о своей любви, не гоните меня прочь. Вы мое счастье, моя жизнь, моя молодость!» И вот тогда-то я и понял, что все бывшее со мною – не напрасно, не зря. И когда я домой вернулся, а они, отец в особенности, стали у меня прощения просить, я остановил их – да, не лгу, остановил! И сам – сам! – у них прощения попросил!

– За что? – глухо спросил Байрон.

– С твоей точки зрения ни за что! – вскинулся дядя Ваня. – А с моей точки зрения – за все! За все, что мне было дано. Дано! Понимаешь? И к черту эти пятнадцать лет! Дано – не отнимешь!

И он уронил голову на руки, содрогаясь всем крупным телом.

Из соседней комнаты выбежала Лиза. Вдвоем с Оливией они подхватили Ивана и увели в спальню.

– Вы знали об этом? – после непродолжительного молчания спросил отец Михаил.

– Отчасти, – ответил Байрон. – А мать говорит, в молодости он веселый был, добрый, хороший...

– Мне на днях пришлось исповедать человека, совершившего преступление, взбудоражившее весь город, – медленно, словно бы через силу проговорил отец Михаил. – Он меня с постели поднял. Заперлись мы в церкви вдвоем. И вдруг пред ликом Христовым начал он лгать! Он говорит, детали какие-то выкладывает, а я физически чувствую его ложь и ничего с собой поделать не могу... Актерствует, лжет, извивается, как будто даже издевается, а я не пойму, над кем издевается, надо мной или над Богом... И в таком случае – зачем на исповедь пришел? Глупо.

– Я понимаю: тайна исповеди, – сказал Байрон. – Но какие детали он вам выложил? Или и про это нельзя говорить?

Отец Михаил покачал головой: нет.

– И что же – отпустили ему грехи?

– Грехи Бог отпускает. А я того человека выгнал из храма – не удержался. Стыжусь этого. – Он помолчал. – Нет правды в людях. Или ищем не там? Все люди как будто стертые: один телевизор смотрят, одни газетки читают, одним языком говорят... Впрочем, это уже другой разговор.

Байрон вдруг рассмеялся.

– Извините меня, отец Михаил, не знаю почему, но вы мне достоевского Шатова напоминаете... из «Бесов» – помните? Тот в Бога не верил, а в русский народ-богоносец – верил. Народ-богоносец один телевизор смот-

рит! Простите, не хотел вас обидеть. И еще: почему вы актерства так не любите? Извините за банальность, но все мы играем роли, в том числе и Иисус...

– Но Он играл только одну роль! – вспыхнул поп. – Вы вспомните противостояние Понтия Пилата и Иисуса. Кем был Пилат? Прокуратором Иудеи в Иерусалиме, фаворитом Сеяна в Риме, солдатом, мужем, любовником, циником... Разве не циничен его вопрос об истине? Так, кажется, и подмигивает Иисусу: мы-то, мол, с вами знаем, что есть истина на самом деле, так что отвечайте правильно – и я постараюсь вас отмазать. А Он – не может. Потому что всюду и всегда он был только Иисусом Христом, Спасителем и Спасением. Поэтому и завещал Он нам только одно: будьте собой. Собой – истинным, а не совокупностью приемчиков и ужимок!

– А это возможно?

Священник встал.

– Я помолюсь за него. Прощайте.

– За кого? – крикнул Байрон.

Но священник уже вышел, бесшумно ступая своими сапожищами.

– Прощайте... – пробормотал Байрон. – За кого ж вы молиться станете? Неужто Витька на исповедь среди ночи прибежал? Чушь.

Он лишь однажды был внутри церкви Преполовения Пятидесятницы, еще в детстве, и его неприятно поразил взгляд то ли какого-то святого, то ли Иисуса (сейчас он не мог вспомнить, кому принадлежал этот взгляд), взиравшего снизу вверх на Саваофа и в то же время не спускавшего глаз с прихожан: взгляд был жгуч и бел – может быть, потому, что снизу невозможно было различить зрачок святого.

Оливия вошла в комнату с неподвижным лицом.

– Он никогда нам этого не рассказывал. Может, маме... Ты спишь, что ли?

– Я с ума схожу, – сказал Байрон. – И говорю тебе это, не кривя душой. У меня сердце переполнено Тавлинскими, Шатовым... Дядю Ваню в тюрьму сдали, а он их прощает. Ни с того ни с сего. Как юродивый! Кстати, он в церковь ходит?

– Может, он и юродивый, а скорее заигравшийся игрок, но в церковь он не ходит. Во всяком случае, мне такое неизвестно.

– Извини. Отвези меня домой, пожалуйста. А батюшка этот... у него еще все впереди, хоть и кажется, что все уже пережил... И то, что выпивать начал... и остальное... наворотит! Ох и наворотит он еще дел! Да поехали же, милая, поехали же!

В голове мутилось, но он еще помнил, как вскарабкался по лестнице на второй этаж (даже Диану разглядел, стоявшую, уперев руки в бока, в проеме своей комнаты и наблюдавшую за костыляющим Байроном, которого поддерживала Оливия), как обрушился на кровать и попросил у Оливии снотворного. Она сунула ему в руку флакон («Только матери ни слова!»), принесла стакан воды, позвала:

– Байрон!

Но он уже спал, дрожа от озноба. Она укрыла его одеялом и осторожно прикрыла за собой дверь.

Сон его был недолог. Он очнулся в полной темноте и тотчас увидел женщину у окна. От нее ничем не пахло. «Верочка глухонемая! – с тоскливым ужасом подумал он. – Явилась не запылилась. Полный назад!»

– Это я, Байрон, – сказала мать. – Нам нужно поговорить. Ты можешь зайти ко мне?

– Конечно. – Он откашлялся. – Только умоюсь.

– Чем здесь так пахнет?

– Любовь Дмитриевна мазь дала.

– А. Ну, я жду.

Она ждала его в своем кабинете, полулежа на диване. Длинный ее халат, державшийся только поясом, съехал углом на пол, обнажив длинную мускулистую ногу прекрасной лепки. Поймав его взгляд, она поправила халат и села, подложив под спину подушку.

– Как там дядя Ваня? – безразличным голосом поинтересовалась она. – На столе в графине – хороший коньяк. А лимон уж сам порежь, сделай одолжение. Мне не надо.

Выпив рюмку, он опустился в кресло у окна – подальше от матери.

В комнате пахло тонкими духами и сердечными каплями.

– Теперь ты все знаешь, Байрон, – продолжала Майя Михайловна ровным голосом. – За эти дни ты узнал о своей семье больше, чем кто бы то ни было еще. Ты доволен?

– Странный вопрос... Чем же я должен быть доволен? Деда убили, дядя Ваня спивается, ты остаешься на пару с Оливией командовать империей Тавлинских, Диана сматывается... А я собираюсь уезжать, как только позволят обстоятельства, разумеется...

– Диана сматывается, – задумчиво повторила мать. – И это хорошо. Делать ей здесь больше нечего. Дед обеспечил ее всем необходимым на годы вперед, да она из тех, что в любых обстоятельствах не пропадают...

– Ты, видать, ее недолюбливаешь...

– Возможно. Но я и пальцем не шевельну, чтобы помешать ее планам. Просто она – чужая. Невзирая на то что присобачила к своей фамилии нашу. Это ничего не меняет. Она уже тебе, наверное, говорила, что ей незачем возвращаться...

Байрон кивнул.

– Вообще же она девочка забавная, – без оживления сказала мать. – Я неправильно выразилась. Она девочка с двойным дном. Мечется, извини меня, как слепая в бане, у которой какие-то дуры украли шайку...

– А ты давно в общественной бане была, ма?

– Ну я же выросла здесь. И до замужества не знала, что такое ванна и душ. Помню, мы с матерью ходили как раз в ту баню, куда по пятницам являлась эта слепая. Кажется, прозвище у нее было – Сиротка. Люба Сиротина. Хорошо, если с сестрой или с соседкой, хуже – когда одна. Так вот, стырят у Сиротки шайку и хохочут, подначивают... – Она покривила губы. – Шутка такая была. Вот эта бедолага и кричит, мечется, а потом вдруг присядет на корточки и замрет. Ждет, когда кто-нибудь мимо прошлепает, и тут эту бабу за ногу – хватя! Повалит на пол и ну мутузить. Ей кричат: да не она виновата! А она в ответ: буду бить, пока шайку не отдадите. Боялась я ее... очень... Я ведь не Нила, которая всех сироток жалеет. Ты никогда не задумывался о том, что, когда эти сиротки вырастают, они мало-помалу мстить начинают – и в первую очередь благодетелям? Я не провожу прямых аналогий, но Диана ведь почти всю жизнь в уродах ходила... Не фырчи! Найди другое слово, если это не нравится. А сейчас она – стройная козочка, врачи чудо с ее ножками сделали. Пора шайку искать... Я не хочу, чтобы в трудной ситуации, в которую мы попали из-за смерти деда, рядом с нами оказалась Диана. – Она вдруг улыбнулась. – А вообще-то жаловаться ей на нас – грех, правда? Ведь мы всю жизнь и были ее настоящими друзьями... ты, я полагаю, окончательно ее в этом убедил...

Байрон понял, что мать знает про него и Диану все. Или почти все. Шатов – тесный город. А уж дом Тавлинских – и подавно. Баня.

Он налил себе коньяку, закурил.

– Она ведь пыталась и с другими людьми сойтись. И знаешь, с кем сошлась? С Федор Колесычем! Налей и мне рюмочку.

Федор Колесыч жил одиноко и замкнуто у реки, а после смерти единственной дочери – северо-западной Ленты – и вовсе засмурел. Он был пугалом для всех городских детей. Раз, а то и два в неделю он выезжал на своей коляске с огромными задними колесами на отлов бездомных собак.

Надевал при этом вывернутую наизнанку шкуру какого-то грязно-серого зверя, надвинув на лоб капюшон. Едва завидев его в конце улицы, дети бросались спасать своих псов, запирая их в сараях или дома. Но без добычи Федор Колесыч никогда не возвращался. О нем говорили, что у Колесыча глаз магнитный: если упрется взглядом в какую-нибудь дворнягу, псина замирает неподвижно, пока ловец не набросит на нее свой огромный сачок. Знали в Шатове, что выезжал он на охоту и под утро, когда на пустынных улицах не было даже дворников. Колесыч и собаки. Этих он стрелял из малокалиберной винтовки.

– Незадолго до выпускных экзаменов Диане вдруг вздумалось составить Колесычу компанию. И выезжала-то она тайком, но дед узнал и ругательски ее отругал. А она говорит: какой кайф – псину одним выстрелом завалить. И глаза блестят, словно атропином закапанные.

– А я-то думал, что старик давно помер...

– В июне. – Майя Михайловна отхлебнула из рюмки и закурила сигаретку. – Та же Диана поведала нам за столом фантастическую историю о небывалых похоронах, в которых приняли участие тысячи собак – они проводили гроб с телом до кладбища, а когда рабочие закидали яму землей, каждый пес счел своим долгом помочиться на могильный холм...

– Это со временем пройдет.

– Разумеется. Она уже выросла из трусиков с ляжками, читает Милтона Фрийдмана по-английски и критикует экономическую программу правительства.

Они помолчали.

– Я остаюсь одна, – нарушила молчание Майя Михайловна. – Мне даже не бизнеса жаль – черт с ним! Выдам Оливию за Германа Лудинга – и все дела устроятся как нельзя лучше. А жаль... – Она погасила сигарету в недопитом коньяке. – Всего жаль. Я сейчас в таком состоянии, что даже Гришу – твоего отца – готова простить... а, черт!

Байрон забрал у нее рюмку с окурком.

– И дома не жаль?

Она только махнула рукой.

– А мне жаль, что вот я... вот не будет меня, а Домзак так и останется на своем месте. Как язва.

– Байрон, Колыма вон осталась – и что? Яйценоскость кур уменьшилась? Помнить – да, помним. И не приведи Господь, чтобы повторился весь этот кошмар. Но ведь невозможно каждую минуту, даже каждый день об этом вспоминать. Это наш Домзак. Наша Колыма.

– Наша Россия.

– Пока. Выучится Диана и построит на Колыме завод по производству колготок. Или за золотые копи возьмется. А может, с первых денег церковь выстроит?

Байрон ухмыльнулся.

– Может. Она все может. Сейчас в России трудно встретить бандита, который не жертвовал бы на церковь.

– А что ты смеешься? Что у нас осталось? История – испаскужена, и, пока ее в божеский вид приведут, кости наши истлеют. На нашу историю, милый, не обопрешься – опасно. Особенно если сдуру. Там подгнило, здесь искрошилось. Кровь да вера – вот и все, что у нас осталось. Ну и земля, конечно, окруженная мусульманами да китайцами.

– Вот уж не предполагал, что и ты об этом задумываешься.

– И не думай больше. Иди-ка выпишь по-человечески, завтра у нас день тяжелый.

Она прикрыла глаза.

– Из Москвы, когда случится... то есть когда почувствуешь – позвони. Спокойной ночи. Оливия – медовая девочка, не обижай ее.

Он обернулся с удивлением, но мать сделала вид, что спит.

Земля была буровато-желтой, чуть всхолмленной, и, куда ни кинь взгляд, всюду торчали безобразные огарки деревьев, иссохшие кусты, чудом не рассыпавшиеся в прах, да изредка полужансенные песком подобия человеческих жилищ без крыш, с темными провалами вместо окон и дверей. Байрон огляделся. Ни птицы, ни зверя, ни человека. Лишь кое-где в углублениях, оставленных, видимо, давно иссякшими ручьями, громоздились груды серых костей – то ли человеческих, то ли собачьих. «Почему собачьих?» – удивился он. Эти кости могли принадлежать животным, например. Он пнул башмаком одну кучу – она рассыпалась, подняв вялый столб пыли, которая тотчас осела на другие кости.

Он заглянул в некоторые дома без крыш, но не обнаружил там никакой даже ничтожной мелочи, напоминающей о людях.

Солнце стояло в зените, но не пекло, хотя не было и признака ветра, который смягчал бы жару.

Байрон задумался. Идти ему было все равно куда. И он двинулся вперед, наступая на крошечный островок собственной тени, двигавшейся в такт его шагам. Он видел пересохшие реки, озера и болота, огибал опасно глубокие овраги и трещины, избороздившие твердую землю, лишь прикрытую нетолстым слоем песка и пыли. И, если вдруг встречался валявшийся на земле человеческий череп, Байрон старался как можно скорее миновать это место. Иногда черепа эти были сложены в островерхие кучи. Вскоре, однако, он привык к безлюдному пейзажу, а когда стал разглядывать человеческие черепа, не нашел в них никаких – например, пулевых – отверстий. Возможно, все эти люди и животные умерли медленной смертью, когда закончилась пища и иссякла вода. Не исключено, подумал он, что и ему грозит именно такая смерть. Но не испытал страха. Ему было тепло и – он удивился – хорошо.

С наступлением темноты он забрался в брошенное жилище, проверил на всякий случай, не было ли там скорпионов (в Афганистане, спасаясь от скорпионов, они спали в палатках с поднятыми полами: их предупредили, что эти твари облюбовывают закрытые помещения). Он был голоден, но не измучен. Ему просто хотелось спать. Байрон лег вдоль стены у входа: стреляют обычно в тех, кто на виду. Однако ночь прошла спокойно.

Когда он увидел на горизонте первую невысокую башню, над которой слабо курился дымок, его окликнули. Он бросился ничком на землю, попластунски пробрался в ближайшую ложбинку и замер, увидев перед собой старика – с ног до головы в лохмотьях, с седой бородой, с выжженной до кирпичного цвета лысиной.

– Ты кто? – хрипло спросил Байрон. – Как тебя зовут?

– У меня нет имени, – спокойно ответил старик. – И тебе необязательно называть свое... если оно у тебя было...

– Что это за башня там?

– Когда стемнеет, мы двинемся в ту сторону, тогда и узнаешь.

Старик сомкнул веки и заснул.

Байрон лежал неподалеку, стараясь выдерживать дистанцию, и не спускал глаз с незнакомца. И чем внимательнее он вглядывался в его лицо, тем больше оно ему что-то напоминало. Кого-то. Быть может, кого-то из сновидений.

Когда свечерело, старик протер глаза и сел. Перекрестился.

– Пошли, – сказал он. – Хотя, конечно, можешь и остаться.

Байрон медленно двинулся за незнакомцем, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы успеть вовремя отбить нападение. Но старик шел не оборачиваясь, что-то бормоча себе под нос и не обращая внимания на спутника.

Темнело быстро.

Они поднялись на гребень невысокого холма и увидели высоченную черную башню. Поодаль на большом расстоянии одна от другой уходили за горизонт такие же башни.

Какой-то звук внезапно насторожил его, он обернулся и увидел в темноте множество людей. Откуда они вдруг взялись, эти безмолвные люди-тени? Но спрашивать старика он не стал. Все объяснится, когда они приблизятся к башне. От нее веяло теплом и еще чем-то таким, от чего на душе становилось легко и радостно.

– Почуял? – По голосу старика Байрон понял, что тот улыбается.

– Что это?

– Домзак.

– Такой огромный?!

– В том-то и фокус, брат! – Старик наконец изобразил на лице подобие улыбки. – Кажется, ширь неохватная, а на самом деле он меньше острицы...

– Острицы?

– Глист такой махонький.

– Глист? При чем тут...

Но старик лишь молча махнул рукой, призывая поторопиться. Они ускорили шаг, но люди-тени стремительно обгоняли их, не издавая ни звука. Не было слышно даже шарканья их ног. Огромная толпа спускалась в ложбину, вытягиваясь в некое подобие очереди, упиравшейся в подножие башни. И, как ни спешили Байрон со стариком, они оказались в хвосте этой очереди.

– Подождем, – сказал старик.

– Чего? – не понял Байрон, которого тянуло к источавшей тепло башне.

– Чего и остальные ждут, – ответил старик.

Байрон не ощущал течения времени. Он просто следовал за стариком, который время от времени делал шагок-другой вперед. Когда до башни оставалось шагов десять-пятнадцать, старик пропустил Байрона вперед, и Байрон воспринял это как должное и не стал задавать вопросов.

Уже замерев в дверном проеме и не испытывая иного желания, как поскорее оказаться внутри, Байрон вдруг обернулся к старику. Тот молился, сунув нательный крестик в рот.

– Вот оно что, – устало проговорил Байрон. – Значит, я предпоследний. А если ты последний, значит, ты Бог?

– Если вы так считаете, то мне не остается ничего другого, как последовать за тобой.

– За что же я сподобился этого тепла? Этой благодати? Я воевал на двух несправедливых войнах, обманывал женщин, убивал людей – неужели это все не в счет?

– В счет, значит, хотя это и не нам решать. Сподобился и сподобился. Но, если хочешь, мы можем поменяться местами. Это ничего не изменит. Ничего, кроме номера.

– Номера? И какой же у меня будет номер?

– Двести девяносто пятый, – твердо проговорил старик. – Лишний ты.

– Как это лишний? – обиделся Байрон. – Мне хорошо тут, хоть я и не знаю, чем заслужил...

– Еще заслужишь. – Оливия, пахнущая парным после душа телом, склонилась над ним со шприцем. – Вставай, милый. Пора. Сними-ка труссы... так, это не больно...

– Что ты колешь? – встрепенулся Байрон.

– От этого не умирают даже лошади.

Спускаясь в душевую, он вполуха прислушивался к перебранке Майи Михайловны с Нилой («Но ведь ты же не сделаешь отбивные под грибным соусом!» «Котлетками обошлись бы, Господи, все ж обходятся!» «И ведром винегрета!»), пытаясь угадать, что же ему ввела Оливия. Только бы не морфин.

Он с удовольствием принял ванну, побрился и надел причитающиеся случаю черные брюки и темную рубашку. Бросив через руку дюжину гал-

стуков, подошел к окну. Во дворе Александр Зиновьевич, присев на корточки, прилаживал к радиатору лимузина траурный венок. Рубашка его потемнела от пота. Байрон глянул на термометр, пристроенный в тени оконной рамы, и решил, что к такому случаю лучше всего подойдет галстук-бабочка. Черное к черному.

Торопливо постучав, вошла мать.

– Сейчас придут помощники. Столы расставить, стулья, зеркала завесить каким-нибудь тряпьем и тэ пэ. Автобус придет в полдень. В двенадцать ровно, – уточнила она. – Перчатки не шокируют?

На ней были черные перчатки по локоть, шляпа с широкими краями и вуалью. И, конечно же, туфли на высоких тонких каблуках.

– Отлично, – одобрил Байрон ее наряд. – Я тут собрался заняться чистописанием... Ну, хочу на всякий про всякий завещание написать.

– Байрон! – Она растерялась. – Ты это серьезно?

– Разумеется. И потом, у меня какие-то дурные предчувствия... Извини, зря я тебе про предчувствия...

– В такой день у всех дурные предчувствия. Но завещание... Байрон!

– Ма, не трать время! – Он с улыбкой поцеловал ей руку. – У вас же с Оливией куча дел. А тут какая-то бумажка... Ну! Чтобы тебя успокоить, обещаю сочинить завещание в стихах. Тебе что больше по нраву? Онегинская строфа или Дантевы терцины?

– Ты какой-то возбужденный, Байрон... Ну ладно, делай что хочешь. Да не забудь позавтракать поплотнее!

Дверь за нею захлопнулась.

Байрон поискал в комодке, в ящиках маленького письменного стола, но ни бумаги, ни даже карандаша не обнаружил. И потом, кто же это завещание карандашом пишет!

После завтрака – Нила угощала тайком нажаренными котлетами – и солидной рюмки домашней душистой он со стаканом мятного чая поднялся к Диане.

Она встретила его в ночной сорочке до пят и черной шляпке с узкими полями.

– Если я в таком виде явлюсь на кладбище, его полезная площадь увеличится, как ты думаешь? Ты мне чай принес! Ах ты мой лапочка!

Но что-то в ее тоне насторожило Байрона. Поставив чашку на компьютерный столик, он внимательно посмотрел на Диану.

– Матушка с тобой поговорила?

– Поговорила. – Поддернув сорочку, она отшвырнула домашние туфли подальше. – Сказала, что если я еще хоть раз залезу в твою постель, она собственными руками...

– В черных перчатках по локти! – Байрон послал ей воздушный поцелуй. – У тебя, кстати, есть черные перчатки?

– Есть. – Она села на табурет, выставив голые колени. – Ты потрахаться или по делу? У меня, к твоему сведению, сегодня менструация. Ниагара!

– Никак не могу найти ни бумаги, ни ручки. Документ нужно составить.

– Потрогай мой нос! Да у тебя руки дрожат! – Она вскочила. – Звучит, может, глупее глупого, но я вовсе не желаю ссориться ни с Майей Михайловной, ни с кем бы то ни было еще из семейства Тавлинских!

Байрон подхватил ее на руки, шагнул за перегородку и швырнул девушку на неубранную постель. Сорочка задралась, обнажив красные кружевные трусики. «Как у шлюхи», – с веселой злостью подумал он.

Оставив ее всю в слезах на постели, он сам нашел бумагу и ручку и чуть ли не бегом вернулся в свою комнату.

Дрожащими руками налил полный стакан виски, выпил и, решительно придвинув стул к детскому столику, вывел на чистом листе «Завещание».

Внизу Нила лениво переругивалась с помощниками, которые по субботам занимались уборкой дома. Их голоса мешали ему. Впору было заткнуть уши ватой, как покойному деду заткнули нос.

«Я, Тавлинский Байрон Григорьевич, находясь в здравом уме и ясной памяти, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, активы в зарегистрированных на мое имя акциях, а также распоряжение моими банковскими счетами и депозитами...»

Он вдруг замер при мысли о том, что ни на йоту не солгал матери: его и впрямь мучили дурные предчувствия.

Александр Зиновьевичу на лимузине пришлось выехать со двора, чтобы дать дорогу автобусу, выкрашенному темно-синей краской с красной полосой по борту.

Все собрались в нижнем зале.

Нила плакала навзрыд в углу на стуле.

Четверо мужчин в одинаковых черных костюмах с натугой подняли гроб с телом деда, в руках которого поблескивала иконка – та самая, на которой мальчик с кривыми пальчиками, и втокнули его в заднюю дверь автобуса.

– Крышку не забудьте! – сухо приказала Майя Михайловна. – Не бойся, Нила, тебя отвезут. А вы тут останетесь за хозяев. – Она о чем-то перешепнулась с «субботниками» (как их называли в доме) и сказала Байрону: – Я не жду, что ты приедешь в церковь, но на кладбище... Где наша нимфетка? Возьмешь ее с собой. И чтоб была одета, как я велела. Ты галстук выбрал? Кажется, там были черные... или темно-синие...

Байрон проводил мать и Оливию до машины.

Первым тронулся лимузин с венком на радиаторе, за ним – автобус с гробом и BMW.

Вернувшись в зал, Байрон увидел на верхней лестничной площадке «нимфетку»: на ней была шляпка с вуалеткой, черное платье до каблуков и короткие черные перчатки.

– Отдохни, – сказал он. – У нас в запасе еще часа полтора.

– Ну и сука же ты, Байрон Тавлинский! – ледяным голосом ответствовала «нимфетка», глядя на него сверху.

Байрон не решился подняться по лестнице. «Посижу-ка я лучше в кухне, – решил он. – Понюним с Нилой на пару, по рюмашке махнем. – А какой-то развеселый бес шепнул ему на ушко: – А зря ты ее не того-с! Она же сама хотела. Сплоховал, солдатик! А таких промашек юницы не прощают».

Они подъехали к окруженной пыльными липами старой церкви в самый раз. Из ворот выносили гроб, священник, мерно размахивая кадилом, что-то говорил напевным голосом толпе прихожан, за ним, тесно прижавшись друг к другу, вышли Майя Михайловна с Оливией. Байрон искал глазами дядю Ваню, но не нашел.

– Байрон! – Его поманил пальцем Кирцер, одетый по такому случаю в парадный мундир, рукав которого был украшен черной лентой. – Обезьяна нашли. В лесу за ликеро-водочным. Одним выстрелом в висок. Ты только пока никому, мы даже родителям не говорили... Сейчас пытаемся автокраном вытащить его джип из ямины.

– Никаких следов?

– Мы ж не ищейки. – Кирцер снял фуражку, промокнул платком лоб. – Таты узнают – озвереют.

– А если уже знают?

– Нет. В церкви вели себя как люди, крестились. Сейчас на кладбище поедут.

– А если на кладбище что-нибудь случится?

Кирцер рассердился.

– Если, если! У меня здесь чуть больше десятка сотрудников, вот тебе и ответ на все твои «если». – Он вдруг схватил Байрона за лацкан. – Или тебе что-то известно? Не играй со мной в эти игры, сынок. Не хватало еще, чтобы на кладбище... – Он перекрестил потный лоб. – Если знаешь, скажи сейчас. Ну!

– Ничего не знаю. Трясет что-то с утра, – вот и все.

Подполковник надел фуражку, махнул кому-то рукой. Люди двинулись к автобусам, вытянувшись вереницей по улице Жиржинского.

– Садись с матерью... ну с гробом, – сказала Диана. – А я в хвосте пристроюсь – за автобусами.

Александр Зиновьевич выжал клаксон – лимузин взревел, за ним загудели и остальные автомобили.

Процессия медленно тронулась. До кладбища путь был неблизкий.

По сторонам кладбищенских ворот стояли длинные черные автомобили и микроавтобус, из которого выгружали огромные венки.

– От Татищевых, – сквозь зубы процедила Майя Михайловна. – Зря радуются: после старика Оливия им змеем-горынычем покажется. Это она только с виду – кисонька...

Байрон тупо кивнул, не отрывая взгляда от белой повязки на шее деда.

Всю дорогу он сидел с закрытыми глазами. Ему казалось, что все тело его с огромной скоростью буровят во всех направлениях мелкие белые червячки с острыми головками, вызывая нутрянную щекодку, и больше всего он боялся, что в самый неподходящий момент эти червячки полезут из носа, ушей, изо рта...

Сторож в выгоревшем пиджаке с медалью на лацкане ругался со старухой, которая норовила проскочить перед процессией, таща за собою толстую серую овцу. Наконец он страшно закричал на нее, и старуха, нырнув перед капотом автобуса, вприскочку умчалась вдаль по улице – туда, где кончалось кладбище и начинались выпасы.

Байрон небрежно вытер платком лицо и на всякий случай взглянул: червячков не было.

– Только-только дожди кончились, а пыль – на тебе, – прошептал ему на ухо дядя Ваня, сидевший за спиной Байрона.

Автобус с гробом, покачиваясь на неровностях, ползком двинулся в дальний конец аллеи.

Остальные автомобили сгрудились у арки. Люди с цветами и венками выстроились за Александром Зиновьевичем и служащими фирмы Тавлинских, которые несли на бархатных подушечках дедовы ордена и медали.

Байрон отвернулся.

Автобус остановился. Открылась задняя дверь, и мужчины в черных пиджаках с натугой вытащили гроб из автобуса.

– Крышку не забудьте! – крикнула Майя Михайловна.

– Ты это уже говорила, – напомнил Байрон, помогая матери спрыгнуть на землю. – Как ты на своих шпильках по рыхлой земле пойдешь... Держи меня под руку...

За деревьями, влажно вздохнув, важно заиграл оркестр.

– Мне на такой гроб за три жизни не заработать, – с сожалением проговорил шофер, снимая фуражку и крестясь. – Эх, жизнь!

Сзади подошли и подошли люди – и те, что приехали на автобусах, и жители ближних домов. Байрон обратил внимание на моложавую тетку, которая проталкивалась через толпу со стулом в руках.

Заранее для прохода процессии прорубили что-то вроде просеки в безобразно разросшихся кустах бересклета и ольшаника.

Когда гроб опустили на землю рядом с дышавшей сыростью ямой, оркестр умолк. Люди расступались, давая дорогу мэру со свитой и священнику с причтом.

Над толпой высилась та самая моложавая женщина, которая принесла с собою стул: вот зачем он ей понадобился – чтоб все хорошенько разглядеть.

– На тебе лица нет, – прошептала Оливия.

– Я пока в сторонке постою, – шепотом же ответил ей Байрон. – Когда будет пора, ты мне дай знать... я тут рядом буду...

– Только не кури – не положено, – напутствовала мать.

Байрон вышел к старому тополи с потрескавшейся корой, присел на корточки и закурил, спрятав сигарету в кулак. Рядом с ним присел сторож с медалью на лацкане. Он тоже курил, отмахиваясь веточкой от комаров.

– Место вроде сухое, – сказал Байрон, не спуская глаз с Оливии. – Откуда бы здесь комарам взяться?

– После дождя они жуть какие злые, – поддержал беседу сторож. – А моя сегодня спозаранку в лес сбегала, целое лукошко подосиновиков принесла. Чистые, гладкие – ни червоточинки.

– ...инвестор от Бога, как говорится, Андрей Григорьевич, скажу от себя лично и от лица губернатора, за эти годы буквально преобразил лицо города... – донесся до них голос мэра. – Многие сомневались, что это возможно, но Андрей Григорьевич, как ледакол, раздвигающий льдины...

– Что за чушь он несет! – пробормотал Байрон.

– Как положено, – сказал сторож. – А говори – не говори, конец, видишь, один...

– Это правда, что с годами могилы перемешиваются? – спросил Байрон. – Ну земля движется, а с нею и кости...

– Я б услышал, – сказал сторож. – У меня ухо острое.

Оливия обернулась, махнула рукой.

Отшвырнув окурок, Байрон быстро подошел к матери и взял ее под руку.

– У меня словно уши ватой заложило, – сказал он.

– Это от волнения.

Священник взмахнул рукавами, хор запел, ему подтягивали старики, с удовольствием выпевавшие непонятные им церковнославянские слова.

Байрон с любопытством разглядывал братьев Татищевых, стоявших по другую сторону ямы. Оба рослые, широкоплечие, носы угочкой, а скулы широкие и высокие – как у татар. В могучих руках они держали темные розы.

– А где их телохранители? – спросил Байрон.

– Это тебе не Москва, – прошептала мать, – здесь шайками не ходят.

Снова надрывно всхлипнул оркестр.

Гроб, уже накрытый крышкой, опустили в яму.

Мать легко толкнула сына в бок. Они обогнули яму, бросили на гроб цветы и вернулись на прежнее место. Мать тяжело дышала. Братья Татищевы, как по команде, шагнули вперед, первый нагнулся, раздался громкий хлопок, и огромный мужчина рухнул на крышку гроба. Второй хлопок – и его брат с черным пятном на лбу повалился на груды песка.

Оркестр сбился.

Байрон крепко схватил за руки мать и Оливию.

– Ни с места, – прошипел он. – Больше ничего не будет!

– Позорище-то какое! – заплакала Майя Михайловна.

Байрон оглянулся. Никого. Посмотрел вверх крестов и увидел стоявшего на каменной тумбе Звонарева с поднятыми руками. К нему пробирались милиционеры. Он терпеливо ждал.

– Достаньте же его из ямы! – зарычал Байрон.

Убитого ухватили за ноги и кое-как, тихо матерясь, принялись тянуть наверх. Уронили. Кто-то спрыгнул на крышку гроба и, обхватив мертвого Тату вокруг живота, рывком поднял его над срезом ямы. Труп подхватили. Второго Тату уже унесли в толпу.

Люди кричали, женщины плакали, а молодка, взгромоздившаяся на стул, истерически хохотала, закрыв лицо руками.

Звонарев отдал пистолет первому же милиционеру. Его сбили с тумбы, стали вязать.

– Ты знал? Знал! – расслышал Байрон голос Кирцера. – Ну, сынок, и подложил же ты мне свинью! Позорище какое! На кладбище!

– Засыпайте! – скомандовал Байрон, берясь за лопату. – Да очнитесь вы, черт бы вас побрал!

Священник с причтом быстро ушел, за ним, пригибаясь за кустами, побежали и другие.

– Чего-то такого я и ожидала, – тихо проговорила мать. – Бог все видит.

– Оливия! Уезжайте домой!

– Нам еще в ресторан на поминки, – спокойно напомнила Оливия. – Не беспокойся, милый, я ей укольчик сейчас сделаю – и все пройдет. Нельзя же все бросать на полдороге. Мы не имеем такого права.

– А придут на поминки-то? – весело оскалился Байрон, продолжая кидать землю лопатой.

– Прибегут.

– И котлеты жрать будут?

– И котлеты. – Оливия погрозила ему пальцем. – Только умоляю тебя: не ввязывайся ни во что. Обещаешь?

– Нет.

На площади перед кладбищем осталась одна машина. За рулем сидела Диана. Она курила коричневую сигарету, слушая музыку, доносившуюся из радиоприемника.

– Ты весь в песке и глине, – сказала она. – Словно сам из могилы вылез. Сядешь за руль, или я поведу?

– Ты. – Он отряхнул брюки, пиджак. – Ну и концерт! Я же говорил: фигляр. Шут гороховый – тем и опасен.

– Кому говорил?

Он сел рядом, выключил музыку.

– У нас еще много чего впереди! – весело сказал он. – Гони в милицию, ненаглядная моя!

Она хмыкнула.

– Иногда я начинаю понимать, за что тебя бабы любят.

Толкнув кулачищем обитую новеньким дерматином дверь, Байрон вошел в кабинет начальника милиции, сел на стул у дальней стены и, уже не в силах сдерживаться, расхохотался. Вспомнилась истерически хохочущая молодка на стуле, возвышавшаяся над толпой.

Кирцер и прокурор, сидевшие за приставным столом, переглянулись. Подполковник был уже без мундира, в блекло-голубой рубашке с погонями, темной от пота на животе.

– Почему-то мы вас ждали, господин Тавлинский, – меланхолично проговорил прокурор.

– Погоди, Пряженцев. – Кирцер подошел к Байрону, вытиравшему платком слезы, и участливо поинтересовался: – Как там Майя Михайловна?

– Нормально. Мне нужно свидание с задержанным Звонаревым.

– Вы родственник? – ехидно спросил прокурор.

– Брат.

– Во Христе, конечно, – продолжал ехидничать Пряженцев. – Может, сперва нам расскажете про все, что знаете?

Поджав губы и неодобрительно покачивая головой, Кирцер откупорил бутылку минералки, налил Байрону и – прокурор с отвращением мотнул головой – себе.

– Ну по обычаю – не чокаясь.

Они выпили водки.

– Весь город знает, что у тебя в бутылках из-под минералки водка, – сказал прокурор.

Байрон закурил.

– Вот что, братцы, дайте мне немножко времени побеседовать с этим типом, а потом можете протоколировать мои показания. Если захотите, конечно.

– Показания? – искренне удивился Кирцер, посасывая лимонную дольку. – Ты свидетель. Или ты заранее знал о готовящемся преступлении, но не донес органам правопорядка?

– Не знал.

– Тогда на кой тебе хрен свидание с задержанным? – ласково спросил Кирцер. – Выпей-ка еще водочки да топай домой, Байрон. Там Майя Михайловна, там вообще, я думаю, переполох... Хотя, насколько я знаю этих баб, переполоха они не допустят.

– Никакого переполоха, – подтвердил Байрон. – Я не шутить сюда приехал, братцы. Мне нужно с ним поговорить. Очень нужно. Я даже думаю, что после разговора со мной он может сделать официальное заявление под подпись.

Пряженцев мелкими глотками выпил из своего стакана, взял с блюда дольку лимона, бросил в рот.

– Прошу слова, – сказал он. – Братцы! – язвительно добавил он. – То, что я сейчас скажу, так сказать, не для протокола. Так – предположения. Предположение первое: господин Тавлинский уверен, что убийцей его деда является задержанный Звонарев. И ему вовсе не нужно было перелезть забор, прятаться под кустом. Зачем? Он был внутри дома. Это предположение второе. Третье же предположение касается того места, где в действительности отсидивался – точнее, отлеживался – господин Звонарев. Вы, Байрон, могли поначалу этого и не знать. Как и я. Но вы же опытный следователь. И вскоре, если не сразу, догадались, кто мог изнутри отключить сигнализацию, а после совершения преступления – включить ее. Именно тот, кто отлеживался в доме.

– Мы же вроде бы договорились о Татах, – вставил Кирцер.

Но прокурор не обратил на его слова никакого внимания.

– И вот сейчас вы примчались сюда, чтобы уговорить Звонарева не марать вашу мать. Ведь он у нее провел ночь. Она знала, что он выходил. Ну, сказал, что в туалет. Но уже наутро, когда Майя Михайловна узнала об убийстве, она сразу поняла, в какой такой туалет выходил Звонарев. И ни словом, ни намеком не обмолвилась об этом следствию. Тем самым она покрыла преступника, совершив преступление, как вам отлично известно, лежащее уголовному наказанию.

Байрон закурил другую сигарету.

– Все возвращается на круги своя, – со вздохом проговорил он. – Вы работаете по одной версии, которая выглядит более или менее убедительной, хотя и неглубокой. Не обижайтесь. Вы уже допросили Звонарева?

– Конечно, – сказал Кирцер. – Он во всем сознался. То есть в убийстве братьев Татищевых. От смерти покойного Андрея Григорьевича открещивается, как черт от ладана.

– Тогда у меня вопрос. – Байрон встал, обдернул пиджак. – Какого черта подозреваемый в тот же день, когда совершилось убийство, демонстративно не является на работу и не отвечает на телефонные звонки? Утром он отвез Майю Михайловну на службу, оставил машину у конторы – и как сквозь землю. С оружием. Он парень не из робких...

– Да знаем: запросили его дело из военкомата, – сказал Кирцер. – Орден за Чечню, отличные характеристики...

– Он служил в армейском спецназе. Сначала на действительной, потом по контракту. Не случайный, значит, он был человек в спецназе. А там проходят и специальную психологическую подготовку. И вот такой человек убивает старика и сразу дает деру, прячется, сам себя выдавая головой... Он же понимал, что в Шатове ему долго прятаться не удастся, кто-нибудь увидит, болтнет – и возьмут его тепленького. Сделав дело, он лег

на дно. Осмотрелся, обдумал все, с кем-то – не знаю с кем – повстречался, разжился информацией...

– Только затем, чтобы прийти на кладбище и на глазах у сотен людей убить братьев Татищевых? – Прокурор пожал плечами. – Слава Богу, что братья эти не знали еще о смерти племянника...

– Обезьяна, – уточнил Байрон. – А кто убил Обезьяна, не оставив никаких следов? А главное – заманив этого осторожнейшего парня в гиблое место? И за что он убил его? А Татищевых-старших? И, если уж на то пошло, моего деда? Мотив? Патологический убийца? Маньяк? Человек, чья психика искалечена войной в Чечне, решил продолжить игру из спортивного интереса? И он вовсе не Робин Гуд, расправляющийся с самыми богатыми людьми Шатова. Цели-то выбраны одна к одной, и я ни за что не поверю, что между ними нет никакой связи. Вот об этом я и хотел с ним поговорить. – Он налил себе полстакана водки, махом выпил. – А мать мою опозорить – для этого, уж извините, большого ума не надо. Она и сама...

Кирцер положил руку ему на плечо.

– Ладно, сынок. Но ты-то хоть знаешь, в чем тут все дело? Или только догадываешься?

– Можно я отвечу вам после встречи с ним?

– Его мы обыскали, ничего не нашли. Сидит в отдельной камере.

– Официально прошу обыскать и меня. А то в случае чего все на меня свалите.

– В случае чего? – подскочил прокурор.

Байрон посмотрел на него в упор.

– Видал я таких парней, как Звонарев. Похоже, он дошел до точки. То есть задание выполнил и может возвращаться. А возвращаться некуда. Я не шучу: он все мосты за собой и впереди сжег.

– Впереди его ждет тюрьма, – угрюмо сказал прокурор. – Может, пожизненная.

– А вы не задумывались, почему этот лихой спецназовец не смылся с кладбища, хотя в той толпе и суматохе мог это сделать запросто? Их же этому учили. Но не смылся – сдался. Да еще, кажется, посмеивался. Это-то и странно.

В сопровождении милиционера с кобурой на толстой ляжке, насвистывавшего «чижика-пыжика», Байрон поднялся на второй этаж, в торце которого зеленела свежей краской металлическая дверь. За нею оказалась решетчатая.

– К тебе на свиданку, Звонарев! – крикнул милиционер, запирая за Байроном решетчатую дверь.

– А, палач пришел! – приветствовал Звонарев посетителя. – Я уж боялся, что мамаша припрется. Садись, герой.

Камеру ремонтировали, видать, недавно: едко пахло свежей краской, которой не покрыли только раковину, унитаз да оконную решетку.

Байрон закурил, придвинул пачку сигарет и зажигалку Виктору.

– Устроил ты сегодня цирк на кладбище!

– Ты об этом пришел поговорить? Так я и протокол уже подписал.

– Не все подписал! – сердито возразил Байрон. – И я к тебе без протокола пришел. Кончай паясничать, кури и слушай, а потом будешь вопросы задавать. Или не задавать. – Он глубоко затянулся, выпустил дым клубами под потолок. – В ту ночь ты ночевал у матери. Именно ты отключил сигнализацию, а когда убил деда, включил. После чего наскоро принял душ и вернулся наверх. Во всяком случае, если дойдет до настоящего дела, найдутся два свидетеля, которые подтвердят мои слова.

– И насчет убийства деда? Одно дело – видеть меня той ночью в доме, совсем другое – свидетельствовать об убийстве. Ты следователь – лучше меня эту разницу понимаешь.

Байрон по-прежнему смотрел в потолок, гадая, что это за черная точка прилипла к краске. Скорее всего муха.

– Но, если все знаешь, зачем пришел? Пиши докладную, пусть проверяют, доказывают...

– Ничего я писать не буду. Не затем пришел. – Он наконец опустил голову и посмотрел на Виктора в упор. – Если что захочешь добавить к своим показаниям, твое дело. Но у меня сложилось впечатление, что тебе наплевать и на следствие, и на суд, и на свою жизнь. Я встречал таких ребят в жизни и на допросах: если они чего решили, то задачу выполняют до конца. Ты свою задачу выполнил. А докладывать некому – ни командиров, ни Бога. И база сгорела, на которую надо бы возвращаться. Ты поставил на себе крест. Иначе ты не сдался бы просто так на кладбище, а исчез – ищи ветра в поле.

Виктор молча курил.

– Вообрази такую фантастику: тебя сейчас взяли бы да выпустили. И что? Пошел бы с матерью картошку копать? Или за баранку вернулся бы? Зеки о воле мечтают с первого дня, а ты не зек. Поэтому и о воле не мечтаешь. Для тебя все кончилось. – Байрон прикурил новую сигарету от окурка. – Сколько в Шатове бывших чеченцев? Ну которые в Чечне воевали?

– Не знаю... с десяток наберется – тех, кого я знаю...

– И все служат – кто у Таты, кто у Тавлинских. Ну Тавлинские не в счет. Тебя интересовали те, которые крутились вокруг Таты да Обезьяна. Ты не мог поверить в случайность гибели брата, а если это не случайность, значит, есть исполнители и заказчики. Шатов – город маленький, здесь все тесно живут. Как в бане. И все знают друг дружку наперечет – не по имени, так в лицо. А уж бывших вояк просто магнитом каким-то друг к другу тянет. Вот и ты потянулся к этим парням. Вспомнить былое, пивка попить... Ты меня останавливай, если заврюсь.

– Так это и ишаку понятно! – Виктор оживился. – Есть тут такие ребята. Мы у Махмуда собирались... это кличка у него такая – Махмуд: больно на чеченца похож. В плену у них побывал, бежал, снова повоевал, а потом мать его получила письмо из госпиталя: забирайте, мол, сына. Потому что он стал никому не нужный инвалид. Урод: голова да туловище, а руки оборваны, ноги по колена... Когда у него собирались, я Махмуду к правой руке... к обрубку... скотчем стакан приматывал – не с ложечки ж его водкой поить. А так он сам... хоть и со скотчем... Вы бы, говорит, ребята, мне бы бабу какую скотчем к одному месту прилепили, а то мочи нет. – Зло усмехнулся. – Ему еще двадцати пяти нету, парень видный, а какая девушка за него пойдет? Наипаршивейшая овца – и та не пойдет. Так знаешь, Байрон, как он наловчился дрочить? Чужими руками!

– Сестра или мать?

– Мать.

– Знаю я таких ребят... Но ведь от них-то ты – может, даже случайно – и узнал, что брата твоего послал на смерть Обезьян.

Виктор промолчал.

– Остальное для спецназовца – дело техники. Выяснил, куда Обезьян возит девок на случку, проследил, приставил пушку к виску. Но прежде спросил, кто этого дурака надоумил Мишу в реку столкнуть. Тот раскололся. Получился замкнутый круг: Тавлинский – братья Татищевы – Обезьян – старый Тата...

– Тата сам помер.

– Остальных ты прикончил. Все, больше мстить некому. Ну, можно, конечно, еще и Оливию на тот свет отправить вместе с Майей Михайловной... еще кого-нибудь из Татищевых... Домзак взорвать...

– Хватит с них. А Домзак взорвать – это саперную роту надо звать. У меня была мысль – поджечь его. Даже бочки с горючкой повсюду расставил. Но – плюнул. Дерево сгорит, а камень? Разве что церковь сгорит: у нее же только фундамент да первый ярус из камня, остальное – дерево. Да и пусть

себе стоит, не в нем дело. Без людей он уже не Домзак, а так... хреновина с морковиной... Сколько таких хреновин по России? Все жечь? Так тогда от страны ничего не останется. – Помолчал. – В церкви запас угольных брикетов на всю зиму.

– И что?

– Сам догадайся. Дернешь за веревочку – бух. Конец веревочки я жвачкой залепил, чтоб не отсырела. Но выйдет разве что фокус-покус. А тебе светопреставление подавай, ведь так? Чтоб мир перевернулся и агнцы легли рядом с волками.

Байрон пожал плечами. Да и не до этого ему было.

– А знаешь, Виктор, у меня на душе полегчало. Правда.

– У каждого она своя. – Виктор откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. – Ты же знаешь, я в Домзаке родился и вырос и ничего, по сути, кроме Домзака и не видал. Стены, церковь, Ста... Однажды зимой в Домзак какой-то нищий-пренищий старик приполз. Залез в кочегарку, пожил там дня два-три и помер. И брат мой говорит: закончилось его Никогда. Я не понял. Какое, говорю, никогда? Он мне и объяснил... Выпивал он уже помаленьку, а тут просто жором нажрался, но прежде высказался начистоту. Ты, говорит, не верь старухам да попам: Бога нету, души бессмертной тоже нету, да и загробная жизнь – она только у червей на кладбище. А у людей есть Никогда. То есть вот ты смотришь на небо, купаешься в реке, дерешься с пацанами, бегаешь в школу, с девчонками там целуешься – все, все это жизнь, и это только твоя жизнь, которая не повторится никогда. Поэтому и вся жизнь – только тут и называется она – *Никогда*. Запомнилось... Когда я из армии вернулся, стал меня к себе наш поп зазывать – отец Михаил, да ты знаешь, и все про благодать да спасение во Христе. Я его слушаю, а сам себе думаю: никогда. Ну уверую я в Христа или там в другого бога, но вера верой, а жизнь – одна, и спасения – нету. Есть только правильно организованная круговая оборона. Чтоб спасти свое Никогда. А придет время помирать, жалеть-то будешь – что? Речку, Домзак, даже школу, потому что не могу же я вспомнить того парня, которого сколько-то тысяч лет назад казнили в каком-то глухом поселке на краю света. В Иерусалиме, кажется. Я с ним не служил. Ребят вспомню... Махмуда этого со стаканом, примотанным скотчем к руке, чтобы водку сподручнее пить... Это и есть жизнь. А не философия какая-нибудь. Поэтому я и не прерывал тебя, Байрон: ты почти все верно рассказал. Но эти люди – каждый по-своему – участвовали в убийстве единственного дорогого мне человека. Единственного. И только для того, чтобы освободить Оливию для Таты! Да что ж это за люди! Это людоеды, Байрон, и, когда я это понял, я понял также, что против людоедов есть одно средство – волкодав. Я поставил перед собой задачу и выполнил ее. Ты прав. Мир перевернулся? Да миру этому хоть бы хны! А вот мне – не хны. Я сделал то, что обязан был сделать, чтобы мое Никогда только моим и осталось. Так что пусть меня судят, сажают или расстреливают...

Он махнул рукой.

– А для меня дед вместо отца был, – сказал Байрон. – В нем еще силен был этот дух: всех держать под крылом, а если надо – в кулаке. Он погиб, Диана уезжает, Нила едва на ногах держится, остаются мать да Оливия. А года не пройдет, и меня похоронят. Меня – тоже. Врачи сказали, что и года-то не протяну. Я на все плюнул и рванул сюда, к своим. А своих – не осталось. Это трудно объяснить...

– Вы ж все последние годы врозь жили. Нуты, к примеру. А остальные деньги делали. А это то же самое, что врозь жить.

– Боевал в Афгане, служил, развелся с двумя женами, сына потерял, отца потерял, деда потерял... Дядя Ваня – сколько ему осталось? Не сегодня завтра скovyрнется по пьянке... И зачем жили-то? Я – зачем жил? И почему остаток жизни проведу на госпитальной койке? Меня ж как уложат, так больше и не выпустят. Все. Валар. И хотел бы что-то сделать, а не могу.

Тебя убить? А ты задачу выполнил и только и ждешь, когда в тебя пальнут. Пальцем не шевельнешь, чтобы от пули увернуться. Я прав?

– Прав, – глухо ответил Виктор. – И не будет ни меня, ни моего Никогда. А потом и твое Никогда исчезнет. Жизнь.

– Это – жизнь? Не хочу. Пулю в висок себе засандалить – как-то глупо... хотя черт его знает... Всю жизнь думал о любви, хотел любить, хотел быть любимым. Но не умею: может, физиологически не так сделан? Но твое Никогда, честно говоря, не по мне: в нем любить можно только себя. Ладно, Виктор, пойду. Тебе решать, перед каким богом представлять и какие кому докладные подавать. Можешь успокоиться: я не шпион. Наш разговор останется между нами. Поговорили – и поговорили. Спасибо, что не врал.

Виктор встал, помялся.

– Эй, подполковник! И тебе спасибо, что вот поговорили... Наверное, по-человечески мне уж больше ни с кем говорить не придется. Прощай, братан. Кто знает, может, мы с тобой и правда братья...

Байрон пожал протянутую руку и отвернулся к решетке.

Милиционер неторопливо двинулся к двери, побрякивая ключами.

– А знаешь, что священник этот, отец Михаил, ушел?

Байрон обернулся.

– Как это? Что значит – ушел?

– Русь велика. Пошел правду искать, я думаю. Не перевелись еще на Руси юродивые. А отыщет, если терпения и сил хватит, свое Никогда.

– То есть насовсем ушел? Все бросил – дом, церковь, Любашу?..

Виктор кивнул.

– Все. Прощай.

Диана изнывала от жары в машине. Пепельница была полна окурков.

– Наконец-то! Я уж думала, тебя посадили.

– Как видишь. Даже подписку о невыезде дезавуировали. Кстати, хочешь угадаю, кто тебе такие роскошные красные трусики подарил? С первого раза.

– Заткнись, ты на пенсии, следовательно. Мать сто раз звонила. Гости уже за столом.

– Мне просто не терпится произнести имя донатора, вручившего тебе нижнее белье, которое – я очень надеюсь – в Москве ты ни разу не наденешь. Опустит стекла и включит кондиционер.

Диана сняла темные очки и жалобно посмотрела на Байрона.

– Милый мой, ты такой огромный мужчина, твоими руками оглобли гнуть, а стоило твоей матушке наговорить про меня гадостей, как ты сразу изменил отношение ко мне. Знаю я ее этот тезис: «Несчастные – опасны». Это она про меня, про меня. Это я была несчастной калекой, ковыляла, держась за стенку, и требовала особого к себе отношения. А ведь я не требовала – я терпела. Училась терпению. У самой себя училась, потому что остальным до меня и дела не было. Никому, кроме тебя и деда. Но дед был всегда занят, а ты – в Москве или еще где-нибудь. Я терпела, а чтобы терпение не стало путешествием в пустоте, я еще и думала. Я продумывала каждое услышанное слово, каждый жест, каждый взгляд и, когда встречалась со сверстниками, удивлялась: какие ж они глупые! А они не глупые, просто им не приходилось быть в роли несчастеньких. Меня просто жалели, меня не хотели держать за равную, вообще – за нормальную. Ох и много же бесов является в человеке, когда он оказывается в таком положении! По ночам я воображала целые сражения с этими бесами... как у Альтдорфера... С одной стороны, легионы белокрылых ангелов, с другой – воинство дьявола во всем его великолепии. А уж как эти бесы были великолепны! Я читала Байрона и мечтала...

– Не люблю Байрона, – сказал Байрон. – Прости. Мы забыли о Герцоге!

– О ком?

– Господи, да о собачке нашей бумажной!

Диана невесело рассмеялась.

– А насчет красных трусиков я тебе скажу всю правду, – продолжала она с улыбкой. – Это подарок Андрея Григорьевича. Когда решался вопрос о моем поступлении в Высшую школу экономики, а потом об устройстве в Москве...

– Погоди...

– Нет уж! За все надо платить. Он позвал меня к себе во флигель, ну и... нет, он просто вылизывал меня языком... гладил, сажал на колени... и всякое такое... А потом подарил эти чертовы трусики. Я была покорной гурией на коленях бессильного старца. Выспренне звучит? А я так и думала до тех пор, пока он своими руками...

– Да хватит! – уже не на шутку рассердился Байрон. – За эти несколько дней я и без того узнал о своей семье столько всего... разного... Вроде бы все это знал... или догадывался... Достали. Это я не о тебе. Поехали? Подними стекла, а теперь запуская двигатель, чтобы включился кондиционер.

Диана запустила двигатель.

– Сегодня я оденусь иначе, вот увидишь, – сказала она, прикусив губу. – И выгуляю Герцога. Совсем собака захирела.

Триколор на флагштоке во дворе был приспущен. Машину поставить было некуда – бок о бок стояли «Мерседесы», «Шкоды», «Форды».

– Весь шатовский бомонд съехался, – сказала Диана.

– Да оставь у ворот – никто сегодня ее и пальцем не тронет, – сказал Байрон. – А за нами Кирцер.

Начальник милиции – опять в парадном мундире и с черной ленточкой на рукаве – махнул им рукой, выпрыгнув из машины. Его «уазик» развернулся на узкой улочке и скрылся за поворотом.

– Лишь бы речей было поменьше. – Он подхватил Байрона под руку. – А твой крестник сейчас новые показания дает. Сам вызвался. Чем это ты его поманил?

– Да так, поговорили... Можно подумать, будто вы не подслушивали!

Они подошли к запахнутым настежь парадным дверям.

– Только вот что... – Байрон придержал шаг. – Камера его мне больно не понравилась...

– Не сбежит!

– Небрежно отделана, да и линолеум на полу ни к чему. Плинтус этот корявый...

– А чем же еще линолеум прижимать? Да плюнь! Ты думаешь, он на себя руки наложит?

– Береженого Бог бережет. Хотя он уже и так руки на себя наложил...

Но Кирцер уже не слушал его.

Гости сидели за длинным столом в большой гостиной. Байрону достался стул в торце стола – напротив кресла с высокой спинкой, которое обычно занимал дед. Там стоял стакан с водкой, накрытый горбушкой хлеба. Все уже выпили и разговаривали вполголоса, только священник отец Иван методично пережевывал пищу, глядя в угол, где под торшером блестел никелированными деталями патефон фирмы «Патэ», исправно вышептывавший «Брызги шампанского». Это была любимая дедова игрушка, и Байрон не сомневался, что на домашних поминках мать непременно потребует включить этот раритет.

Кивнув Байрону и Кирцеру, она продолжала разговор с мэром, который, судя по обрывкам разговора, намеревался устроить в Домзаке музей, а одну из новых улиц назвать в память об Андрее Григорьевиче...

– Вы бы лучше памятник Ленину снесли! – громко предложила Диана. – Весь Шатов им провонял!

– Памятники не воняют! – отрезала Майя Михайловна. – Когда я была в Лондоне, меня поразила центральная площадь, на которой сохранены

все памятники – все без исключения. И хорошие, и плохие. Англичане не ставят своему прошлому оценок, как в школе.

Выпивший и наскоро закусивший Кирцер поднял руку.

– Года два назад был я на совещании в Измайлове. Так там точно такой же памятник снесли. А постамент забыли. И вот чем там алкаши развлекаются... Сам видел! Со всего маху метров с двадцати швырнут пустую бутылку в сторону места, где памятник стоял, и бутылка точно над пьедесталом – вдрызг!

– Литература! – хихикнула Диана.

– Нет, но что-то же в этом да есть! – возразил Кирцер.

– Суеверие в этом есть, – проговорил отец Иван, не поднимая головы от тарелки.

– Кто вон тот? – спросил Байрон.

– Герман Лудинг. Говорят, будущий муж Оливии, – небрежным тоном сказала Диана. – Очень деловой человек. Разведен. Детей нет.

– Часы у него на правой руке, – сказал Байрон. – Как у президента России.

Выпив и закусив, он словно впал в легкое оцепенение, сонно разглядывая гостей. Много было незнакомых лиц – это были служащие фирмы, главным образом женщины, одетые в одинаковые темные блузы и пиджаки. Поймав его взгляд, старый Павук поднял рюмку. Байрон кивнул. Когда-то это толстопузое чудовище частенько составляло им с дедом компанию, когда они отправлялись на велосипедах рыбачить на Домзак. Дед обычно сидел на берегу молча – рыбалка его не интересовала. Зато Павук шумно радовался даже какой-нибудь тощей уклейке, попавшейся ему на крючок, и непременно предлагал «отметить это дело» глотком домашнего вина из оплетенной фляги, притороченной к велосипеду. Байрон вспомнил о завещании, которое следовало отдать Павуку-младшему.

Сзади неслышно подошла Нила.

– Ты чего такой смурной? – Она поставила перед Байроном кувшин с самогоном. – Помяни, помяни батюшку Андрей Григорьевича.

– Мне сейчас вдруг захотелось произнести речь о красных трусиках, – лениво проговорил Байрон на ухо Диане. – И учинить скандал.

– Не добивай мать, она и так едва держится.

Майя Михайловна вдруг громко рассмеялась на своем конце стола, оттолкнула мэра.

– Вы еще сопляком были, когда я в школе со сцены Байрона читала! Это был мой коронный номер, его ждали, я волновалась, Господи, как я волновалась! И вот меня выпускают из-за занавеса, а я никого не вижу перед собой, зал замер, и из меня, даже не из меня... словно мною говорил другой человек, вот так точнее... Байрон! Джордж Гордон! «Дон Жуан»!

Меж двух миров, на грани смуглой тайны
 Мерцает жизни странная звезда...

Герман Лудинг, вежливо склонив голову, изобразил аплодисменты. Служащие дамы захлопали громко, от души.

– Стихи для студенческой стенгазеты, – пробормотал Байрон. – А тысячи русских школьников плакали над ними...

– Ваша энергия, которую вы только что столь убедительно продемонстрировали, – проговорил мэр, – не оставляет никаких сомнений в том, что компания дома Тавлинских в надежных руках. – Он поднял рюмку. – За процветание Тавлинских! За хозяйку этого гостеприимного дома!

Дядя Ваня сполз со стула и с рюмкой в руке направился к Майе Михайловне.

– Я же вижу, – сказал он, – что ты, бедная, мучаешься одним и тем же вопросом: что будет? Что же будет завтра? А будет утро! И август с его дождиками, грибным запахом в лесу и золотыми ясенями на центральной площади! Мы будем жить, Майя! Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам

судьба; будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем и там за гробом скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на переписи наши несчастья оглянемся с улыбкой – и отдохнем. Я верую, Майя, верую горячо, страстно... – Он опустил перед нею на колени. – Мы отдохнем!

Майя чокнулась с ним и спрятала лицо в платок.

– Это ж Чехов? – спросила Диана шепотом.

– Ему особенно удаются женские роли, – сказал Байрон. – У Чехова этот патетический монолог произносит мадмуазель Соня.

– Ванечка... – Голос Майи Михайловны дрогнул. – Лучших слов мне еще никогда не доводилось слышать, а особенно сегодня они так кстати... я не знаю, что еще сказать... За дядю Ваню!

– Что с тобой, Байрон? – спросила Диана. – У тебя физия байроническая.

– Что-то не так. – Встрепенувшись, он махом выпил рюмку. – Я сегодня разговаривал со Звонаревым...

– Ты бы слышала, Дианочка, как он с ним разговаривал! – вмешался Кирцер.

– Я же говорил: подслушивали. Впрочем, нет возражений.

– Байрон показал, что не зря хлеб ел в прокуратуре, – продолжал Кирцер. – Такую цепь сковал и так ею оплел этого негодяя, что я аж ахнул. Факт к факту, довод к доводу, а в результате – замкнутый круг, из которого этому Звонареву ни за что не выбраться. – Он чокнулся с Байроном. – Поздравляю. Я тебе не говорил... но через пять минут после твоего посещения он потребовал следователя для дачи новых показаний... Наше здоровье!

– А правда, что вас с Оливией молнией ударило, когда вы в дупле дерева спрятались? – спросила Диана.

– Правда. Врачи говорили, что она чудом жива осталась.

– Закройте двери! – крикнула Майя Михайловна, и один из «субботних» бросился в прихожую. – Какой ветер!

– Интересно, дед всех этих баб перетрахал или не успел? – Байрон прищурился. – После обеда он затаскивал в комнату отдыха свою секретаршу. Каждый день, вообрази.

– Слышала. И не только секретаршу, но и кой-кого из домашних.

– Но-но!

Снова подошла Нила.

– Евсей Евгеньевич, вас к телефону.

– Кто? – Кирцер достал из кармана мобильник.

– Дежурный. Говорит, срочно.

– Прошу прощения. – Он вылез из-за стола и направился к коридору, ведущему из зала в кухню.

– Ты припер Звонарева к стенке? – спросила Диана.

– Сейчас я в этом уже не уверен. И с каждой минутой... никакой там железной цепи, понимаешь, не было... И что-то я вдобавок упустил. Или не понял. Или не учел, не знаю.

– Пусть сами разбираются...

Кирцер из коридора делал знаки Байрону.

– Извини. – Байрон поднялся. – Сейчас вернусь.

– А я пока трусики переодену, – хихикнула Диана. – И проверю, как там себя Герцог чувствует. Сегодня я хозяйка. Ты понимаешь?

– Меня тоже очень интересует его самочувствие.

Он с трудом улыбнулся ей.

Байрон чувствовал тяжесть во всем теле и при этом – усталость и пустоту в груди.

– Только что в камере обнаружили тело Звонарева, – вполголоса сообщил Кирцер. – Он перепилил себе горло куском ножовочного полотна.

– Перепилил?

– Может, с собой пронес, может, в камере отыскал. – Кирцер выругался. – Ты представляешь? Двенадцатисантиметровым куском ножовочного полотна перепилить себе горло! А потом лег на койку лицом вниз. Дежурный велел ему чаю дать на сон грядущий, вот и обнаружилось. Дай закурить! – Пыхнул дымом. – Слава Богу, дал признательные показания, все честь по чести, с росписью и датой. Во всем, гад, сознался. Я поехал. Извинись за меня перед матерью.

– Можно через кухню выйти, Евсей Евгеньевич, – предложил Байрон. – Где ваша фуражка?

– В машине. – Он поднес к уху мобильник. – Лиховцев, к воротам, живо! Через кухню?

Байрон проводил его к черному входу и вернулся в зал.

– Что-то случилось? – спросила Майя Михайловна. – Кирцер даже не попрощался.

– Просил извинить: срочные дела.

– А. И вы тоже?

Мэр развел руками.

Байрон остановился за спиной Оливии и, выждав мгновения, когда Герман Лудинг отвлечется на разговор с соседкой слева, вполголоса произнес:

– Мне нужен укол. Тот самый.

– Придется подождать. – Оливия взглянула на него снизу вверх. – Тебе неплохо бы сейчас прилечь: на тебе лица нет.

– Его на мне давно нет.

«Мы отдохнем!»

Байрон не раздеваясь лег поверх одеяла и закурил.

Мысль, которая тревожила его, казалась дикой, абсурдной, потому что ни в какую логическую схему не укладывалась, но эта мысль не отвязывалась: в той цепи – Обезьян – Таты – Тавлинский – *дед оказывался лишним*. Понятны убийства Татищевых-старших и их отпрыска, которые были заказчиками убийства Звонарева-старшего. Но остальное-то, то есть дед и вся история с Оливией, непосредственного отношения к убийству не имело. Может, он переоценил Виктора? Дед усложнял комбинацию, превращая ее в какую-то шахматно-философскую партию. Звонарев-младший ни разу не обмолвился о том, что Таты сговорились с дедом ради освобождения Оливии. Более того, подумал Байрон, этот ход старика Тавлинского был для них неожиданностью. Недаром же они так лютовали, узнав, что их любимый Тата в благодарность за услуги Оливии завещал ей солидный кусок своего пакета акций. А только это и было целью деда. Только ради этого он и использовал Оливию. И, если судить по характеру отношений Татищевых-младших и Тавлинского-старшего, вряд ли они были готовы за чашкой чая обсуждать варианты ликвидации Миши Звонарева. Конечно, дед мог шепнуть своему старинному приятелю Тате, что Оливия связана, а уж тот и сам сделал бы выводы, то есть приказал бы детям решить проблему. Но так ли уж она была связана, чтобы еженедельно не уделять ночь другую старому Тате? Кто бы мог ей помешать? Ведь оставалась же она – и довольно часто – ночевать у Тавлинских, боясь вспышек Мишиного буйства. Значит, и дед мог не считать эту формальную связь Оливии с Мишей серьезным препятствием. Во всяком случае, не настолько серьезным, чтобы «заказывать» человека. Как-то не вязался образ деда-«заказчика» с тем, который составил для себя Байрон. Он, конечно, типичная жаба новейшего русского национал-капитализма, но и человек из другой эпохи. Да вдобавок за ним была сила – власть, милиция и все такое. Он обманывал, блудил, унижал, вилял, но, что бы он ни вытворял, все это не выходило за рамки образа человека, с молоком впитавшего сталинскую этику – пусть искореженную – службиста, дисциплинированного и внешне законопос-

лушного. Он был интриган в самом широком смысле слова. Интриган, а не убийца. Он убивал хитро составленными договорами, душил кредитами и векселями. Вот почему его так измучил Домзак. Точнее, та октябрьская ночь сорок первого года. Не будь той ночи, он бы внукам разве что анекдоты о проделках зеков рассказывал, да и то – вряд ли. Служба как служба. И вдруг в одну ночь служба становится кошмаром наяву, который, преображаясь, преследует его десятилетиями. Байрон не мог поклясться, что дед во всем этом деле с Мишей Звонаревым чист, яко агнец, но у него угасла уверенность в собственной правоте, которая поддерживала его в разговоре с Виктором Звонаревым. А он признался в смерти Тавлинского-старшего и перепилил себе горло ножовкой...

Байрон застонал.

Рывком сел на кровати, налил из кувшина самогонки и выпил.

Перепилил горло ножовкой.

Значит, деда убил не Виктор.

Он схватил мобильник, набрал номер.

– Аршавир, привет!

– Наконец-то! Мы уж с Артемом заждались, командир. Как дела?

– Свободен и могу уезжать. Просто нужно покончить кой с какими формальностями. Наследство, то да се... Слушай, ты же специалист. Объясни мне, что такое угольные брикеты в руках плохого человека. Много угольных брикетов.

– Марг.*

– Понятно. А детали?

Он уже спал, когда в комнату вошла Оливия. Она была в черном платье, туфлях на высоких каблуках и со шприцем в руках.

– А! Ты уже баиньки! – Она откинула край одеяла. – Но голенький – значит, ждал сестру милосердную. Погоди-ка...

Положив шприц на тумбочку, она стала раздеваться, швыряя вещи куда попало.

От нее пахло вином и духами.

– Сейчас, миленький, сейчас... – Разнагишавшись, сделала укол и бросила шприц в корзину для мусора. – Когда я к тебе шла, за мной Дианка шпионила. А я ей – язык показала!

Она рассмеялась.

Байрон облегченно вздохнул: лекарство начинало действовать.

Оливия залезла под одеяло с другой стороны, погладила его теплой ладонью по животу. Поцеловала в плечо.

– Как хорошо от тебя лошадью пахнет!

– Можно мне выпить? – Байрон опустил ноги на пол, налил полстакана Нилиного зелья и с наслаждением выцедил. – Приятно, черт возьми, когда ветер за окном вот так шумит. Еще бы кошку под руку...

– Мур-р, – изобразила кошку Оливия. – Только под руку?

Дверь бесшумно распахнулась. В дверном проеме стояла босая Диана с включенным фонариком, свет которого ослепил Байрона.

– Как там Герцог? – Он прикрыл лицо рукой и отклонился, пытаясь разглядеть то, что Диана держала в другой руке.

– Сдох.

– Опять она!

Оливия привстала и тотчас повалилась набок, сраженная пулей.

Диана ойкнула и присела.

– Байрон, я не хотела... я к тебе... а она...

– Закрой дверь! – приказал он.

Прыгая на одной ноге, он обогнул кровать, склонился над женщиной.

– В висок. Наповал.

* Смерть (*пушт*).

– Я просто хотела напугать, честное слово... Что же делать-то, Господи? Держась за спинку кровати, он подковылял к ней, взял пистолет.

– Иди к себе, оденься и жди меня. Я мигом.

Она встала. Только сейчас Байрон разглядел, что на ней были черные перчатки и лифчик, а на руках – черные перчатки.

– Оденься и жди. Тебя никто не видел?

– Нет.

– Да иди же! На рукоятке мои отпечатки останутся.

– Но я...

– Марш отсюда!

Спустя несколько минут он без стука вошел в комнату Дианы. Она уже была в джинсах и свитере, завязывала шнурки на ботинках. Черные перчатки. Он порыскал взглядом по комнате. Нету.

– Пошли.

Быстро шагая, они спустились черной лестницей во двор. Байрон открыл ворота.

– Отвезешь меня к мосту и сразу же – сразу же! – вернешься домой. Если спросят, где была... Да заводи ж ты машину! Скажешь: Байрон просил отвезти в ночной клуб...

– Здесь только казино Татино.

– Значит, в казино. Ну вперед! Береги чужую жизнь – спасешь свою.

– Это к чему?

– Просто подумалось.

Миновав мост, она развернула машину.

– И запомни: ты ничего не слышала. Спала, когда я к тебе пришел и попросил отвезти в казино. Был пьян и все такое. В мою комнату не заходила. Это не так уж трудно запомнить. Да и сыграть – тоже. Ты это сможешь. Прощай.

– Байрон!

– Я знаю: ты не хотела. Именно поэтому и надела перчатки. Ладно, все. Моя беда, а может, и вина в том, что я из поколения людей, не умеющих любить. Я лишний. Вот и все.

И он шагнул в темноту, на тропинку, ведущую к проселочной дороге вдоль реки.

Уже через несколько минут он поймал вдруг себя на том, что насвистывает какой-то бодренький мотивчик. «Утомленное солнце» в исполнении чечеточника. Впрочем, чечеточники не поют.

Он старался держаться края дороги. Карман оттягивала бутылка. Электрический фонарик он нес в руках. Придорожные кусты хлестали по брюкам и куртке, и вскоре он почувствовал, что правая брючина намокла и отяжелела.

Думалось о Диане. Вот уж что выросло, то и выросло в доме Тавлинских. С одной стороны, математическая девушка с хваткой не по возрасту, довольно циничная и равнодушная, может быть, и мстительная, как мать говорила. А с другой – милый карандашик, свой, тавлинский... Так неужели это циничное создание так влюбилось в него, что, увидев входившую в его комнату Оливию, схватилось за пистолет, передернуло затвор (в кино, что ли, видела?) и неглиже заявила сводить счеты? Целилась-то в него. Скорее всего в него. И выстрелила. Случайно? Намеренно? Если случайно, Бог ей судья. А если намеренно и намеренно не в него, а в Оливию, – значит, дед назначил ей такое содержание, что можно наплевать на добрые отношения с Тавлинскими и все такое. Но стоила ли Оливия смерти? Ну подкальвали друг дружку, подшпиливали при случае... Или каждую шпильку девчонка воспринимала как личное оскорбление вселенских масштабов и копила, копила, чтобы при случае – пальнуть в обидчицу? По опыту Байрон знал, что некоторые даже умышленные убийства являются

на поверку случайными. То есть Диана хотела насладиться ужасом, грохотом выстрела, видом поверженного врага, Оливии или Байрона – все равно, – а потом уйти к себе, потому что за этим в голливудских фильмах значится «The end». А она же из поколения, которому недостаточно даже лопуха на базаровской могиле, потому что Базаров и вести должен был себя иначе, и всем врагам-обидчикам фитиля вставить, и уж только после этого – так и быть, раз Тургенев этого захотел – умереть, да и то не случайно, от какой-то болезни, а, например, в бою, в схватке...

Байрон чертыхнулся, оступившись и чуть не упав в кусты.

«И ведь сыграет свою роль, которую я ей предписал, без сучка и задоринки: ничего не слыхала, ничего не знаю. А потом уедет в Москву и устроится всем на зависть, – думал он. – И никакой груз не обременит ее совесть. Потому что совесть – не всегда память. Разошлись они. И в этом мы с нею – брат и сестра».

За рекой в домах гасли огни.

Ветер вдоль реки дул ровно и сильно. Минут через десять-пятнадцать, уже подходя к домзаковскому мосту, он был почти трезв.

Быстро пробежавшие по небу облака то и дело скрывали луну, и пустынный двор Домзака то вдруг выступал из темноты во всем своем злобещем убожестве – брошенные бочки и ящики, ломаная мебель и какое-то тряпье, – то словно погасал, лишь башня церкви да ломаная линия крепостной стены четко рисовались на фоне темного неба.

Пахло бензином, перебивавшим дух затхлости и заброса, давно свойственный этому месту. Звонарев не обманул: расставил бочки под галереями. Но это пустая затея: сколько ж потребуется времени и сил, чтобы при помощи жестяного ведерка облить бензином такую махину. Вся надежда была на веревочку, заклеенную кусочком жевательной резинки. И Байрон молил бога, чтобы иницирующий заряд, спрятанный в грудке угольных брикетов, был повесомее. Хотя бы грамм двести. А еще лучше – четыреста.

Перепилил горло ножовкой.

Байрон с усилием освободил дверные створки от проволоки. Из темной глубины храма пахнуло теплом. Присев на корточки, включил фонарик. Какой-то сор, занесенный сюда ветром сквозь щели. Щепки, конфетные обертки, скомканный крафт-мешок. Он медленно провел световым лучом по внутренней стороне арки, потом – по другой. Ничего. Это была бы самая развеселая шутка, которую мог бы устроить в своей недолгой жизни Виктор Звонарев... Вот. Полуметровой длины шнур у самых ног. Кончик залеплен резинкой, которая слабо пахла земляникой.

Байрон с облегчением выдохнул. Опустился на корточки, открутил пробку и плотнул виски. Закурил.

Что ж, он оказался хреновым следователем. Он ошибся. Теперь он был твердо уверен в том, что Виктор Звонарев не убивал Андрея Григорьевича Тавлинского. Но его уже больше и не интересовало имя настоящего убийцы. Нас всех подстерегает случай. Бедная Оливия. Бедная дурочка Диана в своих черных перчаточках. Бедная Нила. Мать. Дядя Ваня. Вся его семья. Ему жаль их. И даже того бедолагу священника – отца Михаила, отправившегося искать правды на Руси, – и его ему было жаль. Артем и Аршавир – они все-таки сами по себе. Прощайте, братья. Он должен выполнить задачу – и только. Недаром же столько лет он носил погонь, которые, как выразился однажды его тесть-генерал, снимают только с живой шкурой.

Никогда кончается.

Он снова выпил, закрутил пробку и спрятал бутылку в карман. Прикурил сигарету от окурка. Аккуратно отодрал кусочек резинки от срезанного по всем правилам – наискосок – бикфордова шнура. Затянулся, прижег кончиком сигареты начинку шнура. Шнур вспыхнул с шипением.

Теперь оставалось ждать.

Он вышел на середину двора, напряженно ожидая взрыва, но взрыва все не было. Не пожалел, значит, Виктор шнура.

И в это мгновение земля под ногами дрогнула.

Он обернулся.

Каменные стены собора распирали, как бутон, готовый распасться и явить взгляду цветок, и цветок явился – стены с грохотом развалились, воздух вспыхнул, столб пламени ударил в небо.

Байрона швырнуло на землю и накрыло листом фанеры.

Огненный смерч бешено метался по Домзаку, все горело и рушилось.

Задержать дыхание, насколько возможно. По максимуму. Иначе согрять легкие.

Перед глазами поплыли круги, и он потерял сознание.

Он очнулся от боли. Вся левая сторона тела, голова, ноги были обожжены. Дышать было трудно. Воздух был мутен, пахло гарью.

С трудом отбросив обгоревший кусок фанеры, он попробовал перевернуться на правый бок – и снова потерял сознание.

– Байрон, сынок, ты живой, нет? – послышался голос дяди Вани. – Ну и чудес ты тут начудесил! Сколько ж это пороха надо, чтоб такую махину развалить. Дышать можешь? Давай хоть куртку снимем... больно? Ну, не буду, не буду! Приварилась, видать, куртка к живому мясу. Да и штаны тоже. Тебе в больницу надо. Сейчас, сейчас... Ты потерпи, я тебя на фанерку положу – и волоком, волоком, а там у меня лодочка. Я ж рыбачил тут неподалеку, и вдруг – такой букет! Небо в алмазах! Сесть хочешь? Погоди-ка.

Он куда-то отлучился, и, пока его не было, Байрон с трудом извлек из кармана бутылку. Дядя Ваня вернулся со светлым суконным одеялом, набросил его на плечи племянника.

– Выпить хочешь? Это святое, святое, я сейчас... – Поднес к губам Байрона бутылку, тот глотнул, переждал, еще глотнул. – Это по-мужски, молодец. Заодно и я приложусь, не возражаешь? Хорошая самогонка! Забирает!

– Дядя Ваня, – наконец выдавил из себя Байрон, – все не то и не так. Хотел точку поставить, а вышло – юродство какое-то. Глупость и мальчишество. Все равно ведь остался и Домзак, и память о нем. Да еще посмеются... Понимаешь?

– Понимаю. Подвиг – он всего человека требует, так на это только юродивые и способны. Вроде нас, которым на смех и осмеяние – наплевать. – Хихикнул. – Мы юроды Христа ради...

– Беса ради...

– Кто их сейчас разберет, где бес, а где Христос? Отец Михаил вон так и не разобрал. Потому и ушел по Руси бродить. А кончит психушкой, помни мое слово: правду свою он только в психбольнице и отыщет. Но ты, сынок, ошибаешься: все то и все так. А ошибок кто не делает? Одни дураки да еще некоторые... Ты только глянь на нашего Кирцера – смех! Витьку Звонарева в убийстве папаши обвинили! А зачем Витьке мой папаша? Он ведь – мой папаша. Кровь от крови и плоть от плоти. Я же когда рассказывал, как согласился взять на себя Гришину вину, ни капельки не лгал: так все и было. И суд, и тюрьма... А в тюрьме я устроил сам для себя кружок драматического искусства. Каждый день как бы выпивал лишнюю рюмку, в голове мутилось, а тут еще таблетки, которыми меня пичкали, помогали, вот оно в голове и мутилось взаправду, и брал я ту девушку за руку, тащил со смехом наверх, даже не подзревая, что там произойдет. Это самое трудное в искусстве актера, я понял: знать все наперед, а изображать так, словно ты последний недотепа в зале, ничего не знаешь. Долго у меня это не получалось, пока я не научился смотреть на себя со стороны. И вот с помутненной головой тащил я эту девушку наверх, хватал на руки – тут главное – ни на миг не останавливаться, чтоб с настроения не сбиться, – и бросал на постель, а она, бесстыжая, хохочет, шелковой ножкой машет и пальчиком так, пальчиком, а в голове у меня тьма, но тьма такая странная,

что вот вроде бы и темно, а я все вижу: как я стягиваю с нее чулочки, хватаю руками за шею и наваливаюсь на нее, наваливаюсь, как в адскую бездну лечу... Годами репетировал я эту сцену, сынок, пока не отшлифовал ее во всех подробностях, пока не стал – Гришей. Ну как бы Гришей. Ты не пугайся: никакого раздвоения личности у меня не было и в помине. Просто стоило мне вспомнить ту кокетливую шелковую ножку с пальчиком – и я входил в раж! Давай еще выпьем, а?

Глотнул, помог Байрону осилить глоток. Байрон замотал головой, передернулся, словно по коже наждачкой деранули. Он по-прежнему плохо различал предметы вокруг, и лицо дяди Вани то растекалось жидким блином, то скукоживалось в кулачок.

– Хватит... – прошептал он. – Хватит слов-то...

– Слов-то? А если словами, то никакому врачу или следователю уже было не докопаться до той тьмы, в которой Ивана не отличить от брата его Гриши. Впрочем, к тому времени на меня давно наплевали, только и делали, что уколы кололи да таблетками кормили. И как же я обрадовался приезду Майи! Знаешь, она вся такая нежная была, светлая, светящаяся... Вся моя жизнь перевернулась. Стал я думать о возвращении. Как я играл это мое возвращение! Мы отдохнем, думал я. Мы еще услышим ангелов, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежною, сладкою, как ласка... – Он глотнул из бутылки. – До чего же грубый писатель Чехов! Я вот после тюряги Теннесси Уильямса прочел – и ахнул: как тонко, изящно, страстно и страшно! А еще Юджин О'Нил... грубоват, но силища какая! А Чехов – просто грубиян, Байрон. Он тебя самыми глупыми словами мучит, да как мучит, садист, он и писал-то, наверное, каким-нибудь огрызком карандаша на оберточной бумаге... Воистину русский писатель, другого мы и не заслужили.

Закурил.

Байрона от запаха табака замутило. Он уже не понимал, кто это рядом с ним говорит, говорит без умолку, да и все равно: пусть себе балаболит – смысл он улавливал как-то кусками, приходилось напрягаться, чтобы связать эти куски во что-то более или менее целое, но с каждым разом сил на это требовалось все больше, да и давалось это с болью. Боль. Только боль, заливающая все тело. Боль в форме тела. Да вдобавок озноб и слабость.

– Вернулся я домой, встретили меня – прямо как святого, – неспешно продолжал дядя Ваня. – Ну думаю... ан нет! Жизнь – это тебе даже не Чехов, а насчет милосердия и подавно забудь: мечта, сгубившая Россию, – вот что такое милосердие. Я стал последним для мира, и папаша это претотлично понимал: он был в силе, а я в немощи. Да и надо ж было жизнь устраивать. Мне ж еще и сорока не было, милый! Папаша передо мной повинулся, это да, и тут же сосватал к Лизе, к бывшей своей. Что я – олух? Не знал ничего? Все я знал и видел, потому что в тюрьме душу и зрение отточил, как бритву. Папаша и дом отремонтировал – сам видел, игрушка, а не дом, но так дело обернул, что дом по бумагам стал его собственным, а мы с Лизой и Оливией – жильцами. Ну это ладно. Устроил меня электриком, доплачивал из каких-то тайных своих заначек. Все чин чинарем. Но где же вымечтанная жизнь? Э, Байрон, вот в чем была моя ошибка: я-то думал, что с героями всю жизнь носятся, как с писаными торбами, а на самом деле никто так жить не мешает, как эти самые герои. Да и герой-то я был сомнительный, одноразовый и для внутреннего употребления. Подвиг – вообще подлое дело: совершил, получил свое – и забудь. Или забудь-ся. Мыкался я, мыкался да и пошел однажды к папаше. Отпусти, говорю, в Москву – другой жизнью пожить. Дай денег сколько можешь, дом продай, но – отпусти. Ведь, говорю, не нужен я вам в роли живого укора. Зачем вам какой-то там Никола Салос или Василий Блаженный? Да и был бы толк от моего подвига, а то вон Гриша погиб... и все такое... и жизнь шатовская – вот она где мне! Он долго колебался, но – отказал. Говорит: ты там погиб-

нешь. И точка. Он наперед знает, что я там погибну! Да ему просто до стона хотелось меня при себе держать! Рану корябать! Это ж многим удовольствия доставляет, такое извращенное сладострастие... Нет, говорит, содержания я тебе прибавлю, делай, что хочешь, но – при мне. Я и запил. Уроду – уродо. А года два или полтора назад заговорили среди наших о плохом здоровье папаши, о завещании и так далее. Он, конечно, только с Майей шептался. Писал да переписывал. Ну, думаю, Бог справедлив, и двинул я к папаше. А он угостил меня водочкой и на голубом глазу говорит, что завещает мне дом, в котором мы с Лизой живем, и пенсион до смерти. И все. Мне небо с овчинку показалось! Значит, ни копейки доходов от его магазинов, заводиков, от строительства и прочего! Даже в новом своем доме ни сантиметра не выделил. То есть живи, если хочешь, но, когда хозяева попросят, уж будь любезен. Это мне, единственному сыну! За него же пострадавшему! Ладно, не надо со мной носиться, как с писаной торбой, но хоть частичку какую-никакую на вольную жизнь – дайте! Ведь воли хочется! Воли! А – нетути! Не дал. Свободу предоставил, а воли – не дал. Разговор наш как раз перед твоим приездом состоялся. Подвиг, говорит он мне, так уж подвиг до конца. Заговаривал мне зубы...

– Дядя Ваня, дай еще. – Байрон посмотрел на бутылку, движение глаз отдалось острой болью в затылке. – Значит, ты и не прятался, а просто дождался, когда я выйду от деда...

– Он мне отец. Мне и пить для храбрости не надо было. Такой холодной яростью я налился... Что так, думаю, что этак – один конец. Так хоть сыграю роль. Отыграю все роли, которые в тюрьме разучил. И ведь получилось! Да и не могло, впрочем, не получиться.

– И не жалко?

– Что?

– Не жалко?

– Жалко, конечно. Но уж такова, брат, судьба. Как она с нами, так и мы – ей. А для меня, милый, всей моею судьбою стал папаша. Саваоф! А мы кто пред ним? Юроди Христа ради... как вот ты сейчас, уж извини...

– Это ты к попу на исповедь ходил?

– Я. Так ведь это еще до твоего приезда было – вот в чем штука. Хотел генеральную репетицию устроить, а он, дурак, возьми да и расплачься! Тоже мне поп! Отправился искать правду у народа-богоносца, а меня в богоносцы зачислить постеснялся, сволочь! А чем я хуже? Если разобраться, ничем. С берега светят... Эй! – закричал он. – Это я, Тавлинский Иван!

– Иван Андреич, что вы там делаете? – проговорил кто-то в мегафон. – Что тут случилось?

– Да уголь загорелся! – закричал дядя Ваня. – Ничего!

– Ничего себе ничего! – пророкотал мегафон. – Словно атомную бомбу на него сбросили. Даже мост своротило! Кто это с вами?

– Да вы не знаете! Рыбачили вместе! Он с ликеро-водочного! Серегой зовут!

Было слышно, как взревел двигатель машины, одолевшей подъем к шоссе.

– Вот так... Зачем им знать, кто тут да что тут?.. Давай-ка я тебя на фанерочке поташу, сынок. Таму меня лодочка, на ней в самый раз до больницы и доберемся. Тут пути-то – по течению спуститься.

Байрон застонал.

– А ты бутылку вот возьми – держишь? – и обезболивай, обезболивай...

Байрону казалось, что шорох фанеры по земле не прекратится никогда. Но вот они остановились.

– Живой? – Дядя Ваня склонился над ним. – Теперь самое трудное, сынок: надо нам по камешкам вниз спуститься, к лодке. Попробуй-ка этой рукой... вот и держи меня за шею, я крепкий, выдержу... Вот! – Они встали. – А теперь сюда...

Они с трудом спустились к воде, и Байрон даже удивился, почему это он ни разу не потерял сознание. И бутылка цела. Дядя Ваня помог ему устроиться на носу лодки, под голову положил свернутый ватник, укрыл одеялом до подбородка.

– Ну вот. – Сел за весла спиной к племяннику. – Сейчас выгребем, а там река сама понесет. Туман-то какой...

Байрон закрыл глаза. Черные перчатки. «Брызги шампанского». Домзак. Задача решена. Туман. Бутылка выскользнула из его рук. И дышать вдруг стало легко, словно дышал не он, а кто-то другой – чужой человек, живой и здоровый, и он в последний миг понял, что это все значит – все, все, все, и понял, что другого берега уже не будет да и не надо...

– Байрон! – окликнул его дядя Ваня. – А ты такие взрывы на войне научился строить? Байрон!

Племянник не откликнулся.

– Байрон! – Дядя Ваня боялся обернуться. – Ты хоть голос подай, сынок!

Но и на этот раз ответа не было.

Дядя Ваня тихо выругался и снова изо всей силы налег на весла.

Не выдержав, наконец, молчания за спиной, он перебрался на нос лодки и, укрыв тело Байрона с головой одеялом, снова вернулся к веслам, подналег, но оборачиваться по-прежнему боялся. В темноте одеяло казалось режущее-белым, словно излучающим свет, которого взгляд человеческий выдержать не мог, да и не предназначался тот свет ни взгляду человеческому, ни даже, наверное, взгляду Господа – Мальчика с кривыми пальчиками...



Ирина ЕРМАКОВА

Зерна гранита и зерна граната

* * *

Трубадура, проснись! Труба зовет,
стадо гудков бежит по квартире.
Полная ночь, без пяти четыре.
Телефон заходится. Снег идет.

Снег идет. Идет с потолка.
Стадо трубит: ду-у! ду-у!
Я сейчас, сейчас, я почти иду.
Я охотно – на все 33 звонка.

В сон иду, на зверя иду.
Снег разлохматился на лету,
тени махровые хлопьев горластых,
как привидения воющих гласных,
тянутся,
 тянутся
 белыми,
 острыми,
долгими мордами сквозь пустоту.

И накрывается стихшее стадо,
в сонном сугробе слипается свет,
словно срастается все, что разъято,
кружится рой безголовых побед,
стертые трубы, медные даты,
неназываемые имена,
зерна гранита, и зерна граната
и беспробудное голое *надо*,
и тишина, где звонят про меня.

Гранат

начальница смерти матрона теней
супруга подземки царица Аида
за гранью сугроба под негой гранита
зима истекает и что тебе в ней
горит нетерпеньем Москва грановита
взойди к нам богиня

гранатовым соком упит краснозем
 размякла набухла зернистая суша
 в разрывах проталин скукожилась стужа
 ты срок ледяной отмотала живьем
 у гостеприимного щедрого мужа
 пора б и на волю

на свет отверзая земное нутро
 мы ждем тебя здесь в боевом беспорядке
 мы зерна граната – ты помнишь касатка?
 у выхода в город под буквой метро
 Коломенская – где пивная палатка
 иди же скорее

полгода полжизни сморожена речь
 кончай ночевать – андеграунд стеречь
 звереют от солнца худые вороны
 во встречных карманах зудят телефоны
 а пива-то сколько успело утечь
 от первого снега
 до явки повинной до страсти зеленой
 за телом души твоей не закрепленной
 ты нас узнаешь Персефона?

* * *

Здесь, за смутными нежными сопками, где земля
 закружляется бережно ржавой пляжной щебенкой,
 неназойливо близкий мерещится профиль Кремля,
 и вольно на неделю себя ощутить японкой.

Океана смиренней, хлада и жара его,
 погружая солнце в залив Золотого Рога,
 понимая жизни серое вещество
 как длину страны в ее пестроте широкой,

я стою на краю географии, мира, дня,
 и Москва не зла, не суетна, не жестока,
 это просто город, построенный для меня,
 если смотреть на него из Владивостока.

Свет

Каждое утро сосед Еврипид
 дома напротив – на набережной
 с банкой литровой и снастью налаженной
 на парапете чугунном сидит.

Летом сидит и зимою сидит,
 лед пробуровит и дальше глядит,
 волны грызут краснозёрный гранит,
 в лысине голое солнце горит.

– Что там ловить, многославный сосед,
 вечною удочкой, пробочкой винною?
 – Свет, – отвечает, – рассеянный свет,
 рыбицу мелкую, донную, глинную.

– Этих мальков, достомудрый сосед, –
 тьма в нашей мутной шибяющей тали,
 что их ловить третью тысячу лет?
 – Чтоб не дремали, чтоб не дремали.

– Но для чего, всевеликий сосед,
 ты выпускаешь их банками полными,
 животрепещущих за парাপет?
 – Чтобы гуляли да помнили, помнили.

О Еврипид мой, Господний и.о.,
 что же не помнит никто ничего?

* * *

Дерево – ап! – и расцвело под балконом,
 словно зажглись розовые соцветья.
 Тьма шебуршит зеленым, липко-зеленым,
 пальцем шершавым шарит по листьям ветер,
 и, пробегая – шась! – по диагонали, –
 шорх! – лепествы ерошит петит молочный,
 длинно шипит, округляя воздух блочный,
 свет надувая, шашни теней гоняя,
 ветки ширяя, ночь до корней пробирая.
 Брось, – гудит, – переживешь и это,
 слышишь? – смерти не будет, а будет лето,
 коли уж – расцвело.
 И шелестит, листая наоборот
 книгу крови, клейкую память рода.
 В кроне – ш-ш – невидимая свобода.
 Дерево прижизненное цветет.

Петр

На седьмом небе (читай – этаже)
 где безногий сапожник живет Дядьпеть
 битый день стук-тук тридцать лет уже
 да таков стук-тук что легко сдуреть
 он стучит-чит-чит словно все сошлось
 звук горячий гнется в его руках
 перекрытий ребра стекая сквозь
 и растет сталактитами на потолках

А увидь его – это ж чистый смех
 желто-вострых гвоздиков полон рот
 отхохмит – ну просто – держи живот
 ни одной ноги – а вёселей всех
 подбивая стертые каблуки
 прошивая жизни чужой стежки
 все Дядьпеть порвалось вот тут – внутри
 все зачиним – ягодка – говори

А как зимние сумерки – он кричит
 так орет под ночь что легко сдуреть –
 ить одна нога на мороз боолит
 а друга нога – ничево – молчит

*мне б каку бобылку дык я б зatih
я б налил снотворный себе стакан
ан карман с дырою холодной лих –
подносили мертвую – пей горлопан!*

Наливали до смерти а потом
на поминках – рев и гармошка рекой
утиши нас Господи успокой
мира зданье блочно-панельный дом

Он теперь там – Петр а не наш Дядьпеть
иногда за день-другой до весны
он стучит беззвучно в железную Твердь
он почти достучался до тишины
забывая блеск перемерзлых звезд
так стучит как будто мы все – должны
и тогда в Нагатино – ой мороз
мировой мороз и смешные сны

Метель

Гудит ли слишком всеподъездное застолье
гребет ли дворничиха слишком бурно снег
немедленно – средь нас возникнет Коля
не мент не мусор не лягавый – просто Коля
душевный участковый человек

И ярость тает и пурга взлетает
обратно ввысь туда где всё – вода
и Коля тут же возглавляет запеваает
и разливается и разливаает
как горний лейтенант и тамада

По строгим стрункам д’на пандури-мандолине
он строит мир он лепит дольний свет с нуля
и руки Колины по локоть в красной глине
и музы строятся из воздуха и линий
невидимых всего участка для

Они танцуют как грузинки – как сирены
звенят в ушах и убыстряют шаг
вот музыка вот смысл ее мгновенный
вот вольный звук идет как маг сквозь стены
и тут же увязает в этажах

Вот мы – Ты ж слышал как мы пели
душа вибрирует еще струна горит
сдержи нас от гордыни и обид
и глухоты и круговой метели
пока темно пока Николо Руставели
что ангел форменный чистосердечно спит



Два рассказа

ДЕНЬ, КАК ГОД

Джек приехал в Пермь волонтером – помогать ремонтировать Музей политических репрессий. Но ни до какого Музея не доехал, потому что у него наступило свое.

Коридорная гостиницы уже знала эту западную важность, особую. У русских важность сердитая, кажется, что у несчастного проблемы с кишечником. А у Джека важность летучая, с улыбкой и с вопросом в глазах: ну как вы, как вы тут без меня обходились?

Через час он подхватился, нахлобучил на голову свою берсальеру и спросил с приятным акцентом:

– Могу я поужинать где-нибудь тут?

– Да лучше дальше гостиницы никуда не ходите, – устало сказала дежурная. – Буфеты работают.

Но разве потомок ковбоев стерпит такое топтание на одном месте? Он подумал: центр – он и в Перми центр, не может быть, чтобы рядом с четырехзвездным отелем кишели приключения. Ведь не Гарлем здесь какой-нибудь!

Через час он резко изменил свое мнение, но до этого...

Джек побродил по Компросу, полюбовался подсветкой ЦУМа, зашел в пару забегаловок. Все это время за ним следила пара здоровяков. Они ждали, когда Джек забредет в достаточно темное место, потому что они думали: это лох. А есть такой закон, что лох в конце концов всегда забредает в темное место.

– Он, сука, может в эту гребаную зеркалку зайти! – тревожно говорил один.

– Да, – вторил другой.

Он не любил работать возле зеркального киоска. И не только потому, что там было светло, как днем. В зеркальных стенах все удваивалось – они показывали, что ребята делали с людьми, и говорили: это разбой.

Эти два крепких парня были режиссеры, сценаристы, актеры, оформители и продюсеры своих ночных работ. Любили кайфовать, рассуждая: по их сценариям жертвы становятся умнее, зорче, осторожнее. Ну, конечно, жизнь идет, подрастают новые лохи, работы впереди – не продохнуть! А то, что от их действий солнце каждый раз чуть-чуть тусклее светит, и атомы слабеют и меньше тянутся друг к другу, и в разных участках мира уже кисель... Но эти два тела вообще все по-другому чувствуют: переживают, что с каждым днем все труднее воплощать свои сценарии (ведь все больше лохов покупает машины, и их уже не догнать).

И вот эта тройка – Джек и два здоровяка – дошла до Куйбышевского рынка, где щупальца теней протянулись с подспудными намеками. Джек почему-то остановился. Потом он говорил следователю, что раздумывал, в каком киоске купить сувениры для родителей.

Следователь в больничной палате спрашивал терпеливо:

– Какой может быть сувенир в двенадцать ночи?

Джек неуверенно сверкал рубиновым, залитым кровью глазом:

– Было одиннадцать еще вроде.

Подошли к нему два крепыша и показали два ножа. А во рту у Джека – такой вкус, будто он лизнул эти лезвия. И в то же время эти лезвия блестяще сонно, говоря: никуда не денешься, все отдашь.

У Джека руки сразу стали холодными и легкими, он сорвал с головы драгоценную берсальеру, выбежал из пиджака. Тот, кто главнее, показал ему скупым жестом, чтобы не суетился, а его подручный быстро обследовал карманы брюк. Джек увидел у него ухо Будды с огромной мочкой. Помощник достал банковские карточки. И Джек только краем сознания сказал карточкам: «Прощайте». Дальше из кармана выплыл паспорт.

И нашего американца вдруг понесло:

– Я приехал помогать. Музей политических репрессий. Чтобы не было политическое насилие.

Это возмутило двух атлетов. Как это так? Выламывается из роли жертвы. Разговаривает! И они применили насилие простое: по-продюсерски быстро стали ударами вгонять Джека в русло роли. Ожог, тупой звук, онемение, металлический вкус во рту...

Джек увидел две луны, и в тот же миг его треснул по затылку тротуар. Внутри Джек был по-прежнему бойкий, но тело его плачевно не соответствовало: расплющенные губы не двигались, и звук получался только: бэ-э-э. И только уши еще исполняли свой долг. Какая-то женщина кричала в сотовый телефон:

– Весь в крови! Без сознания!

О, радость! О, прекрасный визгливый крик! О, русские женщины! О, Россия!

Сколько он ждал амбуланс – не знает, может, даже терял сознание.

Когда в очередной раз выгреб оттуда, куда упорно уплывал, Джек обнаружил, что лежит на каталке в каком-то сарае, который, как он потом выяснил, русские зовут «приемным покоем». К нему подошел измученный человек в халате и закричал:

– Срочно на рентген, а то звездеч!

Джек понял, что он не в сериале «Скорая помощь», где цветущий красавец Клуни целомудренно торопит медсестру: «Скорее, мы его теряем!»

Тут же прилетел на колесиках рентген. И Джек заговорил:

– Пятнадцать тысяч долларов – моя страховка туриста. Дайте спутниковый телефон, я буду говорить с Америкой. Мои родители будут все платить.

– Сейчас, – кивнул усталый врач и, не говоря худого слова, что-то с хрустом повернул в грудной клетке Джека.

Джек слабо взвыл – он не знал, что хирург пользуется его шоковым состоянием, чтобы вправить два бедных его бедра.

Прибежала медсестра:

– Да-да, это иностранец. В милиции говорят – паспорт Джека Брайена подбросили к их дверям.

– Это я, да! – восторженно застонал наш волонтер.

– Бандюки-то испугались, что иностранец, – злорадно сказала красотка-медсестра. – Сразу подкинули документ. Вот что значит – Америка!

– В отдельную палату! – приказал врач.

Джека повезли. Привезли его в другой сарай, и он был счастлив.

В это время его родители купили билет в Россию, а из госпиталя Бурденко, из Москвы, выехала «скорая помощь». Именно с этой больницей у Джека был заключен договор. И вот наступил страхового случай.

Эта оранжевая машина, почти двухэтажная, рванула из Москвы прямо в центр нашего мира – в Пермь. Инопланетным апельсином она летела по разбитым дорогам России спасать американца. Кто там вздумал обидеть представителя свободной страны?!

За эти двадцать часов, пока спасительная машина летела, вспыхивая синими глазами мигалок, Джеку влили через разноцветные трубочки мно-

го чего очень дорогого и очень целебного. Именно поэтому Джек уже с утра бодро ковлял по корпусу и направо-налево предлагал свою помощь. Он хватался за каталки, блестя баклажанными синяками и желая быть полезным. Этим он всех достал, всех: они пугались, что вот с таким распухшим ушитым лицом, с рубиновым глазом американец упадет – и потом поднимай его, такого бычка! Джек удивлялся, но не мог уговориться.

Вот Джек бросился к каталке, чтобы помочь трепетной медсестре доверить больного в палату из операционной. Но, пошатнувшись от внезапного головокружения, он схватился за ветхую простыню. Она полусползает, обнажая мускулистую грудь и забинтованный живот. И владелец всего этого лежит с сияющими глазами оттого, что живой. И уши Будды, с длинными мочками, тоже топорщатся от счастья. Тут глаза грабителя споткнулись, и он зажмурился, услышав знакомую фразу:

– Я приехал волонтером – помогать в Россию.

Прооперированный бросил земляную руку на глаза. «Мамочка! – дунал он пополам с матом. – Зачем мы после этого американа полезли еще на одного? Кто бы знал, что этот падла со стволом! А может, американец меня пожалеет? Да, дождешься от них, они без жалости Ирак вон разбомбили».

И откуда тут взялся этот оперативник еще! Он подскочил и сразу понял все. «Ну, сейчас поработаем!» Пузырящаяся бодрость его так приподняла, словно не было бессонной ночи. Он мягко оттеснил Джека к стенке и напористо начал:

– Вы узнали его? Вижу, что вы его узнали!

У Джека уже утвердительно синяки задвигались на лице. Но в это время оперативник, по-братски подвинувшись к нему, добавил:

– Ох, долго мы за ним охотились! Теперь я на нем отосплюсь!

Джек не знал, какой смысл у этого выражения – «отоспаться на ком-то». Он заподозрил что-то насильственно-гомосексуальное, поэтому привел синяки в прежнее, нейтральное положение. Но оперативник (недаром его называли в отделе Пиявкой) уже знал, что не отстанет от того, кто лежит сейчас на каталке.

Недавно этот оперативник нашел убийцу, который был во всероссийском розыске девять лет. Информатор намекнул: на одной блатхате появился этот выродок. Наш Пиявка приехал с командой, все осмотрели – на месте только хозяева, а на полу лежат какие-то бомжоиды. Он от отчаянья антресоль выпотрошил, но только стаю моли спугнул. Уже вышли и сели в машину, и тут Пиявка вспомнил ориентировку, что невысокого роста этот преступник и за годы скитаний уже усох... Точно, он лежит там, в одной из вонючих куч тряпья! Пиявка вернулся и стал разрывать ту, которая была на самом видном месте. И дорылся до маленькой скорченной фигурки Карельца (он же Карельшиков Вэ И, он же Верещагин Пэ Дэ)...

Но вернемся к Джеку. «Скорая помощь» прилетела очень скоро из Москвы – точно через двадцать часов. «Мои деньги! – ужаснулся пермский спаситель Джека, завтравмой. – Они сейчас увезут мои деньги!» И как начал хамить своим столичным коллегам! Но это уже не имело никакого значения, хотя, впрочем, послужило завязкой длинного разговора.

– Какой хам этот заведующий отделением, – говорил врач «скорой», мотая длинными львиными складками лица. – Можно здесь покурить?

– Давайте выйдем в предбанник, – сказал секьюрити, пока Джек собирал свои вещи в номере гостиницы, то и дело выскакивая в коридор, чтобы обнять кого ни попадя (ему казалось, что не все еще понимают, как это хорошо, что он остался живой).

– Как же этот заведующий с беззащитными больными разговаривает? – продолжал московский врач.

– Да-да, мне стыдно за нашу Пермь, – продолжил формально охранник, в обязанности которого входило быть приятным для постояльцев.

У врача постепенно в лице стало проступать благородство, как у человека, который долго скрывал свое дворянство и вот дождался времен, когда его не нужно скрывать.

– Мне уже под пятьдесят, и вроде ни к чему эти броски: тысяча километров туда, тысяча обратно. Мне сколько раз предлагали пойти на повышение.

Охранник вопросительно посмотрел.

– А зачем мне это? Здесь я сам за себя отвечаю. Людей вытаскиваю с того света – словно протяну руку и вытащу.

– Ого! – сказал охранник.

– А у нас в родне – я подсчитал – сейчас двадцать шесть врачей и один даже академик. Угадajte с трех раз – к кому я никогда не поведу своего внука?

Наш охранник сделал вид, что закашлялся.

– Да к этому академику! – торжественно выкрикнул врач. – К своему двоюродному братцу! Никакой у него практики: все конгрессы да разъезды по разным странам.

Наш охранник и сам не понял, что случилось. Вроде ни одного красиво-го женского тела не промелькнуло поблизости, а он почувствовал бодрость и что-то вроде счастья. Он тоже захотел рассказать интересную историю, чтобы развлечь хорошего человека с львиными складками лица. Как в армии офицер сошел с ума и выстрелил в него из гранатомета, а он в это время нагнулся СПРОСИТЬ У МИШИ, и выстрел ушел в лес, и потом узнали, что там никого тоже не убил. «Первые пять минут я любил всех, даже этого идиота,» – хотел начать почему-то с конца наш работник охранной фирмы «Омега», но выскочил Джек с уложенной дорожной сумкой и забинтованной головой. Казалось, что за те десять минут, пока он отсутствовал, синяки на лице уже слегка выцвели, побеждаемые непрерывной радостью.

– Поперли, брателлы! – громко и весело употребил Джек новые для него слова.

Оранжевая «скорая помощь», похожая на раскормленный утюг инопланетный, взревела ему навстречу. Шофер убрал руку с клаксона и по-хлостому перегазовал.

И покатили в столицу, распирая «скорую» каждый своей радостью: этим прилично заплатят, а Джек жив и весел.

Вдруг что-то кольнуло Джека, и он подумал, что это от тряской дороги. Но это он вспомнил, как познакомился в больничном коридоре с одной пациенткой – предложил ей сумку с минералкой поднести от киоска до палаты. Она по акценту поняла, что он иностранец:

– Вы из Америки? А меня в Америке негр-наркоман бейсбольной битой приложил. Он хотел мой кошелек, а я не отдавала. Там было триста долларов.

– Надо было отдавать! – закричал Джек. – Такой в Нью-Йорке как бы уговор: ты отдаешь, что у тебя в карманах, и тебя не бьют.

– Как же отдать! Ведь это были мои единственные триста долларов. До сих пор помню широкую улыбку этого негра и его великолепные белые зубы. Он еще захохотал от удивления, что я не отдаю, перед тем как ударить.

– А я все отдал здесь, в Пермь, – сказал Джек. – Но меня все равно били. Дама вздернула вверх короткие пружинистые ручки:

– Если б я знала, что полиция все вернет мне! Если б я знала, я бы без возражений эти доллары отдала. В полиции мне вернули всю сумму. Там офицер – выходец из России по имени Вася – расспросил про мою пенсию, поразился, когда я перевела ее в доллары. Он все забыл о своей бывшей родине! И поверили мне на слово, и выплатили из каких-то специальных фондов, только попросили, чтобы я им из России – потом – прислала справку о доходах.

Тут спутниковый телефон резко оборвал воспоминания Джека. Это звонили уже из Москвы его родители.

ЖИЗНЬ МАКСА

Вы когда-нибудь пробовали его баклажаны? В теплице Макса вырастают не баклажаны, а аэростаты! Бывало, придешь к нему, чтобы помочь картошку копать... Да, впрочем, один раз только пришли, потому что у его Глафиры ноги разболелись. Так вот, пес Новобранец сначала приглядывается ко всем, а потом как начнет лапами землю рыть, только клубни летят!

А после этого Макс и выставляет синенькие в своем особенном маринаде. То есть сначала он каждый баклажан разрезает вдоль, начиняет луком, чесноком, морковью и перцем, потом зашивает и заливает чем-то, что держит в тайне. Самогон он тоже наливает щедро, при этом предупреждает:

– Шестнадцатый стакан не пей!

И только портит разнеженный вечер что? Голодный вой соседской овчарки. Макс участкового уже вызывал, а тот посоветовал, страшно сопя после самогона и фирменных баклажанов:

– Вы ее отравите, эту овчарку!

– Пробовали, – жаловалась Глафира. – Подсунули миску с кашей и ядом, так непохмеленная соседка подхватила ее и понесла к себе в дом – с трудом вырвали. А если б мы не успели?!

Тон сопения лейтенанта изменился в том смысле, что плохо, конечно, вас жалко, а ведь пришлось бы засадить хороших людей, у которых такой атомный самогон, и отлично, что успели вырвать у соседей отравленную пищу, за это надо бы и тост.

В день рождения Макса, 29 июня, Глафира вернулась поздно, с легким сизым налетом лица. Отдышалась.

– Собрание было долгое. – По губам бегал трепет оправдания. – Парторг задержал еще, все про митинг протеста напоминал, не успела тебе подарок купить.

– Коммунизм тебе дороже мужа? – закатил глаза Макс.

– Что ты, что ты! Завтра обязательно сделаю подарок.

– Сделай мне подарок – не делай революцию!

– А вот этого я тебе обещать не могу. Посмотри, как власть унизила народ.

– Власть унизила народ – зае...ла прямо в рот. – Часто ему было нестерпимо наблюдать мертвые призраки слов, поэтому так беспощадно он свернул шею разговору.

И пошел кормить собаку. Молодой Новобранец весь засветился на встречу ему глазами (с коричневыми шерстяными очками вокруг), но не бросился с заискивающей любовью – дай, мол, покусать, – а весь вытянулся в струнку и только что честь не отдал.

Макс ухватил его за ухо и сказал:

– Вольно!

Поставил перед ним бадейку.

Полтора года назад Макс вернулся пьяный, ночью. И вдруг остановился, и перед ним появилась дверь в виде проблемы: запертая изнутри на защелку. Ну он находился в это время в другом мире, где проблемы решаются легким движением пальца и где снег не холодит, а греет. Поэтому Макс решил: под яблонькой в снегу так тепло, полежу немного, а потом на остроумии попрошусь домой... Очнулся в пять утра. Оказывается, огромный лохматый Новобранец распластался сверху и грел командира всем телом. Макс только одну почку отморозил, а так все в порядке. Да какое там в порядке! Сильно горевал: пришлось совсем бросить пить. Только гостям наливал – вот и вся радость.

Сестра ему все браслеты совала гематитовые:

– Носи на той руке, где почка. – И двигала милосердными морщинами во все лицо. – Гематит – это такой минерал, от всего исцеляет. Понимаешь, там создаются суперслабые биополя, они взаимодействуют...

Старость подсушивала ее бережно, в щадящем режиме. Яркие глаза пульсировали в такт убеждающим словам, поэтому чудесные браслеты имели необыкновенный успех.

Гематит, конечно, его почкам не помог, но зато помог Глафире – сестра дала двенадцать тысяч, заработанных на браслетах, на суперное лекарство. И оно сохранило жене ногу. Так что спасибо всем, кто покупал у сестры!

Горыновна вдруг сказала:

– Поживу немного у вас. Скучно мне одной.

Тогда он звал ее просто тещей. Макс ответил ей:

– А хрен ли тут, тещечка, думать. Конечно, переезжай.

А она, как переехала, так сразу стала каждый день пол мыть. Грибок вот-вот от сырости заведется. А из этого дома – уже никуда. Его и еще два деревянных дома не снесли, они как в клетке – в окружении многоэтажек. Музейный хуторок такой: с печами, с огородами.

Вот как-то входит Макс из гаража – ковырялся под «Москвичом», – а теща снова возит шваброй. Он говорит ей:

– Опять ты тут сырость разводишь.

И хотел пройти руки помыть. Да получил мокрой шваброй по затылку. Тут телохранитель бывший как взыграл в нем! Фуяк ей по челюсти! Он еще успел руку перенаправить, и удар получился по касательной, так только – вся голова заплыла, потому что теща, с этого момента уже Горыновна, улетела и об стену затылком. Он подумал, что это все – десять там или двадцать лет тюрьмы... Свобода, где ты?

Сейчас поднимут всю биографию, и прокурор, м...звон, скажет: «Подсудимый применил профессиональные навыки и искалечил...»

Эх, Вадька, покойник дорогой! Ты один бы меня понял и сказал за полбанкой: проклятье тем инструкторам, которые вбивают такие рефлексы!

А Горыновна вдруг как вскочит! У Макса в груди сбавило, и он закурил: живем, больше пятерки не дадут! Теща же к телефону, как к другому, любимому зятю, бросилась:

– Убивают! Приезжайте по адресу..

Макс собрал маленькую торбочку (сигареты, хлеб, сало-мыло, зубная паста), деньги, пятьсот рублей, засунул под стельку. Мельком он, конечно, пожалел Горыновну и ругал себя, правда, не долго: впереди лагерь маячил, но все-таки, наверное, года на три всего, поскольку Горыновна «скорую» не вызвала. Но менты ей посоветуют снять побои. А вот и они, борзые гонцы судьбы.

В отделении Макс себя уговаривал: спасибо отделу «Гамма», многому меня научили, даже лягушек и змей поел в свое время, в лагере на девяносто процентов выживу! Считалось: если самолет, который перевозит председателя правительства, разобьется, и вдруг они окажутся в лесу или пустыне, так начальник должен все это время получать пищу.

Дознаватель посадил его на шаткий стул, чтобы седой плотный дознаваемый чувствовал себя неуверенно. Макс подумал: я вас умоляю, не надо больше фокусов, все это детский сад. Но ничего этого он не озвучил, потому что чувствовал: хрупкость жизни сильно возросла.

– Рассказывайте, – вдруг хитро сказал капитан, который на самом деле обязан был задавать конкретные вопросы: что, где, когда?

– Она первая начала, меня грязной шваброй по голове, и я сам не знаю, как я ее...

– Кого – ее?

– Тещу.

– Тещу? – Капитан переглянулся с другим дознавателем. – Нехорошо.

Однако тон уже не был осуждающим. В глазах обоих дознавателей читалась зависть: у нас есть тещи, но мы их дрессировать не смеем...

Капитан скороговоркой прочитал лекцию об отношении к женщинам...

– Сеструхам, мамухам и марухам!

Это выкрикнул еще один дознаваемый, которого, оказывается, уже давно ввели, и он смиренно ждал, когда освободится давно известный ему расшатанный стул. По бокам могучего тела его трепыхались полуоторванные рукава, и он напоминал подбитого Змея Горыныча.

– Я по нужде хочу! – вдруг закричал подбитый Змей Горыныч.

– Не выйдет! Ты убежал уже по березе из туалета со второго этажа!

– Но мы же сейчас на третьем!

– Да ты нас за дураков считаешь!

– Нет, нет! (Да, считаю, звучало в пышущем взгляде).

– Береза за это время подросла! – чуть ли не хором выкрикнули дознаватели.

Но Змей Горыныч не унывал. Во всем его облике, могуче-молодцеватом, читалось: ничего, береза еще подрастет – сбегу с четвертого!

– Можете идти, – сказал капитан Макс, пряча во взоре вот такое высказывание: «У всех ... в наличии тещи, и часто так хочется... Ох, так вмазаты! Но поскольку... то делегируем хотя бы свою благодарность».

Макса понесло по коридору, по лестнице, мимо дежурного на входе, мимо своего дома и лохматого Новобранца. Пес, недоумевающая, бухнул вслед: беспорядок! Хозяин должен приходиться домой!

А он бежал на автобазу, мотор радости работал и нес, успевай только ноги переставлять! Это ведь счастье – внизу земля, вверху белая ночь, а он в этом промежутке летит! Раз в жизни подвезло! Слышишь, тюрьмища? Хрен тебе с бугра!

Никогда Макс не везло. Так любил в детстве футбол – себя не помнил! А попал после армии в министерскую охрану. Особенно тяжело, когда встреча с трудящимися. Ведь для тебя каждый из них – это не трудящийся, а возможный сумасшедший или маньяк.

Он поработал в этой системе пять лет. И понял, что может остаться и без ума, и без здоровья. Договорился с Вадькой Пахомычевым: давай начнем пить и будем пить до победного конца, пока не уволят. И пили, и выпрыгивали с воплями то с третьего, то с пятого этажа (чтобы прослыть хулиганами). Наконец их уволили. Правда, Вадька вскоре умер с перепою. А Макс тоже не мог выйти из пике сам – каждый день меньше стакана не выпивал. Но его остановил инфаркт – через двадцать лет. После этого он пил строго только раз в неделю (и то лишь до от замороженной почки).

За эти двадцать лет успел пожить на Кубани, попасть там под черномыльский «черный дождь», который сжег всю растительность, это бы ладно, да вот первая жена сразу заболела и умерла. Тогда Макс думал: зачем такой здоровый, что переломил атом, а не умер вместе с ней? Хотел горевать до конца жизни, но не получалось: здоровье не давало, тянуло в разные стороны.

Да и женщины не давали горевать. При взгляде на седовласого громистого мужика, похожего на какого-то хмурого актера, они сразу прикипали к месту и мечтали: так бы и слушала до конца жизни этот пробирающий бас!

В 1996 году поехал в гости к сестре в Пермь. И моментально женился на ее соседке Глафире. Жена была не очень здоровая, и хотелось хоть ее спасти. Такую глупую, еще и коммунистку железобетонную. В общем, все у него собралось в одни руки для счастья! Плюс ее высшее образование. Макс никогда ей это не говорил, но думал: «Мне бы твое образование, я бы давно замминистра был».

И тут такое невезение: теща – кержачка твердокаменная.

На автобазе Валя, сияя глазами и ногами, сказала:

– Ты что – с такой торбочкой малюсенькой в рейс? Я сбегаю в киоск, что-нибудь куплю.

– Я сам по дороге куплю.

Охранник по-мужски значительно кашлянул в кулак и осенил его одобрительным взглядом. Макс потянулся за журналом техухода – посмотреть, что там слесаря начудесили, а Валя зашептала: бывший муж позавчера приходил, принес сыну мороженку, а Васька и так лежит с ангиной – перекупался в Каме.

Макс поделился своим:

– А я, представляешь, сам не знаю как вышло, теще навесил справа, полночи в ментовке пробыл.

Обоим стало легче, но не до конца. Валя по молодости лет думала, что нужно что-то еще, чтобы стало до конца легче, и поэтому тихо спрашивала:

– Ну когда же ты придешь?

– После рейса отосплюсь и приду. Коль, – попросил он охранника, – часов в девять позвони ко мне домой и скажи, что я в рейсе.

– Догадываюсь, – сказал Коля. – Я тоже недавно с тещей поругался.

На лице у Коли мелькнуло выражение неоцененного Шерлока Холмса: прозябаю здесь, а мог бы такие дела раскрывать!

Эта автобаза – давно уже «ООО «Аретуза» (шоферы тут же переделали в «Рейтузы»), но Макс по привычке про себя числил ее автобазой.

К вечеру он уже мчался среди тайги, с опасением его со всех сторон разглядывающей: что ты везешь в своей большой прямоугольной коробке? Не вредное ли для моих елей и тварей? На всякий случай приму меры.

Забарахлил мотор. Макс остановился. Развел дымный костерок, чтобы отгонять гнус. Два часа ремонтировал, устал, решил ночевать.

Хотел еще порыбачить, копнул, чтобы червей добыть, а снизу женское золотое лицо уставилось на него, словно вопрошая: «Ну что, зятек, думал удрать от меня, отдохнуть?» Он отпрыгнул, всего обметало потом: так вот кто у меня мотор-то сломал! Покурил. Никотиновое блаженство догнало и вернуло здравый смысл: это же та самая Золотая Баба, о которой кричат в пермских газетах и на экранах! Ищут они ее, видите ли, тысячу лет, а она тут под руку лезет, зараза! Прикинул: сколько можно жить на эти деньги, если бы он эту золотую куклу реализовал и его бы не грохнули? Получилось много жизней. Все равно столько не проживу! Может, голову золотую ножовкой – того? Но все больше и больше становится на тещу похожа... вот что жутко.

– Гнус, хоть ты не пой своих страшных песен! – закричал он взвешенному в воздухе киселю насекомых.

А она смотрела на него желтыми навypyчку глазами, похожими на блестящие спины жуков, и беззвучно говорила: отрой меня всю, вырой, зря меня, что ли, тащили финно-угорские предки твои от самого древнего Рима.

Нет, хрен тебе, тещечка, глумливо подумал Макс и быстро-быстро зарыл ее в перегнивший торф. Долго топтался сверху, сразу улетела мечта порыбачить с дремотой. Погнал машину, умоляя неведомые силы, чтобы не оживляли Золотую Бабу, а то как погонится, как даст золотой шваброй – и башка пополам!

Макс вернулся из рейса, а жена оказалась в больнице. Правая нога еще у нее держалась, а левая опять отказывалась ступать по этой жизни. Поэтому Макс даже не прилег, а стал выгонять «Москвича» из гаража, шепча: ни церковь, ни коммунизм что-то не помогают моей Глафире.

Новобранец почему-то хватал его за штанину, неразборчиво что-то ворча. Макс подумал: наскучался, я в рейсе, хозяйка в больнице, а тещу, слава Богу, в уме за свою не держит. «Четыреста двенадцатый» упрямылся, фырчал, пока Макс на него не прикрикнул:

– Совесть у тебя есть? В рейсе у меня было приключение, да еще ты тут! Ну-ка живо заводишь, ведро с болтами!

Тот обиделся, но поехал, а пес басовито ругался Максу вслед: вернись, земля сырая, я тут такое чувствую, что словами сказать не могу!

«Четыреста двенадцатый» злорадно заглох на подъеме от дома к дороге. Макс пошел за инструментом к багажнику, только хотел его открыть – машина вкрадчиво скользнула по мокрой земле. Фуяк – прижат к дереву! Потихоньку попытался вытащить себя, но эта железная тварь подавалась еще на сантиметр. Ну, конечно, тут сразу захотелось кашлянуть! Сдержался, вспотел – от любого движения может раздавить.

Он спросил про себя кого-то: можно? И осторожно подвигал глазами. Оказалось – можно. С дикой завистью посмотрел на дождевого червяка, который свободно и даже размашисто полз по своим делам.

Свист!

Человек с прекрасным пузом идет, родной! И с каким-то тоже словно пузом на лице! Принц!

– Мужик! – прошептал Макс. – Мужик!

Свист замер.

– Подложи кирпич под заднее колесо.

Максу показалось, что от его шепота полдерева глубоко отпечаталось на спине.

Пока мужик летал на бреющем над землей – искал кирпичи и вбивал под задние колеса, Макс старался не дышать. Потом по сантиметру стал сдвигать онемевшее тело влево. Трещала одежда, трубило сердце: вдруг могучий спаситель исчез? Напоследок что-то лопнуло, полилось по спине, и Макс вывалился и упал.

Оказывается, мужик никуда не исчезал: наклонился громадным ангелом, насколько позволял живот, и вопросительно смотрел.

– Только не трогай меня! – взмолился Макс.

Он ждал прихода боли. Их учили: если появилась боль, значит, все в порядке, не парализован. И вот боль пришла доброй вестью. Макс издал крик и пошевелил конечностями. Можно вставать, принял он решение.

Перевернулся на живот, встал на четвереньки.

– Посмотри, что у меня на спине, – попросил он.

– Наверное, сильно за тебя молятся, – сказал Матвей (оказывается, Макс успел спросить, как его зовут). – Простая царापина. Глубокая, но кровь уже свернулась. Ну что, я пошел?

– Постой! – Макс встал, оперся о дерево. – Матвей, ты понял, что без тебя мне был бы звездеч?

– Понял, – сказал ангел, колыхнул вторым подбородком и пошел по своим делам.

Макс думал: «За тещу меня придавило или за табельщицу Валю, злодейку, которая смотрит так, что не обойдешь? Наверно, не за тещу: за нее меня Золотой Бабой жажнули. Надо делать выводы.

Да, крепко за меня взялись».



Воз душных кошмаров

РАССКАЗ

Кюллики всю ночь снились кошмарики – она поняла это, как только проснулась, потому что постель была мокрой от тринадцатого пота, и даже кончики волос были влажны, будто она мыла накануне шампунем голову, а потом сушила, сушила, сушила, а волосы всё не сохли, а скоро уже идти на свидание с Суло... – о, кошмар!

Ведь свидание с Суло всегда сулит что-то хорошее: может быть, мороженое, ведь у Суло всегда есть деньги, а может, и мороженые пельмени, которые Суло так хорошо жарит на растительном масле, нет, что ни говори, а Суло – он такой милый, словно суслик с взъерошенной шерсткой, и у него есть непригорающие сковородки и нерафинированное масло, хотя в Суло она и не была влюблена, а волосы всё не сохнут. В общем, Кюллики снились кошмарики.

«Ну хоть бы они были не такими ломкими и не с такими секущимися концами! – думала Кюллики за завтраком, крепким кофе, – всё-таки надо поддерживать фигуру и тонус. – И хоть бы я не проснулась от собственного крика, как позавчера, когда мне приснилось, что ко мне приближается сверхъестественная сила и смотрит на меня спящую, смотрит, смотрит, смотрит. От этого с ума можно сойти».

Из-за страшных воспоминаний и слишком вязкого кофе у Кюллики пересохло во рту, и ей захотелось ложку растительного масла или хотя бы стакан минеральной воды. «Ну что, пора идти мыть голову шампунем с растительными экстрактами: жожоба и крапивы, – подумала Кюллики. – Или кефиром. А потом мазать шею и лицо маслами зародышей пшеницы и соевых бобов».

И только она подумала о зародышах соевых бобов и пшеницы, как сразу вспомнила о зародыше любви и зародыше ребенка, которого ей удаляли клещами, а все потому, что этот мерзавец обманул ее...

К тому же все эти процедуры, все эти посещения врачей требуют столько времени, не говоря уже о волосах с их укреплением, окраской и завивкой.

А времени так катастрофически не хватает, и надо еще на него заработать, и даже в выходные дни время поджмает, как новые туфли, когда они с Суло гуляют по Финланд Кату, едят мороженое и пьют кофе со сливками. В общем, всё проходит так мило, хотя и коту под хвост, и Суло такая прелесть, что Кюллики было уже подумала: а не влюбиться ли мне в Суло? Подумала и не влюбилась.

Но, с другой стороны, почему Суло выбрал именно ее, Кюллики? «Что он во мне нашел?» – думала Кюллики. Ведь для Кюллики самым важным в мужчинах было то, что они сами находили в ней.

«Ну вот еще! – думала Кюллики. – Буду я в него влюбляться до того, как узнаю, почему ж он выбрал именно меня!». Ведь в любви к мужчине для Кюллики была самым важным тайна любви этого мужчины.

И они гуляли по Финланд Кату, а потом ели блинчики «Морозко» с майонезом, мороженые пельмени, мороженое с киви, кофе с шоколадным

мороженым. И у Кюллики было такое впечатление, будто с Суло она сосет грудь мамки, – уж таким он был правильным ухажером, этот Суло, – и в животе начиналось несварение. А когда Суло предложил ей еще и молочный коктейль, у Кюллики в животе начались такие колики, что хоть реви, хоть плачь тихонечко... Но и от этих слез внизу живота не мокреет, а волосы, кажется, уже вновь загрязнились.

А еще этот банковский клерк Суло всю дорогу только и рассказывает, как о своей работе. О дебатах и кредитах. И как все замечательно сходится. А потом вдруг, ни с того ни с сего, разнежился, разоткровенничался и даже признался в проколе, который их банк совершил, выдав кредит этому пройдохе и паразиту Тайсто. Этого Суло по подписанным им обязательствам делать было ну никак нельзя, потому что любой прокол ставит под сомнение репутацию фирмы.

– Конечно, деньги мы дали Тайсто небольшие, но все-таки ты лучше об этом никому не говори.

– Хорошо, не скажу, – тронули до слез откровения Суло Кюллики. – Не буду тебя выдавать, а то вдруг тебя еще премии лишат. Я ведь тебя и так объела.

– Да брось ты, не переживай так за нашу фирму! – И Суло, и Кюллики казалось, что они уже могут доверять друг другу. – Скажу по секрету: я даже в глубине души считаю – здорово, что этот Тайсто наколол нашу фирму, Кюллики. Деньги ему вернуть было не с чего – откуда у него деньги? И имущества никакого. Банкир так бесился – ты бы видела! А я так радовался, когда увидел, как расстроился шеф! – Было заметно, что Суло и сейчас очень радуется, рассказывая об оплошности банка. – А все-таки он молодчина, этот Тайсто! – И ему, Суло, в радость это приключение со знаком минус. – Нет, все-таки он молодец, этот пройдох Тайсто: ведь теперь ему можно рассказывать по большому секрету об оконфузившемся шефе близким друзьям, пока те заливаются смехом и слезами! На-ка лучше, Кюллики, возьми салфетку.

– Суло, скажи, – спросила Кюллики сразу после того, как Суло вытер ей салфеткой слезы, – а почему ты ухаживаешь именно за мной? Я тебе нравлюсь?

– Потому что, – растерялся Суло, – потому что ты мне нравишься. Ты это верно подметила, Кюллики.

– И все? Так мало? А разве тебе не нравятся другие женщины? Разве тебе не нравятся Кайса и Малле или Туови и Люлли? Разве тебе не нравятся твои друзья или коллеги по работе и их милые детки? Разве тебе не нравятся дубовые стулья в этом ресторане и вон та кошка у дверей? И даже афера Тайсто, разве тебе не понравилась афера Тайсто, о которой ты сейчас с таким восторгом рассказывал?

– Ну не знаю, как тебе сказать, все вы мне, конечно, нравитесь... – И их откровенный разговор продолжился, хотя Суло так и не смог вразумительно объяснить, кто ему больше нравится. – Да и этот Тайсто – тоже молодец... – В общем, банковский клерк Суло окончательно запутался.

«И чего это Суло вдруг нашел в Тайсто положительного?» – не понимала Кюллики, возвращаясь на трамвае домой. Ведь он был, что называется, попрошайкой, не чета Суло. Ведь Тайсто – он сидел на бордюре улицы Проломной и собирал милостыню, а не сидел в банковском офисе на большом крутящемся стуле-кресле и не открывал депозиты, как Суло. К тому же он, Тайсто, был попрошайкой даже еще в те времена, когда звонил Кюллики и просил: «Кюллики, пожалуйста, поговори со мной!».

Он все время о чем-то просил Кюллики. Ему все время было что-то нужно от людей, которые его окружали. Сам же он ровным счетом ничего дать не мог, потому что не мог сделать чего-нибудь путного, а даже если и начинал что-то путное, то тут же бросал это на полпути. И от этого Кюллики не могла найти в нем ничего положительного. И ей ровным счетом не за что было сказать ему спасибо...

Когда наконец занятая Кюлики, вся уставшая, сбита с толку и вот-вот – с ног, вернулась домой, она тут же завалилась спать. Живот был полон всякой снеди – аж пошли какие-то колики: никогда еще Кюлики так не наедалась. И, может быть, от переедания, а может, от усталости ей приснилось, будто она, такая маленькая, маленькая, как ребенок, идет по коридору, даже не идет, а как бы плавно плывет в полуметре от пола, сначала к холодильнику, а потом к книжному шкафу и разглядывает корешки книг. Толстых книг с золотым тиснением.

«Ага, надо будет запомнить названия этих книг, – думает Кюлики во сне, – чтобы потом сверить». И вдруг она чувствует, как на нее надвигается что-то очень тяжелое. Прямо из коридора приближается что-то чересчур большое, двигаясь между стеллажами с книгами. Да это же чья-то грубая, неухоженная рука размером с ее голову! – и она берет Кюлики прямо за лицо, как за корешок книги, там, где у книги с листа сусального золота оттиснуты по трафарету буквы, – да так аккуратно, словно это не буквы, а накладные ногти. Берет своей грубой лапищей, врезаясь грязными ногтями в изящную буквицу, отчего та трещит, – и тащит, тащит к дивану с засаленной подушкой.

А потом при ярко зажженном свете читает эту книгу, не давая Кюлики спать, стиснув, прижав ее к стене тискающими ягодицами и время от времени врезаясь в ребро то книги, то Кюлики, своими стальными, как те клещи, которыми из нее вырывали зародыша, пальцами.

В общем, Кюлики всю ночь мерещились глюки, да такие страшные, особенно та лапища с ненакрашенными ногтями! Будто это она, Кюлики, их забыла покрасить, хотя ей уже пора бежать на работу, а поздно вечером у нее еще свидание с культовым, как любил он сам подчеркивать, журналистом Эсой, хотя Кюлики каким-то там культовым он не казался.

А на свидание с Эсой она ходила, чтобы хоть что-то найти в мужчинах, чтобы хоть что-то найти и за это зацепиться. А еще – чтобы хоть как-то провести время. Ведь на свиданиях культовый журналист Эса водил Кюлики исключительно на выставки и премьеры. Где они ели на халяву барбекю, и пили на халяву водку «Финляндия», и, как правило, на халяву рассматривали с неприлично близкого расстояния бабу Нью местного художника Кистти, про которую Эса говорил, мол, опять он рисует свою жену Ньюнике, потому что на натурщицу у него не хватает денег.

Ну за что, скажите, цепляться в этом худосочном Эсе после подобных слов? К тому же эти премьеры всегда начинаются так поздно, будто артисты и художники вовсе не работают! В общем, Кюлики была крайне недовольна. А потом Эса как бы с ленцой и очень по-эстетски, не отрываясь от Нью глазами, – дескать, ничего, ничего, – протягивал свои длинные ухоженные пальцы к бугылочке «Лаппенкульте». Отчего Кюлики еще больше стеснялась своих ненакрашенных обломанных ногтей и прятала их вместе с посиневшими от холода ладонями под свисающим с плеч шарфом. Ведь Эса замечал самые незначительные вещи. Например, он уже более получаса разглядывал родинки на шее этой Нью.

– Смотри, у меня родился экспромт! – сказал Эса и тут же продекламировал:

– Кто увидит муху в черном квадрате,
Не увидит в заднице мухи черной дыры!

Да, Эса очень любил пить пиво «Лаппенкульте» (Золото Лапландии) и делать культ из самых незначительных на первый взгляд вещей. Например, черные квадратики на шее у Нью на картине под названием «Мадонна и ее ребенок», очень почему-то напоминающие Кюлики обыкновенных мух, самому Эсе напоминали концепцию.

– Эса, а мне сегодня снился сон про тебя, – вкрадчиво, пытаясь отвлечь внимание Эсы от другой женщины, прошептала Кюлики.

– Да? И что же это был за сон? – как бы с ленцой интересуется Эса, продолжая внимательно разглядывать черные квадратики на шее мадонны, списанной Кистти с жены и рафаэлевской картины одновременно.

– Это был сон про книги, которые ты написал или, возможно, напишешь. Они такие красивые, Эса! Но их разрушает какая-то неведомая, страшная сила.

– Я знаю, о чем ты говоришь, – зевнув, словно с ленцой, заметил Эса. – Эта та самая сила, что подкидывает мне во сне идейки, подталкивает меня написать книги, которые никто и никогда не сможет постигнуть.

– Почему, Эса?

– Потому что эта сила подкидывает мне идейки огромной разрушительной силы. Это очень страшные идеи, и никто, кроме нас двоих, не увидит их красоты.

После этой фразы Эсы Кюллики чуть не поперхнулась, потому что слова культового журналиста уж очень походили на предложение.

– Кроме нас двоих, Эса? – переспросила Кюллики, дотронувшись пальцами до вспотевшего, рельефного, словно бутылка из-под «Лаппенкульте», лба Эсы.

– Да, кроме меня и... – Тут Эса как ни в чем не бывало протянул руку еще к одной бугылочке пива, хотя был уже от выпитого достаточно вялым, совсем как мокрая половая тряпка. – И еще, может быть, этого паразита Тайсто...

– А скажи-ка, Эса, почему ты возишься именно со мной? – спросила Кюллики после минутного шокового оцепенения. – Ведь я такая глупая, не то что Тайсто. Ведь я ничегошеньки не понимаю из того, что ты пытаешься мне втолковать.

– Эта сила – она сводит меня с ума, – продолжал твердить свое, словно войдя в транс и уже не обращая внимания на Кюллики, Эса. – Она преследует меня по ночам и не дает мне покоя даже сейчас. – С этими словами он отхлебнул порядочный глоток «Лаппенкульте», и на его лбу высупили такие же крупные капли, какие были на гладком стекле оттаявшей бутылки.

Но, даже когда Эса напивался «Лаппенкульте», он не предпринимал никаких шагов в сторону сближения с Кюллики.

«И чего они все находят в этом проходимце Тайсто? – вопрошала себя Кюллики. – Вот и журналист Эса что-то да нашел в нем положительного. Иначе сказал бы он, что Тайсто его поймет! И булочник Пекка тоже как-то похвалил Тайсто. А клерк Суло, что собирает клевер зеленой валюты в банке, – он смертельно боится Тайсто, но тоже как-то сказал, что Тайсто молодчина. А я ну ничегошеньки не могу в нем найти хорошего! Впрочем, – вдруг неожиданно вспомнила Кюллики, – я тоже вначале была очарована Тайсто».

Это когда однажды этот негодяй Тайсто набрался смелости, позвонил пьяный и буквально сказал следующее:

– Кюллики, я люблю тебя. Будь, пожалуйста, моей.

– Как? – спросонья не разобралась Кюллики.

– Очень просто: возьми и будь.

– Ты издеваешься надо мной, Тайсто?

– Да, издеваюсь, – рыгнул-кивнул в трубку Тайсто. – Это ты хорошо уловила. Ведь я, Кюллики, вампир, и мне просто необходимо для остроты ощущений кого-нибудь помучить. Вот я и решил помучить тебя. Ну так что – будешь моей или нет?.. Ну хотя бы на эту ночь, а, Кюллики?..

Эта ситуация очень позабавила Кюллики. Ведь никто и никогда еще не делал ей подобных предложений. А тут – пьяный мужчина. И с ним, не заботясь о последствиях, можно поболтать о чем угодно – все равно он на завтра все забудет. И эту ночь можно провести так весело!

– Скажи мне, Тайсто, – вдруг спросила Кюллики, – а зачем я тебе нужна?

– Ну это очень просто! – И тут Тайсто как начал непринужденно перечислять ее достоинства!

Вспомнив это, Кюллики стала корить и себя, и Тайсто: «О, какая я была тогда дура! Зачем я позволила себе тогда веселиться, зная, что веселиться на ночь нельзя, что от веселья на ночь ночью снятся кошмары-ки?» И откуда он только, этот Тайсто, узнал номер ее телефона? И откуда только он узнал обо всех ее достоинствах?

Впрочем, и сегодня ночью Кюллики опять спала плохо, всё меняла позицию, будто она спала не одна, а со страстным мужчиной, и даже не страстным, а ужасно надоедливым большим мужчиной, который, не переставая, гладил ее по ногам, тискал, сжимал в своих объятиях. Словно пытался сделать из нее что-то совсем иное, слепить из ее тела, как из теста, новую, подходящую для него форму. И его прикосновения были до того неприятны, до того липки и шершавы одновременно, до того приторно сладки, что Кюллики очень хотелось сбросить кожу в том месте, где до нее дотрагивались. Она уж и на спину ляжет, широко расставив ноги, и на живот, подогнув колени под подушку собственного живота, чтоб этот мужчина, не стесняясь своего внешнего вида, наконец-то вошел-провалился в нее, проявив и удовлетворив тем самым свои скотские похотливые желания. Наконец-то бы уже взял ее, перестав мучить, да хотя бы и сзади, по-собачьи.

А потом Кюллики приснилось, как кто-то ползет сзади по ноге. Кто-то очень склизкий и неприятный. В общем, Кюллики стало плохо от этого кошмара, аж в животе закололо. Хотя с утра не нужно было бежать на работу: все-таки выходной. Зато ей уже к двенадцати бежать на свидание с булочником Пеккой, чтобы хотя бы что-то найти в этих мужчинах. А потом еще она обещала позвонить своей подруге Лийсе и рассказать, что она сегодня такого нашла. Но тело после бессонной ночи было вялым, и маленькие морщинки-трещинки на веках и на шее, к тому же лицо выглядит как-то очень бледно, а под глазами синяки. И все это надо срочно поправить, замазать пудрой. Той самой волшебной пудрой, что запудривает не только отражение в зеркале, но и мужчин. Той самой сладкой пудрой, что от торопливости попадает в рот.

И все это необходимо сделать быстро, пусть даже съев лишку сладкого, чтобы не проиграть в глазах Пекки. Ведь в булочной у Пекки все плюшки подтянуты и поджарены. Все булочки круглые и аккуратные – ну ни в какое сравнение с ней, Кюллики. Да и сам Пекка весь такой круглый и сияющий – просто воздушный шарик в тесте. И имя очень подходящее для булочника, хлебное... Вот бы родить от него, такого пухленького увальня, рыжих близняшек и тем самым обессмертить его булочную.

«Хотя сам Пекка мне не очень-то нравится, его дети наверняка будут очень красивыми и здоровыми», – думала Кюллики. Ведь в каждом из своих мужчин, кроме Тайсто, Кюллики все-таки что-то да находила, потому что хотела хоть что-то найти. Журналист Эса был у нее таким интеллектуалом, а Суло – просто банкиром с золотым сердцем, а кондитер Пекка – добрейшей души человеком с золотистыми булочками в приданое. Вот сейчас он сидит и на полном серьезе рассказывает Кюллики о том, как приятно наблюдать за набухающим под тряпками тестом. И эти его слова выглядят ничуть не двусмысленно, потому что Пекка не умеет говорить речи с двойным дном.

– Пекка, – вдруг, перебивая, спросила Кюллики у булочника, хотя от подружки Лийсы знала: перебивать мужчин ни в коем случае нельзя – они от этого теряются, – Пекка, а ты хотел бы иметь детей?

– Детей? – остановился Пекка. – Детей заводить пока я еще не могу себе позволить, Кюллики. А кто, скажи, их будет кормить? А кто воспитывать – ведь я целые дни провожу в своей булочной. Нет, решиться на такой безответственный шаг мог бы, пожалуй, только Тайсто, ведь он все равно их не будет воспитывать и содержать. Чего ему голову ломать, этой сволочи?

– Тайсто? – оторопела Кюлики. – А что ты знаешь о детях Тайсто?

– Говорят, он никогда не заботится о предохранении. И даже кого-то уже успел обрюхатить. Хотя гадалка Сонники заявила мне однажды, что он обрюхатит одну девицу ложной беременностью, а они как-то связаны с ночными страхами. И что эта девица пару раз приходила к ней на сеанс.

– Пекка, а ты-то что делал у гадалки Сонники?

– Хотел, Кюлики, узнать: нравлюсь ли я тебе? – глядя в глаза Кюлики, спросил Пекка, и, не получив никакого ответа – сначала от гадалки, а теперь и от Кюлики, – поспешил перевести разговор на другую тему. – Кстати, Кюлики, ты не знаешь, кто бы это мог быть, какая это девица ходила к гадалке Сонники?

– Скажи, Пекка, а как, по-твоему, – ответила вопросом на вопрос Пекки Кюлики, что ему показалось очень странным, – как, по-твоему, я была бы хорошей матерью? Я бы смогла быть примером своим детям?

– Откуда ж мне знать? – удивился Пекка.

– Ну как же? Ведь вы, мужчины, такие большие дети. Ну скажи, Пекка, как, по-твоему, какие качества во мне очень хорошенькие?

– Хотя, наверное, – перестал в свою очередь обращать внимание на глупые вопросы Кюлики флегматичный Пекка, – Тайсто – молодчина. Что-то в этом есть чертовское – жить, не задумываясь о завтрашнем дне. Жить, не жалея ни себя, ни других... А может быть, с вами, бабами, так и надо, а?..

– Ничего, ничего! – говорила своей подружке Лийсе Кюлики после свидания с Пеккой. – Скоро вы все еще больше разочаруетесь в Тайсто, хотя, казалось бы, дальше разочаровываться некуда. Впрочем, у этого Тайсто, кажется, есть тайный талант – все в мире переворачивать. Все ставить с ног на голову. Вот и мою спокойную жизнь он также однажды хорошенько встряхнул, – треплется по телефону Кюлики с Лийсой, – и я им полностью очаровалась.

Хотя он этого совсем не заслуживает. Он ведь жуткий лентяй, этот Тайсто, лентяй, мерзавец и эгоист. И он всю жизнь прожил паразитом и альфонсом. И даже в кафе он водил меня, Кюлики, за счет моего, Кюликиного, кошелка. И зачем я тогда с ним согласилась говорить по телефону? Зачем так веселилась и смеялась полночи? Ведь как только мне, Кюлики, стало смешно и весело в первой половине ночи в компании Тайсто, мне стали сниться кошмары во второй половине ночи в компании Тайсто. И уж совсем стало жутко по утрам и невыносимо днем, когда я попадаю в компанию к аккуратному и пунктуальному Суло, или трудолюбивому и румянному Пекке, или ко все подмечающему культовому журналисту Эсе.

И нельзя сказать, что я ничего не предпринимаю, – перечисляет свои действия подружке Лийсе Кюлики. – В конце концов я даже по твоему совету, Лийса, отключила телефон. Но вдруг возникшая тишина так сильно напугала меня! К тому же ты ведь знаешь ночью мне снятся кошмары. А той ночью мне приснился такой кошмар! Будто я лежу себе, а рядом со мной – о ужас! – прилег Тайсто. А я пытаюсь сбросить его с постели. А он, преодолевая мое сопротивление, придвигается все ближе и ближе ко мне. Продвигается к той, что я оберегаю внутри себя, к той, что я берегу, как зеницу ока, берегу, как свою любовь. И потерять которую эта гадалка Сонники – ну ты помнишь, я тебе говорила – называет ложным страхом. А этот Тайсто все приближается и приближается, норовя прикоснуться к самому важному, что у меня есть. У нас с ним уже идет просто настоящая битва за каждый сантиметр постели. А Тайсто – он оказывается вдруг вовсе не Тайсто, а кем-то вроде Суло или Пекки, и тут я просыпаюсь от ужаса...

Эти кошмары вконец измотали Кюлики. Теперь она подолгу не может заснуть. А перед глазами мелькают возможные женихи: Суло, Эса, Пекка. И в каждом из них Кюлики находит что-то очень хорошее и даже достойное, стараясь думать перед сном только о приятном. Но ночью ей

опять почему-то снятся ужасные кошмары. И только в Тайсто она ровным счетом ничего не может найти положительного – ну как ни крути. Ведь всем известно, что Тайсто – порядочный паразит.

Это очень раздражает Кюлики, а потому и сегодня, может быть от чересчур невразумительного свидания с Пеккой или от излишне нервного разговора с подружкой Лийсой Кюлики вновь снятся кошмары. Ей снится, будто к ней ползет змейкой телефонный шнур. И вот он уже опутывает ее по рукам и ногам: не вдохнуть, не продохнуть. А потом – телефонный звонок, как истошный крик матери, вдруг потерявшей собственное дитя. Он так парализовал Кюлики, так сильно перепугал, будто она проглотила этот звонок, этот огромный ледяной ночной ком, и теперь страх сковал даже пальчики ее ног, и мурашки побежали по всему телу.

И не возникло никаких сомнений: так поздно ночью мог звонить только он, Тайсто. И первые слова, которые произнесла Кюлики в тишину, подняв телефонную трубку, были:

– Ну зачем ты мне опять позвонил, Тайсто?

– Не знаю, – ответил, помолчав, Тайсто. – Я сам не знаю, зачем я тебе позвонил, Кюлики.

– Наверное, Тайсто, – съязвила Кюлики, – нет, наверняка, Тайсто, ты опять позвонил мне, чтобы всласть помучить. Ведь так, Тайсто?

– Да, – вдруг признался Тайсто. – Я позвонил, чтобы помучить тебя. Ведь я вампир, Кюлики. И мне необходима по ночам женщина, чтобы ее мучить, – ты же это знаешь лучше других.

– Прекрати сейчас же, Тайсто! – закричала в трубку Кюлики. – С тех пор как я с тобой связалась, я перестала нормально спать! Меня замучили кошмары! У меня бессонные ночи, и так трудно привести себя в порядок после бессонной ночи! К тому же эти синяки и трещинки, я часами не могу их закрасить по утрам. Не могу со спокойной душой идти на свидания.

– Вот это новость, Кюлики! У тебя есть женихи? – с нарочитой радостью завопил в трубку Тайсто. – И с каких это пор?

– Да, Тайсто, у меня есть женихи. И, представь себе, они у меня всегда были. И даже очень хорошие и состоятельные женихи.

– Кто, кто они, Кюлики?

– Представь себе, Тайсто, это культовый журналист Эса, аппетитный булочник Пекка и даже милейший банкир Суло. Так что, Тайсто, можешь больше не беспокоиться. И перестань мне, пожалуйста, звонить по ночам!

– Ну это же полный бред! – засмеялся в трубку Тайсто. – Как могли тебе понравиться эти нелюди? Этот доходяга Эса, этот сноб Суло, а уж тем более глупый увалень Пекка! – И Тайсто как пошел, что называется, передразнивать эстетские манеры Суло, и интеллектуальный тон Эсы, и флегматичные потуги булочника Пекки!..

Столь недостойные речи Тайсто, сначала только позабавившие, к концу очень рассмешили Кюлики. Ведь самым смешным ей казался Тайсто, который обвинял Пекку в его трудолюбии, Суло – в хороших доходах и возможности вырасти по службе, а Эсу – в чрезмерной интеллектуальности и изощренном уме. В общем, всех Тайсто мог раскритиковать ни за что.

– Тайсто! – вдруг прервала Тайсто Кюлики, хотя от Лийсы не раз слышала: ни в коем случае нельзя так поступать. – Тайсто, это, правда, так забавно, то, что ты сейчас говоришь! Особенно если учесть, что ты ничего не нашел хорошего в хороших людях, которые нашли это в тебе – полном мерзавце. У тебя, Тайсто, просто талант ставить все с ног на голову в этом мире.

– Да, Кюлики, ты права, у меня есть такой талант.

– Но я тебя умоляю, Тайсто, пожалуйста, Тайсто, верни все на прежнее место! Сделай все, как было раньше, Тайсто, до встречи с тобой! Я же знаю, Тайсто, ты это можешь. Ты ведь все можешь, Тайсто. Я это знаю.

– Ты, правда, этого хочешь, Кюлики? – помрачнев, как никогда, заинтересовался Тайсто. – И ты уверена, что потом не пожалеешь об этом?

– Пожалуйста, Тайсто! – Из голоса Кюлики, как из надрезанного березового ствола, сочилась ничем не прикрытая мольба. – Пожалуйста, Тайсто, избавь меня от этих ночных кошмаров. Верни мне нормальную жизнь!

– Это очень просто сделать, Кюлики, – вдруг неожиданно легко для Кюлики огласился Тайсто. – Это очень просто сделать, Кюлики. – Хотя по его опустошенному и усталому голосу можно было догадаться: подобное решение было не из самых легких в его жизни. – Ведь для этого, Кюлики, тебе достаточно сменить позу, поменяв расположение кровати.

– Что? – боясь, что она уже упустила что-то важное, переспросила Кюлики.

– Да, Кюлики, тебе просто необходимо сменить тактику, поменяв стратегию. И если ты сейчас лежишь головой на север, а я знаю, ты сейчас лежишь именно так, отодвинь пианино и разверни свою кровать изголовьем к окну.

– И что тогда?

– Тогда я уйду из твоей жизни, и твои ночные кошмары прекратятся. И ты проснешься как ни в чем не бывало, отдохнувшая. И выйдешь замуж за кого-нибудь из этой счастливой тройцы Пекка – Эса – Суло. Впрочем, ты никогда не будешь счастлива по-настоящему, потому что любовь это ...

– Спасибо, Тайсто, – сказала Кюлики, как только вновь услышала о страдании, – спасибо тебе, Тайсто! – И бросила трубку.

После чего, следуя совету Тайсто, Кюлики, опершись пятками об пол, чуть-чуть подвинула пианино. Затем, приложив все имеющиеся, оставшиеся у нее после тяжелого свидания с Пеккой силы, подвинула его еще чуть-чуть. Затем, издавая жуткий скрежет, развернула свою кровать изголовьем к окну. Взбила пуховые подушки и наконец-то улеглась поудобнее.

Странное дело, но она впервые за долгие месяцы почему-то поверила Тайсто. Может быть, потому, что эта тактика – сменить тактику – показалась гениальной до простоты. И тогда, чтобы успокоиться окончательно, Кюлики решила на ночь глядя начать ругать, как это всегда делала Лийса и как только что сделал Тайсто, всех мужчин подряд. Суло – за его чрезмерную осторожность и аккуратность, Пекку – за его неповоротливость, Эсу – за его холодность. Ругать – словно считая облака. Но всех больше, разумеется, досталось Тайсто, – и чего это она, поймала вдруг себя на слове Кюлики, сказала ему спасибо, и за что, спрашивается, – ведь его надо хорошенечко отстегать плеткой – это единственное, чего он заслуживает, стегать за его лень, за трусость, за никчемство. И вот так, перечисляя мысленной плеткой все многочисленные пороки Тайсто, Кюлики сама не заметила, как вскоре заснула сладким-сладким сном.

И даже не почувствовала, как из-под покрова ночи и штор в ее комнату проник Тайсто и прямо в ботинках и плаще лег рядом с ней, свернувшейся калачиком Кюлики, и ласково, кончиками пальцев, чтобы не потревожить то, что пуще всего оберегала Кюлики, погладил ее вьющиеся волосы и нежную щеку:

– Спи, спи, любимая. Завтра у тебя все будет по-прежнему. Завтра ты разродишься, избавишься от ложной беременности, называемой Сонники кошмаром, Лийсой – дурью и блажью, а мной – любовью. Спи, спи сладко.

– Спасибо, любимый, – сладко улыбнулась во сне Кюлики и даже попыталась расплывшимися губами поцеловать пальцы Тайсто. – Спасибо, любимый, – сама в блаженстве не понимая: и за что это она вдруг третий и четвертый раз за день говорит спасибо человеку, которому говорить спасибо, в общем-то, не за что.



В Объятиях Призрака

Полынная Трава

...Неповоротливой Судьбы
Уже ненужные затеи –
Веков грядущих ротозеи
Нет, не поймут волшебной ворожбы...

Одни лукавые слова
Между собой еще шептались –
Мы были вместе, мы смеялись,
И пряно веяла полынная разрыв-трава...

Дорога на Лиэх-Ли

Дорога Никуда

А.Грин

...Они повстречались на Дороге Лиэх-Ли:
Она стремилась за безжалостным счастьем,
Он повидал безжалостное счастье,
Их объятия были так жадно пусты,
И потому так крепко, так крепко, так крепко
Они обнялись друг с другом
На этой волшебной Дороге на Лиэх-Ли...

Но ее объятия были пустыми с надеждой,
Но его объятия были пустыми без надежды,
И потому так тесно, так тесно, так тесно
Сплелись их объятия,
Но мимо, но мимо, но мимо друг друга
На этой Звездной Дороге на Лиэх-Ли...

...Он удалялся от Лиэх-Ли, становясь все ближе,
Унося в объятиях прекрасную Грезу,
Которая терзала его беспощадной нежностью,
Рвась вернуться, вернуться, вернуться
На никуда не ведущей солнечной Дороге в Лиэх-Ли,
На вечно разлучающей лунной Дороге из Лиэх-Ли,
На бесконечной чудесной Дороге на Лиэх-Ли...

Прощание с Джейн Эйр

...Одежд тяжелых теплый гнет,
Викторианских тайн уютная угроза,
И безопасна даль славянского мороза,
Но совести цепей любовь не разорвет...

Безумна вязь надежды и огня,
И чем смертельней, тем невыносимей
Мне становится ближе и любимей
Тому, который отпустил меня...

Забвенье

...Забудь меня. И пусть твое забвенье
Меня переживет и память обо мне:
Так забывает лед ручья стремленье,
Им оставаясь в тайной глубине...

Так вечность забывает о мгновеньи,
Но без него рассыпется весь путь:
Так сердце забывает о биеньи,
Но слышишь: только так забудь...

* * *

С каждым прожитым словом
Ближе становится смерть –
Томительным жизни оковам
Недолго мною владеть.

Я встречусь, наверное, с вами
Под сенью далекого дня –
Я этими стал словами,
И вспомнят они меня.



Дмитрий ПРИГОВ

Невыносимость подобного

Когда я в свое время явился в одну из редакций по поводу счастливо ближающейся, почти невероятной для меня о ту пору романной публикации, тамошняя интеллигентная женщина задумчиво и выжидательно глянула мне в лицо поверх дымчатых очков. Я молчал. Она молчала. Разговор начала все-таки она. Причем почему-то раздраженно и сразу на повышенных тонах. Речь шла об одной малюсенькой главке.

– Вы же знаете, что данные вопросы сейчас очень болезненны, чтобы так неосторожно и, надо заметить, не вполне корректно касаться их. – Слова были исполнены неложной и вполне искренней укоризны.

– Извините?.. – несколько обескураженно отвечал я. – Я не совсем...

– А вы разве не прочитали мое письмо?

– Какое письмо? – Видимо, произошла рутинная, тяготная редакционная путаница с перепиской, пропажей писем, звонками, отсутствием на месте присутствия и пр. Тогда я был в писательском деле новичок, не очень к такому привыкший и подготовленный.

– Ну неважно, – решительно прервала меня редакторша. – По поводу всей книги решение еще принимается. Да, принимается. Подождем. Роман, в принципе, имеет определенные достоинства. Это лично мое мнение. И не только мое. – Она со значением взглянула на меня. – Но, как вы сами понимаете...

Я не очень понимал, однако, блюдя корректность, не подал виду.

– Все-таки обождем. Обождем окончательного решения. – Она чуть повела головой вбок и немного вверх, указывая в некоем направлении, должном быть мне известным, где, по всей вероятности, располагался главный пункт принятия решений – Главный редактор, очевидно. По незнанию процедурных и идеологических тонкостей я не мог бы это утверждать со всей уверенностью. Я сглотнул слюну. На мгновение продлив вышеописанный жест, она продолжала деловито и решительно: – Но ради спасения всего текста с одной главой все равно придется распрощаться. До лучших времен. Когда-нибудь потом ее и можно будет напечатать. Не сейчас.

Она была все-таки, судя по интонации и последнему замечанию, моя сторонница. Даже радетельница – если не моя, то моего текста. Скажу больше: не столько моей защитницей и радетельницей была она, сколько сторонницей всего независимого, вольнолюбивого и порой рискованного. Даже социальный острый. В меру, конечно. То есть любого осмысленного явления свободолюбия. Но, как уже указывалось, в меру возможного и допустимого. А кто ведает эту меру? Она ведала. Недаром она знавала неистового и правдолюбивого Твардовского. Еще совсем молодой и весьма, весьма привлекательной интеллигентной литсотрудницей она работала с

* Отрывок из романа «Ренат и Дракон», который готовится к выходу в издательстве «НЛО».

суровым и требовательным Кожевниковым. Разговаривала с самим Со-лженициным. Пользовалась доверительной дружбой незабвенного Три-фонова. К ней в редакцию заходили Пастернак, Тарковский и Самой-лов. Она бывала на концертах Рихтера и Ростроповича. Ее знакомые навещали Сахарова. В ее дому по ночам и со многими предосторожностя-ми слушали «Голос Америки», Би-би-си и «Свободу». Однажды она побы-вала даже в опасном американском посольстве. За одну ночь ею прочиты-вались непомерного размера рукописи и невероятно запрещенные книги. Она обмирала от страха над подписными письмами, адресованными са-мому высокому руководству. Прямо-таки застывала от ужаса и восхище-ния над невиданными по смелости словами обращений и великими фа-миллиями, стоявшими строгой и беспомощной колонкой внизу отчаянного послания. Были, были такие письма. И не все, кстати, доходили до ру-ководящих верхов. Где-то спасительно стопорились на разных этапах сочи-нения и подписания. Она умела держать язык за зубами. Внешне сдер-жанно, но внутренне вся прямо вскипая, тихо и нелюбезно осуждала некоторые, как она это называла про себя, неадекватные выходки отдель-ных диссидентов и людей андеграунда, своими безответственными дей-ствиями и поступками прямо на глазах рушивших хрупкое здание скры-тых и негласных договоренностей между властями и прогрессивными представителями интеллигенции внутри государственного аппарата, к ко-торым относилась и себя. И, несомненно, к ним принадлежала. Она вела беспрестанную тихую благородную борьбу за всякого рода уступки и допу-щения, все время раздвигая и корректируя рамки дозволенности и допу-стимости. Она знала и любила литературу. Действительно знала и действи-тельно любила. Редактировала лучшие литературные произведения своего времени, достававшиеся лучшему литературному журналу своего времени, где она как раз бессменно и обитала. К ее замечаниям и поправ-кам с уважением относились Нагибин и Паустовский, Аксенов и Астафь-ев. Собственно, несколько высокопарно и фигурально выражаясь, она и была – сама литература. Вот такая женщина!

Однако я все еще не понимал, по поводу какой главы возникли упомя-нутые проблемы, связанные к тому же с нелегкостью нынешней ситуации. Сразу припоминалось, как ровно в те же времена – или чуть-чуть порань-ше – все разговоры с государственными функционерами и сотрудниками КГБ сопровождалось постоянным рефреном:

– Вы же сами понимаете, какая сейчас весьма сложная международная и внутренняя обстановка.

– Обстановка?

– Ну о чем мы с вами говорим? Вы все отлично понимаете сами. Внут-ренняя и внешняя.

– А-аа, внутренняя и внешняя.

– Да-да, внешняя и внутренняя. Сложная. Вы отлично все понимаете.

И этого нельзя не принимать во внимание.

– Понятно.

Но, поскольку мое «понятно» явно означало, что я не понимал или делал вид, что не понимаю, они надолго замолкали, внимательно гляды-ваясь в мои как бы невинные глаза. Порою я выдерживал их взгляд. По-рою нет. Но согласно данной формулировке вроде бы предполагалось, что в случае решительного исправления этих самых – будь они неладны! – об-становок, внутренней и внешней, возможны станут отдельные послабле-ния и изменения, о которых нас всех, когда нужно и кого нужно, своевре-менно поставят в известность. К несчастью, историческое время столь катастрофически не совпадает со временем единичной личной хрупкой человеческой жизни, что надеяться на возможность увидеть живьем те счастливые годы не представлялось реальным. Ан ошиблись! Ошиблись! Ошиблись самым невероятным образом. Ошиблись самые прозорливые и нетерпеливые. Ошиблись наши собственные умудренные. И иноземные

просвещенные и информированные! Как мы обмишурились! Господи, как мы все обмишурились! Буквально в одно мгновение, в единый миг – по историческим масштабам, конечно, – все вокруг переменялось. И кардинальным образом.

Разговор наш с редакторшей происходил в тот еще относительно неуверенный, смутный период перехода от старого к новому. От старого, где ничего не дозволено, к новому, где будет дозволено практически все. И дальше, дальше, уже к тому совсем непроглядываемому, новейшему, когда снова будет все-таки кое-что не позволено. Но в то переходное время, в которое происходили описываемые события, некоторые сомнения и опасения были все же свойственны отдельным людям идеологической сферы, особенно ответственным, каковой и являлась моя собеседница.

– Так вот, – продолжала она, – главку придется опустить. В нашей конкретной ситуации она выглядела бы просто провокационной. Вы понимаете, какую ответственность берете на себя? – И строго так посмотрела на меня из-под очков. Я, по привычке робко стоящий перед столом любого начальника, не то что столоначальника, застыл в ее присутствии почти что с руками по швам. – К тому же она невелика. Главка эта. – И снова глянула на меня. – И написана, надо заметить, не лучшим образом. Вываливается из всего остального текста. – Все это строгим, не терпящим возражения официальным тоном.

– Да, собственно, идея изложена не моя, – сразу же инстинктивно начал я оправдываться. Зачем мне надо было вдобавок к своим многочисленным проблемам брать на себя вышеупомянутую нешуточную ответственность за чужие писания и сомнительные откровения?

– Тем более. – Голос ее, и до той поры не ведавший слабости и сомнения, утвердился окончательно. – Не знаю, ваша там или не ваша, но главку снимаем, – вполне безапелляционно заключила она.

Я облегченно вздохнул, отдав ей на откуп принятие решения.

– Ну если вы настаиваете...

– Я не настаиваю. Произведение все-таки ваше. Вы автор. Просто я настойчиво рекомендую. К вашей же пользе. Сейчас, после того как недавно Борис Николаевич принял в горькоме группу представителей известных патриотических движений, это может быть расценено как некий вызов.

– Действительно принял? – удивился я, ничего не знавший о великом событии.

Она если не подозрительно, то с некоторым недоумением взглянула на меня.

– Да, в горькоме. На прошлой неделе. Во главе с этим самым Ануфриевым. Фигура сомнительная, но ... Не слышали?

– С Ануфриевым? – Конечно, это неоднозначное имя я слышал. Однако, видимо, даже малое знание не отразилось на моем лице.

– Вам понятно? – вглядывалась она в мои глаза, явно не вычитывая из них никакой реальной информации.

– Ну да. Теперь понятно, – подтвердил я.

– Вот и хорошо. – Она протянула мне несколько страничек машинописного текста. Я начал перебирать листки.

Быстро пробежав первые страницы, я понял, что имела в виду бдительная редакторша. Хотя и не мог полностью согласиться со всеми подозрениями и опасениями. Конечно, с ее стороны это был явный рецидив старого мышления. А мы, мы и в старые времена не избегали ничего подобного. И не испытывали подобных сомнений. И были последовательны в этом. И настаивали на том. И страдали порой! Господи, как страдали! Садилась в тюрьмы! Были избиваемы и насилуемы! Претерпевали муки за малый глоток свободы и легкое, не обремененное цензурой и оглядками слово. Ей боязно сейчас! Господи! А нам не было боязно и в прошлом. Это

нас и различало. Потому и сидели мы в разных местах и занимали разные посты. Вернее, мы никаких постов не занимали.

А содержание помянутой главки вполне соответствовало теории одного известного российского академика, доказавшего, что наши соплеменники, русские, суть те самые знаменитые, великие и мистические древние арии. Самые древние. Помнится, когда главка только пришла мне на ум, сразу же всплыло в памяти имя этого академика, пользовавшегося, правда, сомнительной репутацией в скучных научных кругах. Я достал его книги и прочитал. То есть в главе той и не было ничего именно моего, личного. Просто некий беллетризованный пересказ неординарных академических идей.

Да-да, по мнению академика, а потом уже и по моему собственному, как раз в пределах русских земель, заросших в те времена непроходимыми лесами и покрытых бескрайними степями, в редких, но высоко, непомерно высоко развитых поселениях, городах и даже своеобразных, если можно так выразиться, мегаполисах, возникли древнейшие мудрые книги Веды – от древнерусского корня «ведать». (Сравните – ведьма, ведун, медведь, водить, овод, вода и т.д.) Отсюда они впоследствии и распространились по всему свету, дойдя со временем и до легендарных берегов Инда и Ганга. Тогда же, синхронно с ними, а может быть – и даже наверняка, – намного-намного раньше, здесь же, на русских землях, возникли и разного рода мистические практики, нашедшие потом свое словесное воплощение и закрепление в священных Ведах. Одной из таких практик была мантрическая. Все давно и в подробностях описано, изучено и известно как практикующим, так и просто любопытствующим. Но все-таки кратко напомним, что упомянутая мантрическая практика была связана с многократным повторением небольшого священного текста или отрывка. Например, типа: или, или, лама савахфани – одного из немногих через многочисленные опосредования дошедших до нас в священных писаниях христиан. И дело не только в особом дальнейшем глубинном проникновении в значение сакральной формулы, но и, что не менее важно, в самой телесной и дыхательной практике произнесения: предполагается, что наиболее умудренные и изощренные после нескольких произнесений приходят в состояние некоего специфического телесно-дыхательного восхищающего ритма, который, в свою очередь, попадает в резонанс с ритмами Вселенной. И в зависимости от конкретной задачи и необходимости этот самый резонирующий ритм совокупно с порождаемой им энергией способен не только обслуживать внутренние потребности посвященного, но и может быть употреблен для общения с предстоящей медитирующему аудиторий, группой учеников, адептов или просто внимающих. То есть силой своего резонанса и подсоединения к ритмам Вселенной посвященный может включить в данный ритм внимающих и предстоящих ему. Это известно. Это существует и до сих пор, но в местах достаточно удаленных от центров нынешней цивилизации. Посему о том почти ничего не ведают в западных, поглощенных всяческими научными выкладками и подсчетами странах и народах.

Возникнув в пределах древней Руси, в ее пределах же сия практика развилась, разнообразилась и предельно утончилась, породив разнообразнейшие специфические секретные школы и отдельных сверхсильных адептов, которые могли впадать в ритмы Вселенной уже без всяких там дополнительных слов и мантр. Делали они это стремительно и мощно, моментально излучая наружу освобожденную и преображенную энергию космоса в невероятных количествах и неопикуемой силы. Этой энергии доставало, чтобы производить многие чудеса во внешнем мире. В обителях и ашрамах посвящали себя совершенствованию в разного рода тайных умениях. Были отдельные ашрамы, специализировавшиеся на левитации – свободном телесном независимом парении и передвижении по

воздуху. На взлётании и вертикальном поднимании своего моментально теряющего всяческие физические параметры невесомого тела на непредставимые высоты, почти до полнейшего пропадания в неизвестных, непроглядываемых окраинах Вселенной. Однако возвращались. Некоторые возвращались. Достаточно многие. В других ашрамах посвященные своей энергией расщепляли твердые горные породы и взглядом проникали в недоступные никому иному глубины тайных земных укрытий. Третьи вникали в тайны человеческого организма, направленным взглядом видоизменяя его в нужном и predetermined направлении, ускоряя очищение и приуготовляя к дальнейшим тайным модификациям и метаморфозам или фокусировались на тонкой медицине и воскрешениях. Иные же исчезали в неведомых измерениях, проводя там длительное время среди своих и чужих предыдущих существований.

Наиболее продвинутые представители этого рода занятий назывались богатырями, то есть богатыми энергией. Они становились прямо-таки предметом поклонения. Вокруг них возникали целые культы, в пределах которых их сокращенно (от «богатырь») величали богами.

Отдельной была и секта боевых богатырей, одолевавших противников, соперников, вооруженных захватчиков и налетчиков. Уничтожавших в несметном количестве врагов и недругов посредством особого богатырского храпа, который и являлся внешним выходом этой неземной энергии.

– Вот-вот, я про то и говорю.

– Так что же тут такого? – недоумевал я и определенно смелел в своих возражениях.

– Ну как «что такого», ну как «что такого!» – всплескивала руками элегантная редакторша и несколько даже смущенно улыбалась. – Ну представьте себе какую-нибудь храпящую женщину. Очень веселая иллюстрация к вашей теории!

– Во-первых, теория не моя, а академика такого-то. – И я назвал его имя.

– Ах, этот! Известный обскурант.

– Обскурант?.. Но среди них в самом деле были и женщины. Богатырши. И никто не стеснялся. Это же дела древние и священные. – Конечно, в данном случае я несколько лукавил, так как половая принадлежность гигантов была весьма и весьма условна. Вернее, смутна. Будучи девственницами, многолетними усилиями и тренировками преобразая свою плоть почти до неузнаваемости, они становились словно бы обоюбого пола сразу. Подобных им гораздо позднее, в древней Греции, называли андрогинами. Но не вступать же в длинные и ненужные объяснения, находясь в официальном учреждении!

– Не знаю, не знаю. Древние! Священные! Но сейчас это звучит двусмысленно. Я давала читать Степану Прокофьевичу. Он того же мнения.

– Кому?

– Степану Прокофьевичу. – По причине моего как бы притворного незнания имени Степана Прокофьевича она опять исполнялась сугубой подозрительности, опасаясь неких оскорбительных или шутовских действий с моей стороны. Но я оставался вежливым и учтивым. Она успокаивалась.

– Вы сами-то внимательно читали, что написали? Перечитывали? Или, как вот эти самые описанные богатыри, тоже в транс текст на свет Божий явили? – съязвила она.

– Да ведь не я это придумал. Я же много раз вам говорил.

– Ладно, ладно, не вы.

Вся ритуальная и подготовительная часть сакральной практики передавалась устно от учителя к ученику. Какие-либо записи были запрещены, дабы тайное учение не попало в руки злонамеренных или просто неподго-

товленных, могущих употребить свои полуздания во вред себе и всем окружающим. К нашему времени, увы, древнее знание почти полностью и безвозвратно утрачено и по мельчайшим сохранившимся деталям, прямо-таки по, если можно так выразиться, исторической пыли с большим трудом реконструируется неимоверными усилиями таких вот подвижников, как помянутый нами академик. Да, только историческая пыль. Но сколь интригующая! Сколь говорящая! Многоговорящая! Сколь мощная досель!

Известно, например, что за неделю или две до намечавшейся очередной серьезной битвы гуру с помощью учеников впадали в так называемое состояние самадхи. Как было сказано, посвященные не произносили ни слова. Круглосуточно, без еды и питья, они сидели в позиции тотального сосредоточения посреди темных глубоких пещер под Киевом. Эти пещеры известны и сейчас благодаря многочисленным последующим захоронениям христианских святых и послушников. Как известно, христианство счастливо и осмысленно заимствовало многие древнерусские традиции и обычаи. Ну, например, тот же Новый год с его елочкой, яблочный спас, богородичные праздники, тип церковной – вознесенно-купольной – архитектуры, позы смирения и благодати, словесные мантрические формулы вроде вышеупомянутой и т.д.

Так вот, не произнося ни слова, несколько великих – трое или четверо (единовременно не больше), достигшие наивысших стадий в постижении тайн и ритмов космоса, – сидели в темных пещерах. Они дошли уже до того уровня просветления и магической силы, что попадали в ритм Вселенной без помощи всяких облегчающих подготовительных мантр или сопутствующих процедур. Они делали это сразу. В одно мгновение. Это было чудом. Их дальнейшие сидение и медитация были посвящены точнейшей коррекции телесности, ее веса, напряжения, пространственной и мега-пространственной ориентации с целью накопления неимоверной и чистой энергии. Лишь изредка с величайшими магическими предосторожностями их навещали наиболее приближенные ученики и тончайшими павлиньими перьями щекотали во глубине гигантской, раскрывшейся, как мягкое необозримое влагалище самки кита, богатырской гортани. В ответ раздавался краткий, еще лишь приуготовительный, но внушительный рык. И все снова замирало. Снаружи настроженно и с благоговением прислушивались к звукам, доносившимся из темных глубин, ощущая легкое содрогание окрестной почвы.

«Все правильно», – с удовлетворением констатировало про себя окружающее население. И принималось за собственные, так называемые экзотерические, – обыденные, земные приготовления в отличие от приуготовлений эзотерических, тайных и священных, которыми были заняты во глубине киевских пещер посвященные. По прошествии определенного времени их вытаскивали наружу. Неподвижных, вроде бы совсем не дышавших, немного окаменелых даже, с заметно пониженной температурой тела. Выносили со всеми предосторожностями – ночью, при полнейшем безлюдии, выставив охранение, отгоняя любопытствующих и возможных злонамеренных. Переносили в специально отстроенное для того помещение-храм. Там клали на темные кипарисовые столы и пережидали ночь-две. Срок устанавливался в зависимости от сакральных обстоятельств и особенностей расположения звезд. В рассчитанный час допущенные входили в помещение и в соответствии с утвердившимися за многовековую практику магическими процедурами туго перепеленьвали гигантские неподвижные тела плотной тканью, пропитанной специальными маслами и лошадиной кровью.

Лошадь была священным животным богатырей, сопровождавшим их всю жизнь. С особыми почестями и ритуалами, когда случалось, она ложилась в могилу вместе со смертными телами богатырей. Легкой женоподобной дымкой сопровождала бессмертную часть их существа в дальнейших странствованиях по иным мирам. Над захоронениями изношенной и уже

ненужной плоти насыпали огромные холмы, чуть сглаженные вершины которых и донныне разнообразят вполне унылые продольные пейзажи срединной России. Изредка холмы содрогались от непонятных явлений, происходивших в их глубинах. По вершине проходил черный глубокий разлом. Оттуда вырывалось прозрачное синеватое пламя, ровно стоявшее под ярким полуденным равнинным солнцем. Потом все исчезало, надолго затихало и зарастало травой. Говорят, что астральные тела богатырей изредка навещают места своего прошлого плотского обитания. Наверное, именно это и происходило. Впрочем, это все подробно описано в Ведах. В наши времена подобное уже не случается. Во всяком случае, не наблюдаемо нашим слабым и не приспособленным к тому зрением.

Итак, богатырей запеленывали перед отправлением на поле битвы плотно и многослойно, затыкая все пять отверстий человеческого тела, дабы до времени не расходовалась пустую столь нужная и драгоценная энергия. Затем их, каждого в отдельности, располагали на огромных деревянных колесных платформах, впрягая по несколько восьмерок лошадей. Ритуальные животные были чудесно изукрашены яркими попонами, расшитыми драгоценными камнями, и лентами трех метафизических цветов: черного, обозначавшего тайну; белого – энергию; красный, естественно, символизировал жизнь. Все вокруг застывало. После неких всеобщих молчаливых церемоний процессия направлялась к месту назначенной битвы. Надо заметить, что враги, заранее зная всю неминуемую губительную силу богатырей и собственную неизбежную смертную участь, все равно какой-то неведомой роковой силой влеклись к месту своей предопределенной, никакими личными и коллективными силами не отменяемой гибели. В стан же, ранг и статус врагов их назначала, ставила и поставляла та же неодолимая сила. Они сами рационально и просто – всем жизненным опытом – отлично понимали все им неминуемо предстоящее. Естественно, они желали бы быть среди победителей – на стороне древних россос-ариев. Но не могли. Не могли. Не умели и не смели. Им не было попущено. Им определено было быть врагами в разыгрывавшейся величественной драме противостояния сил добра и зла. И она разыгрывалась. Драма грандиозная, вселенская. Мощная. Отчасти и веселая. Но трагическая. Преимущественно трагическая, однако все-таки веселая. Отдаленное ее эхо доносится и до наших дней, заставляя содрогаться самые чувствительные и проникновенные души.

– И вы серьезно обо всем этом? – с некоторым уже брезгливым подозрением расспрашивала меня образованная редакторша.

– Ну я же говорю вам, что это не я. Мне просто досталась рукопись. Я такой же, как и вы, обыкновенный ее читатель. Я не большой специалист в древней истории. Да и мало интересуюсь всякой древностью и мистикой. Но написано забавно.

– Забавно? – Она усмехнулась. – Честно говоря, – она даже как-то озорно и удивительно милым, помолодевшим взглядом всматривалась в меня, – если совсем честно, не вдаваясь там во всякие мелкие детали – вы или не вы это написали, неважно, если честно, сейчас, в наши дни, разве же это не реакционно? Разве же в такое сложное и неоднозначное время это не льет воду на мельницу товарища Лигачева в его борьбе против Горбачева?

– Лигачев? Против Горбачева? А как это может лить какую-либо воду на чью-либо мельницу? – Я по-простецки не понимал.

– Ну вы меня прямо поражаете. Вы что, действительно так наивны? – удивлялась, почти сокрушалась она моей социально-политической невинности.

Да, подумал я, если такие проблемы с этим практически безобидным текстом, то что было бы с главой С-4, которую я сознательно вынул ради предосторожности, справедливо опасаясь неадекватной реакции. И был,

видимо, прав. Что было бы, не оставь я ее в нижнем ящике своего потрескавшегося дощатого письменного стола! Что было бы! Ужас, что было бы! Страшно и подумать. Было бы вот что:

– Молодой человек, вы понимаете, что ваш поступок – почти провокация? Вы что, всерьез предлагаете нам напечатать этот провокационный текст?

– А что тут такого? – отвечал бы я, далеко все-таки уже немолодой тогда человек.

– Неужели вы так наивны и безответственны? Или притворяетесь? – Она пристально всматривалась бы в меня, пытаясь углядеть черты невероятной простоты или ловко скрываемого коварства. – Это даже интересно. Вы сами-то хоть внимательно читали эту главу?

– Читал, – опять недоумевал бы я.

– Молодой человек, – она упорно называла меня молодым человеком несмотря на мою явно проявляющуюся в морщинах и седых волосах немолдость, – мы живем сейчас в очень и очень непростое время...

Я совсем уже запутался.

В комнату без стука вошел человек с низко пригнутой, взлохмаченной седоватой головой. Прошествовал к другому столу и начал перебирать какие-то бумажки. Нашел. Просмотрел. Как-то неестественно вывернувшись, бросил острый взгляд в мою сторону. Потом глянул на редакторшу. Хмыкнул и спросил:

– Он самый? Ну-ну, каждому бухгалтеру по роману. Ну-ну. – И вышел из комнаты. При чем тут бухгалтер?

– Это Степан Прокофьевич? – спросил я.

Она покачала головой и не ответила на мой вопрос.

По прибытии на место битвы богатырей осторожно сгружали на землю и спеленутыми оставляли лежать целую ночь, опасаясь даже голову повернуть в их сторону, дабы, не дай Бог, каким неверным действием, взглядом, словом или непродуманным жестом не откатать малую толику столь драгоценной энергии. Воинский стан разбивали на расстоянии километра-другого. Всей дружиной, вернее дружинами, обращались лицом на восток. Ночь проводили в бдении, магических ритуалах и изготовлении специальной смолы для затыкания ушей. Противник при всем желании не мог изготовить подобную, так как для нее необходимы были капельки пота с тел находившихся в трансе богатырей, к которым враги в священном ужасе не смели и приблизиться. Пот редкими крупными каплями пробивался сквозь плотную многослойную ткань пелен. Под самое утро, в сумеречном неясном свете, верные ученики с превеликими осторожностями прокрадывались к недвижимым гигантам. Распеленывали их. Приготовляя к последней стадии, легкими кисточками в каменные чашечки собирали этот темноватый пот-росу и несли в стан будущих победителей. Туда же приносили и обрывки богатырских пеленальных саванов, которые воины пристраивали на древки, и те служили знаменами в предстоящей битве. Белые знамена энергии, окаймленные по бокам черными полосами тайны, с огромным сияющим красным солнечным кругом жизни посередине.

За несколько часов до рассвета начинали выстраиваться в сложные, строго исчисленные ряды-построения. Руководили этим те же самые верные ученики и высшие военные начальники. Точное построение рядов, зависевшее от местности и возможных эффектов эха и резонанса, прочувствованных опять-таки учениками, было весьма важным и порой даже решающим для исхода предстоящей битвы. Блестящие металлические воинские одеяния, шлемы, щиты, кованая защитная амуниция лошадей, опрысканные мельчайшими капельками помянутой сакральной влаги, невероятно сверкали под первыми лучами восходящего солнца, как гигантская абсорбирующая и отражающая линза.

Рассветало. И тут начиналось.

Поначалу пронеслся легкий, будто бы освежающий ветерок. Новички и незнакомцы подставляли ему свои молодые взбудораженные лица. Но опытные и умудренные, набирая воздух в непомерно развитые легкие, внутренне сосредотачивались. Они знали. Провидели все наперед, прикрывая тяжелые веки. И вот как бы из ничего, из пустоты, из провала некоего внезапно вырывался страшный, губительный рык. Это был единовременный храп нескольких богатырей, расположенных, разложенных в крестообразном порядке на поле перед рядами врагов. Синхронность и единопавленность храпа были просчитаны до секунд, градусов и скляр. Результат был невообразим. Все происходило мгновенно. И хотя подобное не единожды случалось в древнейшей русской истории, всякий раз это было непредставимо и поразительно. Если бы не спасительные тампоны в ушах, если бы не точнейшим образом выверенные расположение, уровень подъятия щитов и опускания забрал, то и русское войско полегло бы при первых, так называемых сакральных львиных выдыханиях – руладах этого храпа. Однако войско стояло. Более того: благодаря умелой расстановке не давало рассеяться звукам в просторах, некой специально выстроенной людской физической линзой фокусируя всю губительную энергию на враге, который тут же падал пораженный. Смертельно и навеки усыпленный первыми же звуками мантрического храпа.

Я и сам знаю всю невыносимость подобного. Ну, естественно, не в той мере и не в ту силу. А иначе разве уцелел бы я?! Нет, за прошествием многих тысячелетий и исчезновением из нынешней жизни тайных учений мы можем столкнуться разве что со слабой тенью древних сил и способностей. Они иногда просто по непонятной органической одаренности отдельных людских особей спонтанно возникают в некоторых местах и телах, весьма даже и не приспособленных к тому. Но, повторяю, слабой-слабой тенью. Воспоминанием о древних силах. Впрочем, и этого хватает.

Одно время за хилой и тоненькой стенкой моей квартиры в панельном доме проживала некая особа. Она была грандиозна и необъятна. Воображаемый поперечный срез ее руки был равен полутора объемам моей грудной клетки. А я ведь вполне нормальный, среднеразвитый мужчина, хоть и немолодых лет.

Однажды в жаркий, изматывающий, почти нестерпимый летний московский день по какой-то бытовой надобности – кажется, попросить щепоточку соли – я позвонил в ее дверь. И она явилась мне, облаченная в белый жесткий, явно металлической прочности бюстгальтер и огромные черные, пережимавшие, почти перерезавшие ее тесной резинкой пополам, сатиновые трусы. Вид ее подавляющей мощи был незабываем. Я замер. Она долго, тяжело и мрачно смотрела на меня. Потом закрыла дверь, так и не спросив о причине моего появления.

Между тем муж ее, некрупный и ласковый мужчина, нежно именовал ее Панночкой. Будучи по профессии портным, шил ей обтягивающие, изукрашенные якорьками и волнами матросочки и коротенькие плиссированные подростковые юбочки. Он выходил на площадку, деликатно нажимал на мой дверной звонок и улыбаясь приглашал поглядеть на Панночкины обновки. Я шел. Я был единственным зрителем этого уникального дефиле. Она выглядела действительно неподражаемо. Ни с чем несравнимо. Впрочем, она была незабываема в любом виде. Муж пребывал в несказанном восторге от произведенного впечатления. Молча он переносил свой очередной триумф, сглатывал слюну и делал кивок в мою сторону, как бы раскланиваясь. Потом обращался к ней с неизменным предложением:

– Панночка, пойдем, я сделаю тебе мясной укольчик.

Она оглядывалась на меня и величаво следовала в глубину их неглубокой двухкомнатной квартиры. Я тихонько и тоже умиротворенно притворял за собою дверь.

Так вот, восприняв в себя очередной «мясной укольчик», Панночка мирно засыпала. И тут начиналось. Весь дом содрогался от неистового и неостановимого храпа. Поначалу я по глупости принимался стучать в стенку и по батареям отопления. Натягивал тренировочный костюм, выскакивал на лестничную площадку и колотил ногами в ее дверь. Из нижних квартир тоже высыпали их обитатели, вопрошая:

– Что случилось? Что случилось?

Спрашивали и удивлялись, пока не привыкли.

Но я привыкнуть не мог. Я по-прежнему без всякого видимого эффекта колотил в их дверь. Ласковый муж, видимо, как те приближенные и благодарные ученики богатых, свыкся, не ощущал никакого дискомфорта. Всякий раз поутру я наблюдал его бодрым и свежим, покидающим пределы своего невероятного рокошущего семейного гнезда для продолжения вполне обычной жизни и исполнения нехитрых профессиональных и социальных функций. Да, он был адепт. Посвященный и приближенный. Весьма даже близко приближенный. Со мной все обстояло иначе, хотя я вовсе не походил да и не хотел походить на врага. Но и на роль посвященного в своей бесполезной и беспомощной ярости не годился.

По всей вероятности, в отличие от древних и умудренных, умевших регулировать подобного рода энергии, моя соседка, как всякий наивный природный феномен, не знала, не умела и не хотела учиться развивать свой дар и управлять им. Она была ленива и не любопытна. Она просто расходовала его, не понимая ни всей исключительной ценности, ни губительности его неуправляемого исхода. Я съехал. Впоследствии до меня дошли слухи, что она неожиданно стала тончать, худеть. В результате буквально за какие-то если не дни, то недели сошла на нет. Это и было, на мой взгляд, проявлением действия случайно и не по заслугам доставшейся ей силы, ее же саму и погубившей. А может, я и не прав. Мало ли сейчас на белом свете хворей и недугов, могущих буквально за месяц свести абсолютно здорового человека в могилу. Мир тебе и с тобой, милая Панночка! Я помню тебя. А теперь вот благодаря сим строчкам небольшое количество из числа необъятного человечества тоже узнает про тебя. И, может, какой будущий ученый-академик по этим крохам восстановит в своих серьезных кропотливых исследованиях твой исчезнувший бесподобный телесно-магический феномен. Мир тебе!

Существуют и прочие отголоски сего древнего умения. Не столь, правда, гротескные и невразумительные. Они вполне осмыслены. Вполне приспособлены к определенной бытовой и практической пользе нашего меркантильного времени. Но уже полностью лишены тех древних смыслов и, соответственно, результатов. В выродившемся виде мы можем обнаружить их, например, в нынешней японской специфической школе борьбы, называемой «сумо». Многие лишены теперь смысла и превратившиеся в пустой, бессмысленный ритуал детали подготовки и проведения соревнований берут начало в исконно русской сакральной традиции богатых воинского храпа. Стремление борцов набрать огромный вес, превратившееся в простое преклонение перед грубой физической силой, имеет корни в поминаемых непомерном размере и весе древнерусских воинов. Но в их случае масса тела была необходима, продиктована высшими и тончайшими соображениями и многовековой практикой улавливания колебаний Вселенной. Попадания в резонанс им. Только этим и оправдывался конкретный, строго, вплоть до граммов, регулируемый особым питанием и физическими упражнениями точный вес этих богатых. Тем более что генетические свойства всякой нации и народа, отражающиеся и в плотности, удельном весе плоти, диктуют, видимо, и разные реально-физические параметры тел, и методику подхода к оперированию ими.

Очевидно, слабым и далеким отголоском тайного знания в пределах уж и вовсе выродившейся древней традиции в виде профессиональной литературы и интеллигентского сознания можно назвать столь часто поминаемый образ Ильи Ильича Обломова. Под давлением не терпящей всякого там «мистицизма» и «обскурантизма» просвещенной литературной общественности, вдохновляемой неистовым Виссарионом, Гончаров должен был изъять из романа многие страницы, посвященные старым, неведомо как до него дошедшим сакральным практикам. Есть на то прямые указания его более чувствительных современников и родственников. Так вот, в мощном теле Ильи Ильича, в его специфической озабоченности системой питания и ее конкретным наполнением, в громоподобном и ужасающем храпе проглядывают черты древнерусских богатырей школы боевого храпа. Все это можно спокойно вычитать из самого текста. Было бы желание.

– Все еще не понимаете, в чем дело?

– Ну... не очень.

– Ведь эта глава своей как бы насмешкой над национальными ценностями способствует ответной резкой реакции шовинистически настроенных элементов. Это, в свою очередь, дает возможность реакционным силам в партаппарате и КГБ под предлогом противодействия всякого рода экстремизму ввести жесткий режим. Просто повернуть все вспять, – торжественно заключила она.

– Да-а-а? – поразился я такому повороту событий. – Это же все тут просто так написано.

– «Просто так написано»! – передразнила она меня. – Мы не ставим эту главу в печать.

Я вышел в коридор и прислонился к стене. Длинные и достаточно унылые редакционные стены были окрашены в немаркий мышинный цвет.



Дмитрий СТАХОВ

Изданный в полный рост

Первые мои издатели сидели по подвалам: самый первый – в подвале затрапезной пятиэтажки на Щелковском шоссе, второй – в подвале дома на Новинском бульваре, напротив посольства США. Подвальностью их сходство и исчерпывается.

Первый позвонил сам, сказал, что когда-то читал мою повесть в одном коллективном сборнике, что повесть ему не понравилась, но была лучше прочих из того сборника, что он располагает информацией, будто я закончил роман с детективно-триллерным сюжетом, а у него запланирована детективная серия, и если я соберу на пятнадцать-двадцать листов, а лучше – на двадцать пять, причем текстов не обязательно исключительно детективных, то он и книгу издаст, и денег заплатит. Последнее он усиленно подчеркивал, а деньги мне были нужны.

Несколько дней ушло на сбор, копирование. Компьютера у меня тогда не было – собственно, компьютеров практически ни у кого тогда не было, – пришлось обращаться к машинистке, а у одной, очень профессиональной, работавшей с такой скоростью, что треск пишущей машинки сливался в ровный фон, я встретился с известной переводчицей Т. Она просматривала только что отпечатанную рукопись, в углу рта зажимая потухшую «беломорину». Узнав, для какого дела я решился на столь внушительные траты, Т. мрачно перекатила папиросу во рту и сообщила, что Издатель-1 уже купил у нее несколько переводов, причем купил все оптом, вместе с теми, что были много раз опубликованы. Говорила она таким тоном, что создавалось впечатление, будто эта сделка оставила у нее не самые лучшие воспоминания. Я поинтересовался: в чем дело? – а Т., чиркнув спичкой, прикурив и на мгновение скрывшись в едком сизом дыму, пояснила, что, будучи воспитанной в старых добрых традициях, привыкла к общению совсем с другими издателями, а не такими, как этот, теперь наш с нею общий.

Кстати, через несколько месяцев меня, как редактора, и Т., как переводчицу, пригласил крайне претенциозный джентльмен, собиравшийся издавать литературу «высшего класса». На нас он смотрел как на существ класса низшего, долго вещал о том, что такое в его понимании «высший класс», и говорил, что все классики, в том числе переведенные Т., должны в гробах переворачиваться от гордости, что такой издатель за них берется. А еще он упирал на то, что в литературе «высшего класса» должна быть какая-нибудь «херовинка», что большой литературы без «херовинки» и даже без «фуёвинки» не бывает. «Вот в том, что вы принесли, – обратился он к нам, – есть фуёвинка?» «Да там сплошная фуёвинка! – ответила Т., прикуривая: самым грубым словом, слышанным мной прежде от Т., было слово «дурак». – Там даже фуэта! Вы думаете, мы к вам без фуеты пришли? Мы без фуеты из дома не выходим!» Претенциозный хотел было что-то сказать, но закрыл рот и позвал секретаршу: договор мы подписали в этот же день, аванс получили на следующий, а проект литературы «высшего класса» умер через месяц, когда несостоявшегося издателя застрелили прямо в том самом кресле, из которого он нам вещал про херовинку-фуёвинку. Такая вот случилась ...!

Но вернемся к теме издателей...

Итак, прошло всего несколько дней, как я смог увидеть Издателя-1 во всей красе. В подвал вела грязная и темная лестница. Скрипела железная дверь. Издателю-1 принадлежал весь подвал, слева, на поддонах, лежали пачки со взятыми на реализацию книгами (в основном – пособиями по радостям секса, по оккультизму, о здоровье через вегетарианство и т.д.), справа, в коробках, – тушенка, немецкая колбаса из «гуманитарки», спирт «Ройял». «Сам» сидел в дальней, отгороженной от склада комнате, в дальнем ее закутке, возле огромного сейфа, и был он здоровенным детиной с залысынами, с «голкой» на мощной шее, с наколками. Тут же, на электроплитке, жарились сардельки.

Издатель-1 поднял на меня тяжелый взгляд и похлопал по застеленному газетами столу – «ложи сюда!» Я выгрузил рукопись на стол. Издатель-1, обращаясь запросто, на «ты», пообещал прочитать все внимательно и быстро. И позвонить. «Не болей!» – пожелал он мне. На том и расстались.

Прошло чуть больше полугода. За это время я много раз набирал его номер, но трубку снимали какие-то персонажи, ни сном, ни духом не подозревавшие, что их шеф занимается еще и книгоизданием. Уже смирившись с потерей рукописи, я вдруг как-то услышал в телефонной трубке голос, звавший туда же, на Щелковское шоссе, за деньгами. «А книга-то вышла?» – спросил я. «Мне поручено выдать деньги, – гласил ответ. – По книгам не ко мне...»

Подвал не изменился. Только тушенки стало больше по сравнению с книгами. В комнате, где меня принимал Издатель-1, вокруг застеленного газетами стола сидели четверо, в пропотевших майках, на мощных шеях висели «голки», на столе лежал расчерченный под преферанс лист бумаги. На электроплитке жарились сардельки.

«Прикупной» внимательно оглядел меня с головы до ног, хрустнув суставами, поднялся, открыл сейф. «Пакет есть?» – спросил он. Получив отрицательный ответ, пошарил в углу и нашел мятый, воняющий селедкой пакет с полустертой надписью «Монтана». «Держи!» – Он протянул пакет мне и стал выкладывать в него из сейфа пачки денег. В какой-то момент остановился, посмотрел мне в глаза, добавил немного рассыпью. Тут один из сидевших за столом остался на семерной без двух, и «кассира» начали звать продолжить игру. «Надо где-то расписываться?» – спросил я. «Нет. – У него в руках уже была колода, пальцы заправляли ее вполне профессионально. – Пиши еще!» «А где...» – начал было я, но был остановлен общим выдохом: «Он сейчас футболистов для первой лиги покупает!»

Я выполз на улицу. Была какая-то пыльная весна. Пакет слегка оттягивал руку. Не было и речи о том, чтобы ехать с ним в метро: вонял он ужасно, – и я поймал машину...

Через некоторое время один приятель сказал, что в североуральском городе, кажется, в Карпинске, на вокзале он видел мою книгу, толстую, разлохмаченную, с какими-то полуголыми бабами на обложке. «Что же ты не купил?!» – с обидой спросил я, но приятель признался, что денег у него после командировки оставалось лишь на сизую вареную курицу, пару ватрушек и бутылку пива, и я его простил.

Однако книгу, выпущенную Издателем-2, как и все последующие, я все-таки увидел. Издатель-2 звонил не сам, вместо него работой с авторами занималась хриплая дама, с места в карьер заявившая, что ей жаль читателя, который прозябает без моих романов. «Вы их читали?» – спросил я, на что она ответила, что, мол, не читала, но знает. Разница между «читать» и «знать» в данном случае была несущественной: кроме вошедшего в книгу Издателя-1, у меня был только один готовый роман, который я никуда еще не предлагал, а пока, урывками, между редактурой фантастики и работой корреспондентом в одном общественно-политическом журнале, заканчивал третий. По поручению Издателя-2 хриплая предлагала в кратчайшие сроки закончить работу над третьим романом и сразу нести книгу им. Договор якобы был уже готов.

Пропахшие селедкой деньги давно кончились, редаKTура кормила плохо, корреспондентский хлеб был второй свежести. И я согласился по-быстрому закончить роман.

Издатель-2 оказался человеком улыбчивым, похожим на взъерошенную и – по причине ярких рубашек – тропическую птичку. Он частоправлял спадающие очки, говорил много, рассказывал о собственных литературных успехах, о том, что вскоре, если все сложится хорошо, и его и меня будут издавать в Европе. Как ни странно, но его болтовня оказалась пророческой, хотя пока мне предстояло издаться у него. И тут тоже не обошлось без того, что принято называть накладками.

Про всякие мелочи, вроде тех, что к двум романам, входившим в мою книгу, пришлось добавлять еще две повести, что редактор настойчиво стремился исправить тексты так, чтобы никакие жаргонизмы, никакие выражения «ненормативной лексики» не прошли, потом и вовсе сказал, что «тут все надо переписать, от начала до конца, это – не Распутин!», я и не говорю. Издатель-2, надо отдать ему должное, услышав «не Распутин!», редактора выгнал, но на смену ему пришел другой, со своими заморочками.

Потом наступило затишье, затем я как-то, следующей пыльной весной, шел по улице и боковым зрением увидел на книжном лотке свою книгу. Вернее – я увидел свою фамилию. То, что было изображено на обложке, оказалось чудовищным, как чудовищным было и общее название книги. Издатель-2 своей волей, в обход договора, переименовал открывавший книгу роман и сделал новое название названием книги. Но даже не это было самым страшным. Во всю обложку красовалась фотография, на которой два милицейских сержанта запихивали в «воронок» скованного наручниками очкарика с бачками. Эта картинка не имела никакого отношения к моим романам и повестям, никакого!

Я держал свою первую книгу в руках, и мне хотелось, чтобы... Нет, описывать словами мои тогдашние желания я не хочу, скажу только, что меня сначала бросило в пот, потом – в холод. Я вернул книгу на лоток, закурил, отошел в сторону и позвонил Издателю-2 из телефона-автомата. Трубку взяла его хриплая сотрудница, и всех собак я спустил на нее. Она же, выслушав меня не перебивая, сказала, что оба они, Издатель-2 и она, ждут меня. Я выбросил окурок и поехал.

В подвале на Новинском было тихо. Издатель-2 и хриплая сидели в дальней комнате у накрытого стола. Закуски, напитки. Издатель-2 встал и широким жестом пригласил меня к столу. Претензии предъявлять было поздно, а когда посланный им человек принес и горячее, когда мы управились с парой бутылок, претензии показались мне мелкими. Книга вышла, книга продается – пока я курил возле лотка, ее купил один человек! – что еще нужно писателю? Да еще – у моего стула лежал пластиковый пакет с деньгами, точно такой же, «Монтана», только чистый, без селедочного духа...

Потом в моей жизни появился Издатель-3. Это было крупное издательство, постепенно, под неусыпным «братковым» надзором, набиравшее все большие обороты. Издатель-3 сказал мне, что они издадут книгу без повестей, только два романа, в мягкой обложке, что деньги я могу получить сразу. Характерно, что и здесь – подвальность уже перестала быть основной характеристикой моих издателей – не обошлось без пластикового пакета: человек, выдававший деньги, выдвинул ящик стола, достал пакет – с надписью «Монтана», видимо, кончились, на пакете был герб Москвы – и зарузил его деньгами.

Книга формата «покет-бук» получилась вполне приличной. Однажды я увидел парня в джипе, который ее читал. Мне захотелось подойти и сказать ему: «Это я, я написал!», но читал он, слегка шевеля губами, и прерывать этот процесс было жаль. Свербило, конечно, что книгу издали маленьким тиражом, что когда я решил купить на складе издательства хотя бы еще одну пачку для себя, то выяснилось, что не осталось ни одного экзем-

пляра. Правда, один приятель, все тот же, бывавший в Карпинске, узнав, что в выходных данных книги стоит тираж 20 тысяч, рассмеялся и сказал, что этот «официальный» тираж надо умножить как минимум на десять, что таким образом Издатель-3 уходит от налогов, но разбираться он мне не советует: те, кто пытался докопаться до истины, попадали в лучшем случае в травматологические отделения.

Потом в моей жизни случился Издатель-4, потом – Издатель-5. У всех у них были закидоны, все они или издавали не так, как нравилось мне, или вносили не согласованные с автором правки, однако держались более-менее в рамках. Главной же их особенностью все-таки оставалось то, что они платили деньги, пусть немного, но вовремя. И, хотя бы на словах, выражали удовольствие от того, что издают мои книги.

С одним романом я попал в список номинантов на Букера, с другим – на Нацбестселлер, третий сразу несколько критиков разнесли за вредные якобы идеи, другие за те же идеи похвалили, а потом появился еще один критик, который назвал его достойным быть включенным в число лучших романов года. Ну я и возомнил о себе...

Тогда-то на горизонте и появился Издатель-6. Я сразу, несмотря на авторское тщеславие, почувствовал, что его внимание оставит неприятный осадок, но был, конечно, польщен: ведь подлинное имя Издателя-6 было «Галлимар», он был из Франции, из Парижа, с рю Ботин. Ах, Париж!

Мне позвонила та самая хриплая, от Издателя-2. Она, оказывается, была франкофонкой, ее французская подруга приехала в Москву, а подруга занимается литературой и ищет новых писателей, новые имена. Я заглотил всю эту чепуху, тем более что хриплая сообщила, будто Издатель-2, будучи автором нескольких остросюжетных романов, уже продал их французам, уже получил аванс (эта история началась до эпохи «евро») в 15 тысяч франков и уже... Ну мне тоже хотелось получить франки, но тут главным были не деньги, а то, что, по словам хриплой, мной заинтересовался сам «Галлимар».

Все мои старания встретиться с француженкой-агентшей к успеху не привели. Хриплая забрала у меня рукопись того романа, что выдвигался на Букера, француженка уехала, и наступила тишина. Попытки что-либо узнать, например, принят ли роман, а если принят, то где договор, оказывались безрезультатными. Хриплая говорила, что по ее информации работа идет, роман переводят и мне беспокоиться нечего – это же французы, это же Европа, они никогда не обманывают, для них слово – закон...

Договора я так и не дождался. Единственный раз от «Галлимара» пришло известие, что им для книги нужна моя фотография. Я выслал. А потом, когда выяснилось, что книга уже поступила в продажу, я позвонил в издательство. Мне сказали, что они бы с удовольствием увидели меня в Париже, что они рады, что такой автор печатается у них, но ни денег на билет не дадут, ни визовой поддержки. Мы с женой посоветовались, сами купили билеты, сами сделали себе визы и полетели. Нас и встретили...

Толстый и усатый редактор был сама любезность. Он пил мою водку и говорил, что русские писатели продаются плохо, что мой аванс – такова, видите ли, практика «Галлимара» – отдали француженке, а в том, что она его прикарманила, вины его нет. К тому же француженка предъявила справку, что она страдает паранойей, а к параноикам у французов отношение трепетное. Нельзя их беспокоить, ни-ни!

Ни о каких потиражных, ни о каких извинениях, в том числе и в том, что авторство фотографии на последней странице обложки было приписано другому человеку, и речи не было. Главным в словах толстяка было одно: ты, парень, должен гордиться, что мы, самая культурная нация Европы, на тебя обратили внимание. Горд? Ну и отлично! Оревуар!

Помню, как сейчас: мы с женой выходим из издательства – ощущение не из приятных: тебя только что кинули! – идем до ближайшего кафе и заказываем всю ту же водку. Нам наливают, мы выпиваем и заказываем еще.

Несколько посетителей, тронутые нашей удалью, спрашивают у бармена, откуда такие, он спрашивает у нас, мы отвечаем, а он передает наш ответ почему-то на немецком: «Русланд!» Такой вот русландский поход на Запад, новое взятие Парижа за горло. Пальцы только соскользнули...

Умные люди потом говорили мне, что надо было соглашаться на предложение одного парижского русского, предлагавшего послать «ребят» к параноичке и говорившего, что от одного вида его «ребят» самые тяжелые хронические заболевания сразу проходят. Они же убеждали меня, что хрипая на сто процентов поделила мой аванс с француженкой, что «ребят» надо бы послать и к ней, что у нее сразу пройдут и хрипота и понты.

«Ребят» я, естественно, никуда не послал. И наивно пытался взывать к совести главы «Галлимара», который, будучи однажды в Москве, говорил, что счастлив, что в его издательстве издаются современные русские писатели и я – среди них, написал ему несколько писем с просьбами прояснить ситуацию, однако ответа так и не последовало. Я обратился к адвокатам, но те запросили аванс в полтысячи евро, плюс оплату текущих расходов. Тогда я начал искать таких, кто начнут тяжбу без аванса, таковые постепенно все замотали: они кормили обещаниями, а на самом деле им, живущим на Западе, было вовсе не в кайф ссориться с «Галлимаром». И сумма невелика, и муржева много...

Любопытно, но никто, абсолютно никто не верил, что меня так беспардонно кинул именно «Галлимар». Одна знакомая поэтесса, долгое время жившая в Париже, там печатавшаяся, даже сказала, что я все это сочинил, дабы изжить свои комплексы. Один французский журналист, убеждавший меня, что на такой теме он себе сделает имя, говоривший, что вот-вот напишет статью и им всем покажет, потом вдруг заговорил о том, что «Галлимар» и в самом деле прав, передав аванс совершенно постороннему лицу, лицу, с которым у меня не было никаких официальных договоренностей и которого я ни разу не видел. «Понимаешь, – говорил мне этот журналист, – у нас привыкли верить на слово...» Хотелось этому журналисту слегка подпортить физиономию, но он тоже пил мою водку, а бить того, кого угощаешь, как-то неприлично...

А потом, по старой совковой методе, я махнул на это рукой. Мне вдруг стало все безразлично. Я понял, что мне никто никогда не вернет мои деньги и никто никогда передо мной не извинится. Причем, поверите ли, второе было и остается для меня более важным. Какое-то время меня мучили проблемы двойных стандартов, но постепенно до меня дошло – лучше поздно, чем никогда! – что двойные стандарты суть основа жизни. Не будь их, всё бы обломилось.

Я знаю, что у каждого пишущего есть такая или похожая история. Свою я изложил вовсе не для того, чтобы выделиться. Тем более что как-то я увидел на улице рекламный щит мужского журнала, про который говорилось «издатый». Рекламщики использовали уникальную особенность русской ненормативной лексики, когда через обозначение женского органа дается положительная характеристика существа мужского рода. И подумал про себя, что я уже порядочно «издатый», а если приложить усилия, думать, работать, писать, то буду «издатим» еще более.

В сущности, богатство в России не грозит даже «издатим в полный рост», если только они не запускают литературные проекты или – таких случаев единицы – в результате счастливого стечения обстоятельств тиражи их «номерных» произведений, что говорится, не зашкаливает. Но что главное для «издатого»? Главное – тот самый человек, пусть в джипе, пусть шевелящий губами. Остальное – приложится...



Публицистика и очерки

Геннадий ВДОВИН

Памяти памяти

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Этой неизданной книжке с претенциозным названием «Памяти памяти» повезло меньше всех моих текстов. Лет семь она пылится на бумаге и на харде. За эти годы много раз печаталась многими главами; и не по одному разу; и даже на импортных языках... Бралась за нее разные издательства и различные грантодатели; все что-то не ладится. И отношение у меня к этой самой «Памяти памяти»... Как у незабвенного Венечки Ерофеева про стигматы святой не то Урсулы, не то Терезы: «Они ей не нужны, но желанны»... В этом роде... Вроде женщины, которой ты добивался столько лет... Уже нет ни влюбленности, ни страсти, ни желания, ни похоти, ни азарта, ни даже позыва к охотничьему гону...

Как-то незаметно книжка приобрела репутацию сборника эссе. А за нетрудной трескотней и черствым шурианием модного слова «эссе» слышится нынче все что угодно. Зато вовсе не кем угодно норовит быть автор эссеев. Потому-то скажу сразу: представляемые на нелюбезный суд строгого читателя главы – никак не эссеи, а покорный слуга ваш – отнюдь не эссеист. Ведь ремесло историка никак не возбраняет интуиции, коли подразумевать, что интуиция суть свернутое доказательство. Вот такие-то очерки-интуиции о культурных кодах поколения, развернутых в прошлое и определяющих нынешнее, составляют все еще будущую книжку.

ПАМЯТИ КЕНТАВРОМАХИИ И ЛАПИФОФОБИИ КАК ЗЕРКАЛА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

*Опыт семиологического эссеизма с обилием цитат, преизбытком
многозначительного курсива, отсутствием сносок, неофициальным подтек-
стом и вовсе уж сомнительным моралите*

МОИМ ЛАПИФАМ. ВАШИМ КЕНТАВРАМ

Бысть во Иерусалиме царь Соломон, а во граде Луко-
рье царствуя царь Китоврас. Обычай же той имея царь –
во дни царствует над людьми, и в ночи обращаешся зве-
рем китоврасом и царствует над зверьми, а по родству брат
царю Соломону.

О Соломоне цари басни и кощюны и о Китоврасе

Помесь прошлого с будущим данная в камне, крупным
планом. Развитым торсом и конским крупом.
Либо простым грамматическим «был» и «буду»
в настоящем продолженном. Дать эту вещь как груду
подробностей, в голой избе на курьих
ножках. Плюс нас со стороны на стульях.

И. Бродский

«Что я лошадь, что ли?» – обиженно басит кто-то, твердо убежденный в том, что перетрудился. Все тот же несчастный конь неизменно является в спорах некурящих с курящими. Не стоит уж и говорить о бессчетных «жеребцах» и несметных «кобылах» – неизменных метафорах почти любого русского дискурса, где – всякий знает – неперемненны «горящие избы» и кони, которых необходимо останавливать «на скаку», где вся эта, не то богоспасаемая, не то богооставленная страна – «тройка», где правда явлена никак не человекам, а разве что холстомерам, где даже по светлым праздникам «лошадка мохноногая торопится спешит», а уж что там у нее в «дровеньках» (мужичок, елочка аль какой ни то еще подарочек) – дело десятое.

И, знамо дело, не новость, что, по меткому слову поэта, – «все мы немножко лошади. / Каждый из нас по-своему лошадь». Ясно, что кажущаяся трюизмом эмблематизация «двоевидия» человеческой породы «развитым горсом и конским крупом», означивание в нас, любимых, «зверского» и «ангельского» человекоконом, символизирование «похоти» и «разума» через образ centaurus имеет давнюю традицию. Многие поэты – от Пиндара и Овидия до Апдайка и Бродского, живописцы – от безымянных средневековых миниатюристов и Боттичелли до Пикассо и Дали, скульпторы – от создателей рельефов Парфенона или декора владими́ро-суздальской архитектуры времен Андрея Боголюбского до Родена – охотно использовали это тело. Однако употребляли эту эмблему боязливо, с опаской. «Муж он, и то не совсем», – писал уже Овидий, немея перед хтонической загадкой.

Кентавры почти всегда безымянны, как безымянны и общи наши страсти и желания. Разве лишь трех из них вспомнит по именам образованный европеец: знаменитого Хирона – «Ахиллова пестуна», неизменно означавшего победу разума над кровью; страстного и вероломного Несса (зря ли именно он сопровождал Данте через седьмой круг ада, где томились насильники?); да, может быть, еще Фола «с душою грозовой».

Оставя историкам древности и Средневековья споры о том, как и откуда явились кентавры русскому человеку – от Эллады ли через «развращенную Византию», из западноевропейской ли культуры эпохи романтики или же с мусульманского Востока, – приметим только, что как бы не толковали «дивого зверя» средневековые авторы – как архитектора царя Соломона, строящего Иерусалимский храм или как аллеорию терзающих Русь кочевников, как обитателя райского сада или как эмблему зодиакального Стрельца (Sagittarius); как бы не изображали кентавра мастера русского Средневековья: в короне и без, с мечом (иногда – палицей) или безоружного, с крыльями или без них, кусающего себя за хвост или же стреляющего в этот же хвост из лука, неизменно лишь одно – «двуфридность» и «двуединность» этого «инокентавра», его принадлежность и «верху» и «низу», и «небу» и «бездне», его амбивалентность. Оттого-то в древней и новой русской культуре кентавр нередко контаминировался с иными двойственными символами – сфинксами, Горгоной Медузой, Полканом (Пулканом) с «пёсыми ногами».

Совсем не случайно то, что фигурой «двойного» кентавра украшались предметы двойственного смысла – *внутренние стороны ритуальных керамических сосудов для погребения*, где сходились воедино «смерть» и «воскрешение», а также *обороты бронзовых зеркал*. Быть может, последние говорят нам о средневековом понимании кентавра более, нежели все остальное. Ведь зеркало для человека «темных веков» – предмет неизменно магический, объединяющий в себе «благо» и «грех», «истину» и «морок», «правду» и «лжу», бытующий и как символ Богородицы, а значит и Христа, и как аллегория «волшбы» и, стало быть, антихриста. Последнее прочтение укреплялось апокалиптическим словом о «саранче», странно похожей на centaurus: «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее – как лица человеческие; и волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы у ней были как у львов» (Откр. IX, 7, 8). «Высоколобые» эпохи соотносили и связывали это предсказание Иоанна с не менее горячечными видениями Исаяи (Ис. XIII, 21-22, XXXIV, 11-14).

Вероятно, самое главное в «нашем», «отечественном», кентавре в его отличие от западноевропейского – то, что он неизменно боец, воитель, рыцарь, охотник, загонщик – то сражающийся с Бовой-королевичем, то преследующий оленя (традиционная метафора христианской души), то воюющий с «погаными», то сводящий счеты с царем Соломоном, то стреляющий из лука в собственный хвост, проросший змеем, то загоняющий человека... Для каждого случая – свой противник. Всякий раз – новый «лапиф». Неизменная «лапифобия», если позволить себе столь сомнительный неологизм. Вечное ожидание врага. И в этой почти тысячелетней русской кентавромахии, в отличие от западноевропейского Средневековья, мы никогда не встретим кентавра-мудреца, кентавра-воспитателя, кентавра-философа. Сколь угодно «нессов» и «фолов», но вовсе нет «хиронов». (Единственное исключение составляет разве что фрагмент серебряного пластинчатого браслета XII – XIII вв. из так называемого Тверского клада, где кентавр изображен поднесшим палец ко лбу, то есть «в раздумьи». С тех пор так и стоим.)

Итак, целое тысячелетие русской жизни centaigus, в которых встретились древнегреческая и мусульманская, римская и западноевропейская традиции, создав образ «двуязычия», «двусердия», «двуприродности», «двоесмыслия», в России неизменно эмблематизируют *противостояние*. Заметим, что противостояние это тем острее, что еще и во второй половине XVII столетия даже такие образованные люди, как Карион Истомин, твердо знают, что кентавр – не мифологический, а в самом деле существующий, реальный зверь («созданно животню»).

В Новое время России, в ее Возрождение, свысока глядящее на «косное» и «темное» Средневековье, во второй половине XVII – XVIII вв. для «просвещенного россиянина» кентавр – уже не реальность, но лишь эмблема. Эмблема обыкновенная, привычная, хотя и не самая популярная. Мы встречаем ее в монументальных росписях (так она – среди прочих – украшает своды знаменитого дворца в Коломенском), в лубке, где не то «китоврас», не то Полкан сражается с королевичем Бовой, изредка в скульптуре, пластические трехмерные образы которой неизменно живоподобнее иных... Тем пристальнее вглядимся в один из самобытнейших русских памятников эпохи, украшенный статуями кентавров, служащими своего рода прологом к удивительному ансамблю, завершающему «столетье безумно и мудро» – в усадьбу Останкино.

Возводившийся в 1790-е гг. *театр-дворец в Останкине*, столь же славный среди современников, сколь и у потомков, запомнился русским людям и иностранцам, вельможам и престолародью. Останкинский «храмовидный дом» по мысли своего создателя – графа Н.П. Шереметева – должен был собрать вокруг театра – сердца ансамбля – залы, служащие театральными фойе и одновременно представляющие собой галереи «изящных художеств» – живописи (Картинная галерея), скульптуры (Итальянский павильон), графики (Гравюрная галерея)... Призванный объединить «знатнейшие искусства», выражающий заветную идею эпохи – идею *Пантеона и единства культуры*, он был посвящен *Аполлону*. И потому намеревались увенчать бельведер здания статуей «сега светлого царя», стоящей теперь в центре парадного двора. (Если же представить себе этот замысел воплощенным, то архитектурная мелодия зазвучала бы одой, подобной державинской строфе: «Утренней зари прекрасной, / Дней веселых светлый царь!») И потому фасады дворца были окрашены в цвет «утренней зари» с белыми деталями, то есть «аполлонов цвет». И потому, заказывая скульптурный декор, настаивали на «аполлонических» сюжетах: «сюжет музыка с танцами», «сюжет бакханок» (то есть вакханок. – Г.В.), «сюжет грации и веселящиеся группы». И потому в декоре употребляли сочно проработанные цветочные и плодовые гирлянды, означавшие «приятности и пользы», даруемые «просвещенным увеселением». И потому все балясины по фасадам были золочеными, поскольку золото как символ света – непременный Аполлонов атрибут. И не оттого ли, наконец, так настаивал автор замысла на «аполлоническом», что в 1796–1797 гг. Феб-Аполлон стал политической эмблемой самого Павла I, приемом которого в Останкине и «открывался» для публики ансамбль?

Тем неожиданнее на первый взгляд включение в эту *аполлоническую гармонию ансамбля статуй строптивых кентавров* на главных воротах, подобное заливистому ржанию в размеренной и хорошо темперированной мелодии классицизма, звонкому цоку копыт, перебивающему монолог Расина.

Франческо Кампорези – один из первых архитекторов, работавших над «останковским строением», разработавший основные композиционные приемы театра-дворца и ансамбля в целом – предлагал поместить на центральные ворота *Диоскуров*, что вполне соответствовало общему аполлоническому замыслу. Как свидетельствуют архивные документы и сохранившиеся «рисунки кампорезиевы ворот ограде в Останкове», зодчим были предложены два варианта решения въезда. Один, неутвержденный, представлял Диоскуров, *уже оседлавших горячих коней*. Другой, одобренный, – *борьбу братьев со строптивыми животными*. Самое полное и обширное свидетельство об Останкине времен расцвета – «Опись 1802 года...» – фиксирует: «Сверху этих буток (ворот. – Г.В.) стоят две лошади гипсовые коиx держат под усцы (знамо дело – под уздцы. – Г.В.) два воина гипсовые».

Эмблематика изображения Диоскуров была внятна современникам. Они понимали, что речь идет о *ладе и порядке* между труднопримиримыми крайностями. В контексте останкинского «пантеона» – это «*цивилизация*» и «*натура*» под «аполлоновой десницей», *гармония между «культурой» и «естеством»*, возможные лишь через *власть искусства и искусство власти*. Ведь всякая, даже самая своеобразная по замыслу усадьба неизменно была попыткой пользоваться благами цивилизации без отказа от радостей природы, с точки зрения нашего современного скепсиса – робинзоной по колено в воде близ пологого берега в поле зрения сидящей на берегу и читающей Стерна бонны.

Первое («цивилизацию», «культуру», «порядок», «лад», «человеческое») означивали парадным, обращенным к Москве фасадом с его городским масштабом и соответствующими архитектурными деталями, парадным двором, организованным как сцена, расположенным по оси симметрии ансамбля «просеком», в конце которого, по словам очевидцев, была видна колокольня Ивана Великого в Кремле... Второе («натуру», «природу», «естество», «хаос», «животное») – фасадом парковым и самим садом, плавно переходившим от регулярства партера через тонко организованную «натуральность» пейзажного сада к «беспорядице» реального леса. Именно эта идея «порядка», вера в возможности «чистого разума», надежда на равновесие были основой основ эпохи Просвещения, победой ее «торса» над ее «крупом», триумфом ее «буду» над ее «был».

Однако очень скоро, уже в начале XIX в., в первые годы его, юношей гипсовых, держащих «под усцы» коней, заменили отчего-то кентаврами. Легко предположить в этом практическую подоплеку. Но ее нет; по крайней мере нет в документах. И вообще мы-то с вами, любезный читатель, взялись играть в бисер, то есть сопрягать всякое с любым, полагая вслед за мудрецом, что «все – во всем, любое – в каждом»...

Состоявшееся *предпочтение кентавров Диоскурам, замена «двойного» «двуединым», трансформация схватки внешней в некое внутреннее противостояние подчеркнули конфликт «цивилизации» и «натуры», указали на пропасть, разверзавшуюся меж «культурой» и «естеством», явили бездну, открывшуюся меж «парадным» и «приватным» на рубеже XVIII – XIX столетий.*

Перелом этот – один из самых незаметных, но и самых болезненных и даже кровавых в истории человечества. Довольно вспомнить о волне самоубийств, прокатившихся по Западной Европе, читающей «Страдания юного Вертера» Гете или о накладывавших на себя руки русских «бедных Лизах». Что же заканчивалось и что начиналось тогда? Что так мучительно болело?

Как это не покажется странным нам, воспитанным на романтическом мифе вечных общечеловеческих ценностей, на грани XVIII–XIX вв. открывалась *личность, собственное своеобразное «я»*, живущее отныне не родовой, социальной, национальной, конфессиональной нормой, не как неотъемлемая часть «мы», а *исключительно собой и своим «внутренним»*. Люди эпохи не знали, что болит, как не знает о том, что чешется у него за спиной бескрылый еще пте-

нец, и томились тяжестью неясных предчувствий. Секретарь Екатерины II А.В. Храповицкий записывает в своем дневнике примечательную фразу императрицы, сказанную ею в «задумчивом рассеянии»: «Какое меланхолическое время: трое зарезались». И продолжает, поясняя: «Это из семидневного рапорта губернаторского, и сказано *в отношении к собственному беспокойству*». Охваченные этим неясным беспокойством, вслушивающиеся во внутренний свой разлад, случавшийся прежде только вовне, снаружи, герои исхода позапрошлого века открывают нервы, меланхолию, нервические расстройства, сплин, неврастению, мизантропию, аневризмы, истерики и ... психологию («В домах появились *диваны и будурфы, а с ними... – истерики, мигрени и спазмы*», – писал приметливый С.Н. Глинка). То, что прежде было если и не едино, то гармонизировано, если не приковано, то крепко взнуздано, теперь вырывается наружу, разрывая «я» изнутри. Из Диоскуров в кентавров, из воителей с чужим и другим в соревнователей с самим собой болезненно трансформировались императоры и мудрецы, воины и священники, мистагоги и поэты, дворяне и буржуа.

А.С. Пушкин несколько десятилетий спустя цитирует в одном из писем знаменитые предсмертные строфы Г.Р. Державина:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвеньи
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Через звуки *лиры или трубы*,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Цитирует, как всегда точно, допуская лишь одну «ошибку» (или – «описку», «очитку», «ослышку», поминая старика Фрейда?), меняя державинское «и» на свое «или». То, что для людей поколения Державина составляло единство («лира и труба»), дающееся победой разума, для их детей обернулось непримиримым конфликтом, категорическим выбором «лиры» («частного», «личного», «приватного», «чувства», «отдельного») или «трубы» («парадного», «общественного», «гражданского», «долга», «официозного»). То, что прежде было охотой за добычей, погоней за посторонним, враждой с лапифом, кентавромахией, отныне – борьба с собой, разлад внутри себя, схватка «во мне», лапифофобия.

Между этими «и» – «или» лежит одно из сильнейших потрясений новоевропейского сознания, один из глубочайших тектонических разломов менталитета, великая психологическая революция романтиков. Открыв новое состояние «ego» – какличностного «я», как неповторимого мира, как подлинного космоса и реальной бездны, люди конца XVIII – начала XIX столетий увидели подлинно непроходимую пропасть между «лирой», призванной выразить «жизнь сердца», и «трубой», зовущей к исполнению гражданского долга, между всегда побеждающими Диоскурами и неизменно изнемогающими от противостояния со своим внутренним лапифом кентаврами. Если Средневековье оперировало категорией «мы», если эпоха конца XVII – исхода XVIII вв. исповедовала я-«индивидуальность», пребывающую в состоянии лада, зыбкого равновесия «внутреннего» и «внешнего», то теперь произошло великое открытие я-«личности», той самой «личности», что обратилась в себя, в бездну «внутреннего», той самой личности, идеей которой второй с лишком век продолжает жить европейский мир.

Зря ли явление нового смысла старой эмблемы состоялось здесь, в Останкине, и связано с именами двух самобытнейших фигур рубежа веков – Н.П. Шереметева и Павла I? И граф Николай Петрович, и император Павел Петрович являют нам новое поколение русских людей – не героев, не святых, не подвижников, не харизматических лидеров, более всего на свете нуждающихся во враге, но судьбостроителей, решающихся на собственную, ни с кем не схожую судьбу, погружающихся в бездны личного и только оттуда обустривающих внешний мир

и его пространство. Ведь подлинное и живое историческое пространство – не кладбище и не скелет. Это – воспользуемся высокопарными формулировками позапрошлого столетия – всегда «вместилище духа и лоно памяти». Останкинский театр-дворец помнит не только своего автора гр. Шереметева, строящего «пантеон» как «величайшее, достойное удивления и принятое с восхищением публикою дело, в котором видны *мое знание и вкус*», но еще и иного, непривычного массовому сознанию Павла Петровича. И здесь, в Останкине, особенно неуместны и образ шизофренического тирана, и параноидальный гамлетизм, и российская брутовщина – характеристики Павла и его времени, составленные по легендам и анекдотам. Останкино заставляет нас помнить не «несчастного злодея», но того Павла, который даровал крестьянству трехдневную барщину вместо пятидневной, раскольникам и иноверцам – свободу вероисповедания, купечеству – гражданские права... *«Многое ждали от царствия Павла Петровича и думали – настало наконец время благоденствия России»*, – писала о начале царствования небезызвестная «бабушка» Д. Благово, рассказывающая нам за пять поколений. Несколько лет спустя, уже после убийства Павла, И.М. Муравьев-Апостол, которого трудно заподозрить в симпатиях к Павлу и Романовым вообще, говорил сыновьям *«о громадности переворота, совершившегося со вступлением Павла I на престол – переворота столь резкого, что его не поймут потомки»*.

И тот, и другой, и Н.П. Шереметев, и Павел I, и «Крез-младший», и «русский Гамлет» одними из первых в нашем отечестве ступили на дорогу личностного самосознания, личностного выбора, личностного поступка, нашли «лапифа» в себе, заслужив у современников репутацию людей по меньшей мере «странных», став одними из первых кентавров в наших пенатах, в стране бессмертия Диоскуров, где всегда и неизменно виноват он, не мы, другой, инакий, лапиф – отвратительный начальник, нечуткая жена, неблагодарные дети, нежная любовница, вздорные коллеги, скандальные соседи, ублюдки оппоненты, поганый режим, непросвещенное отечество, бездарный народ...

Мы, увы, не победили и, кажется, уже не победим кентавра в себе. Утешением – при помощи А. Кушнера – может служить разве что нервозная простота нынешней суматошной жизни.

Представь себе: еще кентавры и сирены
 Помимо женщин и мужчин...
 Какие б были тягостные сцены!
 Прибавилось бы вздора и причин
 Для ревности и повода для гнева.
 Все б страшно так переплелось!
 Не развести бы ржання и напева
 С членораздельной речью – врозь.
 И пело бы чудовище нам с ветки.
 И конь стучал копытом, и добро
 И зло совсем к другой тогда отметке
 Вздымались бы, и в воздухе перо
 Кружилось... Как могли б нас опорочить,
 Какой навлечь позор!
 Взять хоть Улисса, так он, между прочим,
 И жил, – как упростилось все с тех пор!
 И, впрямь, как упростилось...

ПАМЯТИ ПЛАТФОРМЫ «ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ»*О метафизике одного локуса на востоке Москвы**РУСТАМУ РАХМАТУЛИНУ С УДИВЛЕНИЕМ*

Платформа Плющево бывшая Шереметьевская названа в честь рабочего перовских вагоно-ремонтных мастерских председателя военно-революционного совета Московско-Казанской железной дороги члена исполкома Моссовета участника гражданской войны Павла Карповича Плющева (1890 – 1920).

Мемориальная доска на платформе Плющево

И совсем я говорю не с тобой,
 А с надменной телефонной судьбой.
 Я приказываю:
 – Дайте отбой!
 Умоляю:
 – Поскорее отбой!
 Но печально из ночной темноты,
 Как надежда,
 И упрек,
 И итог:
 – Пять-тринадцать-сорок три, это ты?
 Ровно в восемь приходи на каток!

А. Г а л и ч

Покойный дядюшка мой...

Ну за что не возьмись в этой стране, обреченной неизбежной и безнадежной литературщине, что не скажи, как не молви, куда не ступи, сразу попадаешь в цитату... Тряхнешь эдак болезной головой, над которой, как известно, висит громадное облако «Евгения Онегина», привычно в меру так попечалуешься и совсем обреченно продолжишь...

Итак, покойный дядюшка мой, Петр Иванович Потрясов, тихо оставивший этот лучший из миров в конце теплого сентября 1994 года, завещал мне квартиру. И на 33-м году впервые в жизни я стал наконец-то законным владельцем малогабаритного жилья на востоке Москвы. И не стоило бы все это рассказа (по точному замечанию русского писателя со странным прозвищем Вайль-Генис – что у него, кстати, фамилия, а что имя? – «у нас у всех дядя честных правил, даже если дяди нет»), так вот, не заслуживало бы все это повествования, если бы не странности того места, где мои однокомнатные хрущобские апартаменты расположены.

Места эти странны мне давно. С начала 1960-х, когда туда переехали мои родственники: Петр Иванович и супруга его, а мне, строго говоря, двоюродная бабушка, или – с приветом крайним патриотам и материковым почвенникам – совсем-совсем строго – великая тетка Анна Михайловна Потрясова (Булыгина в девичестве). Собственных детей не имея, она обожала племянниц и племянников, в том числе и мать мою. Анна Михайловна служила главой женского колена нашего рода, за что и заработала прозвище, а может, ученую степень или, вернее, воинское звание – «мамания». И первый номер, выученный мной прежде всяких 01, 02 и 03, – АЖ-14-06 – телефон мамани: «Ведь мало ли что!».

Мамания знала все и про всех, неутомимо раздавала советы, выслушивала исповеди, вершила суд и расправу, была остра на язык с бесполезными и вкрадчива с нужными, держала в ежовых рукавицах равнодушного к рюмке мужа и с неизменным регулярством собирала всех нас на семейные обеды. Добропорядочная патриархальность этих трапез особо подчеркивалась последующими прогулками по пейзажному парку усадьбы Кусково, благо парк-то, вот он, из окна видать. Точнее, дом в нем, в парке, а еще точнее – на краю его, и стоит...

И пока маманя под фирменное заливное публично воспитывает нынешнюю свою жертву, можно тихонько выскользнуть на балкон и протянуть руку к молодой лапе стопятидесятилетнего дуба. А то еще набрать нападавших желудей в целях дальнейшего прицельного бомбометания. Или с прохладной странностью обнаружить в своей шестилетней, стриженной «под полубокс», башке удивительную мысль про то, что эта вот улица Маёвок, по которой катит пыльный милицейский ГАЗик, никакая она не улица, никаких она не Маёвок, а просто одна, самая левая, из трех аллей, ведущих к кусковскому дворцу, а железная дорога просто отрезает кусок этой аллеи, и поэтому...

«Ну сколько еще повторять! Ты слышишь? Одевайся, мы идем гулять!..»

Хронометраж и маршрут прогулки известен, как сценарий новогоднего утренника в детском саду или состав сборника статей про русскую идею: пять минут по этой самой улице Маёвок до железнодорожного переезда у станции Плющево Казанской дороги; дальше – с полчаса по юго-западной аллее кусковского трезубца до дворцового пруда с вдумчивыми остановками для бесед с Дмитричем (один, явно после пива), с Юрпалычем (+ дородная жена), с Розой Цезаревной (рядом сын Миха и супруг Николай Израилевич), с Марьявной (при сопливой внучке, что «много-про-себя-понимает»), с начальником 5-го цеха Васильевым (который, как все знают, «тот еще жук»), с Сергевной из 39-го дома (вот у нее-то внучка вполне ничего); потом раскладывание выпивки-закуски на клеенке; новомодный бадминтон; мгновенно ставший вдруг своим; купание зятьев-племянников при сатиновых плавках на завязках, в том числе и моего еще очень худого отца, в мутных водах дворцового пруда; посещение кафе на левом берегу пруда для покупки пива, чебуреков и газированной воды «Саяны»; фотофиксация всех этих умильных семейственных сцен камерой «ФЭД» без надежды на отпечатки; обратный путь, когда взрослые уже не так строги и энергичны, чтобы выдергивать тебя из меланхолического топтания пыльных лопухов обочины под невежественные размышления о том, что улица Зарайская – это, верно, то место, что за раем, а рай, наверное, сам музей за забором; или жили здесь какие-то Раисы-Райки, а после них – начиналась Зарайская; финальное чаепитие под пирог с черникой в доме на углу Маёвок и Зарайской; дорогу домой, быть может, скрасит трубочка с кремом за 15 копеек у платформы Чухлинка Курского направления...

(Троеточие конца этой чрезмерной коды авторского своеволия не про томительную долготу тех дней. Оно про то, что дальше я, наверное, засну в автобусе №7, дергая в полудреме за ниточки ту странную утрешнюю мысль: ну там, на балконе, там, где случилась особая пустота в черепе, вот то мятное ощущение холодка в голове, будто съел коробку зубного порошка и запил «Ласточкой». Холоднее только другая думка – засыпательная моя забава от четырех лет до семи: можно ли так не думать, что не думаешь даже о том, что ни о чем не думаешь? Апофатическое нанизывание бесчисленных предикатов на эту незамысловатую конструкцию эвристического прорыва, увы, мне так и не принесло, но до того скоро усыпляло, несмотря на шум нашей коммуналки имени Ноя, что слыл я, по словам все той же мамани, «вполне даже управляемым ребенком». Вот про что было это троеточие.)

Во второй половине – конце 1980-х постаревшие племянники-племянницы и повзрослевшие внуки-внучки вновь зачастили в дом на углу Зарайской и Маёвок. Нетрудно догадаться, что приходили мы все больше по поводам печальным. Прежние семейные обеды по воскресеньям превращались в поминальные ужины по будням. Окончательный конец традиции пришелся на март 1987 года. Держа марку, в конце февраля из 12-й больницы маманя еще успела позвонить мне и поздравить с рождением среднего, как выяснилось позже, сына, по имени Сергей, как оказалось. И отдала богу душу многомудрая и вельми хитрая бой-баба Анна Михайловна Потрясова (Булыгина в девичестве).

Справивши поминки по мамане, племянницы-племянники тут же озаботились трезвенностью безутешного вдовца. Как выяснилось, напрасно. Петр Иванович пил немного, вел, как мог, свое незамысловатое стариковское хозяйство, тренькал в одиночестве на балалайке и с патриотическим эгоизмом рвал саратовскую гармонику, а после взял да и женился на знойной молодухе.

На глупые вопросы племянников-зятьев-внуков: «Да на что ж она тебе?», – отвечал твердо и энергично: «А ты-то что со своими бабами делаешь?». В общем, «знает только ночь глубокая, / как поладили они». Увы, молодая не радовалась старика ни борщом, ни заливным, ни пирогом с черникой и в конце концов была не без скандала изгнана. А Петр Иванович чуть спустя помер разведенным, отказав мне то, что гордо величается нынче недвижимостью и облагается налогом в сумме 32 рубля 47 копеек. Здесь я и имею честь пребывать теперь ответственным квартиросъемщиком, предаваясь праздным размышлениям о странных особенностях этого московского локуса.

Первое, с чем сталкивается забредший в сей заповедник редкий новосел, – принципиальное отсутствие общественного транспорта. Такие близкие по карте станции метро («Рязанский проспект», «Авиамоторная», «Перово», «Новогиреево», «Выхино») в реальности недосягаемы. Расписание немногочисленных автобусов и еще более редких троллейбусов непостижимо. Услуги «Автолайна», с нахрапом окучивающего все иные части столицы, тут так неназойливы, что почти и незаметны. Аборигены, впрочем, не страдают. Вся их жизнь проходит в здешних границах. Пришлецу же, имеющему интересы на стороне, остаются два выхода – автомобиль или электричка.

В районе, зажатом между двумя – Казанской и Курской – железками, платформы Перово, Плющево, Чухлинка, Вешняки, Новогиреево – не просто транспортные узлы. Это именно проемы-в-преграде, ворота в другие части Москвы и потому общественные центры. Здесь ежедневно здороваются, встречаясь утром и вечером, по дороге на работу и с нее. Здесь назначаются встречи и свидания. Здесь главные – они же и единственные – злачные места. Здесь жидкие бензоколонки. Здесь же редкие магазины, где иные продавцы и покупатели знакомы лет по тридцать. Здесь расклеиваются важные объявления. Здесь вертят головами растерянные, заплутавшие, невесть как оказавшиеся в наших палестинах таксисты. Здесь поджидают гостей, впервые едущих к тебе в дом и по пути недоумевающих: не на дачу ли заехали?..

Маячащие фоном, в пределах взгляда, одичалые кусковские кущи, перестук железных колес, МПСовские голоса свыше про «экспресс по главному» сообщают всему легко ощутимый привкус дачности-путешественности-неукорененности с характерными «зовами железнодорожного пути», с чаепитиями на террасах-балконах, с фразами «мы – в город», с вареной курицей на листе вчерашней «Вечерней Москвы», с местечковой ксенофобией (где свои «цегане», свои «еврейцы», свои «хохлы», свои «армяны», но не может быть и нет «своих» вьетнамцев), с дворовым домино в уцелевших еще беседках 1960-х годов постройки, с поездками «за харчами» в выходные, с квелыми астрами и снулыми георгинами в легкомысленных объятиях «Московского комсомольца», с привычкой провожать пустым взглядом скорый «Москва – Оренбург», «– Томск», «– Владивосток», почти подсознательно отмечая опоздание «свердловского», с газетной строчкой, прилипшей к соленому огурчику, с жизнью, точно привязанной к расписанию электричек...

(Можно продолжать, но ведь за всем этим виден могучий толстовский шампур «Двух гусаров», где легкого дыхания Л.Н. хватало на нанизывание – «когда не было еще ни шоссежных, ни железных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камельи, которых так много развелось в наше время...», – и далее-далее-далее на целый белый лист не обихоженой тогда русской литературы; вперед, не завязая в томительных деепричастиях; еще-еще, не прожевывая молодыми зубами взрывной шест русских согласных, благо желудок русской литературы еще безразмерен и работает исправно; легко перемахивая падежи и все прочие, до конца неотстоявшиеся пока, согласования; щедрой рукой раскидывая запятые и не заморачиваясь на иные знаки препинания; и так гонит-гонит, мучая шенкелями взмыленную фразу вплоть до нарочито незамысловатой экспозиции, указующей, наконец, узловатым перстом длинного (именно-именно длинного) типографского тире: «(...) – в губернском городе К. был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы». И мне бы после чрезмерно затянувшейся экспозиции, хошь и с опозданием,

самое бы время броситься уточнять диспозицию, не позабыв, конечно, предварительно закрыть скобки, уже запамятовавшие, когда были открыты.)

Планиметрия этих мест – развернутое в хронотопе эхо «генерального чертежа» Кускова. Стянутый к дворцу «лебловский трезубец», давно деградировавший соединенными усилиями всех «мослесопарков» и прочих «зеленхозов», на юго-западе город поддержал улицей Маёвок и продублировал Курской железной дорогой, добавив для верности чахлый проезд, торжественно величаемый Рассветной аллеей. Обрезанную юго-восточную перспективу заменил улицей Юности между нынешними Новогиреевской и Вешняковской эстакадами. Безнадежно махнул рукой на центральный луч-канал, ампутированный Казанской железной; едва обозначил его продолжение пунктирной путаницей трех Институтских улиц и язвительно пошутил над руссоизмом и толстовщиной, завязав эти проезды на улицу Яснополяскую. Роль «широт» на кусковской карте мира исполняют все та же Казанка, параллельные ей улицы Зарайская и Михайлова и, наконец, сам Рязанский проспект – та самая Старая Рязанка, на которую в середине XVIII века и ориентировал свой «Эдема сколок сокращенный» граф Петр Борисович Шереметев.

Знамо дело, всякая усадьба – попытка смоделировать мироздание. Каждая из них – и Иерусалим, и Вертоград, и Рим, и Империя, и Мир, и Отчина, и Чужбина... Любая из них – желание пользоваться радостями «натуры», не отказываясь от благ «цивилизации», то есть возлюбленный опыт ненаглядной золотой середины, промежуточного и гармоничного бытия между крайностями «города» и «природы», «порядка» и «хаоса», «порока» и «добродетели»... Уж писали мы про это, переписали. И смысловая архитектоника Кускова, казалось бы, такова, если б не одно существенное, впрочем, и жирное «но».

Семантически обращенный к «порядку», «цивилизации», «городу» южный фасад упирается взглядом в пейзажный парк на противоположной стороне пруда, и если и глядит на некий «лад», то поверх всех мыслимых барьеров. Северный же, свободно выливающийся в партер регулярного парка, будто и не намерен блюсти строгих правил садоустройства XVIII столетия, неукоснительно предписывавших плавно перетечь в «пейзажный сад», а потом и в «лес», да так незаметно, менторски наставлял Н.А. Львов, чтобы «неприметное их разделение более в плане, нежели в самой вещи означалось». Кусковский партер вовсе не стремится к «вольности», завязая в Гае со всеми его давно разрушенными увеселениями.

Этот же зеркальный оборот приключился в Кускове и со всеми «строениями до хозяйственной части касательными», и даже с шереметевской дворней, странным образом продолжающей жить и нынче. «Первостатейная», «белая», та, что «при барине», что, если не вокруг «*appartement de parade*», то уж около «*appartement de commodite*», давно разбрелась на север от дворца. «Белая челядь» словно превратилась в обитателей чилийского посольства (голландский домик – швейцарский – итальянский + теперь чилийский), в слушателей Института молодежи (бывшей Комсомольской школы), то есть в выпускников шереметевских школ землемеров и курсов управителей, в насельников кооперативных домов по улице Молдогуловой... А на южной половине – другая, «черная» дворня, строго и дружно хранящая свою особицу, структурированную трилучием кусковского пейзажного парка, двумя железками и тем, что некогда гордо величалось заводом «Молния», будто бы родившимся когда-то из шереметевских кузниц, каретных, столярен, оранжерей, скорняжных...

Крепостные завода, поселенные здесь в незапамятные времена, хранят ревнивую верность этому захаревшему монстру индустрии. Здесь все всех знают и по сию пору помнят фамилии директоров, заместителей, главных инженеров, начальников цехов, мастеров, бригадиров, кладовщиц... Потому в разговорах у пивной (Перово) или рюмочной (Чухлинка) нет-нет да и мелькают уточнения: «Ну, Гришка, сын того, рыжего, мастера из седьмого цеха. Он еще с твоим Валеркой учился». «А-а-а!», – удовлетворенно отвечает собеседник. Засим высокие договаривающиеся стороны соскальзывают в наезженную и, кажется, бесконечную колею разговора о рухнувшей советской промышлен-

ности, бесславия могучего некогда завода и, конечно, виновниках бедствия под названием «РСП» («Развалили Страну, Паскуды»).

Брат-социолог внятно объяснит нам что-нибудь про «консервативную кастовость населения промышленных районов» и их «специфическую стратификацию». Я был бы готов выслушать эту арию, кабы эта самая «клановость» не померла в других московских локусах безвозвратно. Что ходить-то далеко?.. Вон в близлежащем Перове, в бывших кварталах и домах ПВРЗ или «Прожектора», ничего подобного и в помине давно нет, хотя еще на моей памяти дрались пацаны «с Зарайки и с Коновалова», с одной стороны, и «перовские», с другой, а всякий повздоривший с начальством пролетарий доходчиво объяснял, что «на вагоноремонтном (...) такого (...) специалиста с руками (...) оторвут», а «на «Прожекторе» (...) с моим-то разрядом две сотенных с полтиной (...) сразу положат, да (...) премии, да тринадцатая»...

Что держит аборигенов в этих местах, если не кусковский гений места, обитающий и поныне в странном клине, очерченном двумя железными дорогами и улицей Юности? Что хранит туземскую самость в этом чудном треугольнике, ставшем вовсе непроходимым в 1970-е, когда прежние железнодорожные переезды заменили на подземные переходы, не столько сократив возможности маневра для автомобилистов, сколько придав переходам хтонический смысл возрождения через умирание, в отличие, конечно, от мостов – горных перпендикуляров «реке времен»? И не обратиться ли в жажде ответа к рерихнутым, блаватизированным, сыроедам, босоходам, астрологам, хатхайгогам, мистагогам, оккультистам, руконоложителям (руконакладателям?), слововращателям (столовертателям?), руноведам, сайентологам и прочим дианетикам? Уж эти-то найдут какую ни то аномалию, а за ней и объяснение отыщут!.. И в чем тогда разница между диагностиками кармы и метафизиками города?..

Зеркальная аберрация усадебного плана, заданная не то волей, не то прихотью Петра Борисовича Шереметева, по сию пору аукается еще и в том, что именно здесь пересекаются две железные дороги, одна из которых – Казанская – левосторонняя. (Местные-то привыкли, а чужак, особенно подпивши, вечно уедет вместо центра Москвы в Люберцы, Голутвин, а то и в Рязань.) Могу, конечно, привести историческую справку и о доле английского капитала в построении Московско-Рязанской, одной из первых в России, железной дороги, и о степени участия британских путейских инженеров в ее строительстве... Могу с риском для своей репутации серьезного исследователя свидетельствовать, что количество левшей здесь куда больше среднего по стране, заверять в оном, работая компьютерной мышью левой рукой и закуривая той же шуйцей... Но важнее иное, левостороннее движение здесь – такой же убедительно невнятный образ Альбиона, Индии, Японии или, скажем, Южноафриканской республики, как кусковские Голландский, Итальянский, Швейцарский домики... И зова Тихого океана в дороге этой ровно столько же, сколько царства Нептуна в усадебном Проте... И встреча двух вокзалов – Казанского и Курского, пересечение их путей, такое же немислимое свидание, как randevу Бендера–Воробьянинова, начавших и закончивших свою эпопею на Казанском, с Веничкой Ерофеевым, так томительно едущим в Петушки... И маячащий за обоими вокзалами Кремль так же реален в своем приказе колонизации, как «рязанско-казанская» тяга к Волге, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток вплоть до океана, а то и перемахнуть на Аляску и как «курское» желание тепла, чернозема, белого налива, семечек, галушек и так до черноморской воды и – хорошо бы – еще до Босфора и Дарданелл...

Вторая, после Каланчевской эстакады, встреча двух железных векторов меняет пейзаж и трансформирует хронотоп в этом чудном месте на востоке Москвы. Здесь особое пространство, о чем я все и толкую; тут другое время – не выпретенное, но жидкое время центра столицы, не благодное в чередовании сезонов время деревни, не дачное время любителей природы, не мифическое усадебное, хотя к последнему, пожалуй, время здешних мест всего ближе... Консерватизм не спившихся в отсутствие барина бывших крепостных; мафусаилов век насельников этих мест, порядком превосходящий среднесос-

ковскую норму; воплощенная в натуре геополитическая мифологема Кускова; евразийские зовы железнодорожных путей на восток и юго-восток, стартующие от «православия, самодержавия, народности» площади трех вокзалов и эдемского обещания «Кремля» на Курской площади определяют нрав туземцев, более десяти лет уверенно голосующих за государственных и патриотов, усеивающих руками своей молодежи заборы и гаражи вдоль двух ж\д соответствующими граффити, не без симпатии поглядывающих в сторону КПРФ и спокойно смотрящих на шалости РНЕ, обосновавшегося штаб-квартирой неподалеку.

Все это не столько осмысленные убеждения, сколько растворенные в крови аксиомы, напечатанные все тем же лукавым гением места, упорным в антиистории своим историческим духом локуса. Здесь нет истории и она кровно мифологизирована. Здесь многие, гуляя едва ли не еженедельно от дома до кусковского дворца, мало что внятного расскажут об усадьбе, а иные и вовсе никогда не обходили пруд. Здесь бывшая дворня Шереметевых – тех, что категорически не принимали корреспонденцию с мягким знаком в родовой фамилии, о чем и уведомляли каждого нового главного столичного почтмейстера, тех самых, что нещадно секли когда-то, ежели свои грамотеи вставляли сей несчастный знак – безразлично произносит «шереметьевские» топонимы. Здесь Плющево, поименованное в память давно забытого героя революции, воспринимается современным Кускову, Вешнякам, Перову и Новогирееву. Здесь улица Лазо (имя революционного мученика давно отставлено) восходит в былинной этимологии к «лазу-лазать-пролезать». Здесь и Чухлинка возводится к некоему краю, к метафизической демаркации, где по ту-то сторону, может, и Эдем, а по сю – нет, не чухна, а вовсе зачуханные и чумовые, Иваны-дураки, которым как не крути и царевна и полцарства все равно причитаются и обломатся, дай только срок. Здесь едва ли не каждый второй расскажет пришлецу, что пограничное к западу Карачарово – от того, что сюда ссылали непросыхавших пьяниц, прописывая им *кафу за чарку (чару)*, бессознательно цитируя самую короткую главу из путешествия Венички Ерофеева «Серп и Молот – Карачарово» (ну там, где «и немедленно выпил» и опущены, согласно уведомлению автора, «*полторы страницы чистейшего мата*»; а, впрочем, коли уж дошло до беседы про Карачарово, то вам бессознательно, виртуозно и анонимно исполнят и следующие перегоны: Карачарово – Чухлинка, Чухлинка – Кусково и Кусково – Новогиреево). Здесь перестроечное Выхино принято для обиходу не из ненависти к деяниям и личности А.А. Жданова, а из удобства пользования, коли уж там («в Выхине», а не «на Ждановской») самый дешевый рынок. Здесь сам я, пожилой мальчик, вроде бы отягощенный излишними знаниями смешного ремесла под названием «история», побывавшись с полчаса с мамками на детских площадках, или с папками в пивной, или с дедками в рюмочной, или с бабулками в булочной, нечувствительно начинаю говорить «шереметьевская», забываю про Петра Борисовича Шереметева и деяния его, толкую приятелю, как проехать «по Лазе», испытываю угрызения совести, грозящей мне карой за чару, перестаю склонять Кусково, Перово и прочее Новогиреево, начинаю сомневаться в том, что пространство – предикат времени, и все пытаюсь набрать на мобильнике давно отмеченный номер покойного дядюшки моего и мамани – АЖ-14-06...

«... это ты?»



Типичная история

ПОЧТИ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ

Февральское утро выдалось ясным и морозным. Было светло от обилия снега и от голубизны солнечного неба. Во всем чувствовалось приближение весны – даже воздух был по-особому свеж и прозрачен. Такое утро придает человеку силы, и кажется, ничто не может омрачить настроение.

Именно в то утро ко мне заглянул старинный приятель, с которым в последнее время мы виделись довольно редко. После общих приветствий сели за стол. «Чай или кофе?» – спросил я. «Пожалуй, чай – разговор у меня к тебе может быть долгий, так что ставь самовар...» – Он задумчиво улыбнулся и, глядя в окно, забарабанил пальцами по клеенке. Мне показалось, что он, обычно деловито-собранный и уверенный в себе, сегодня чем-то встревожен и несколько растерян. «Что-нибудь случилось, Николай? Дома всё в порядке?» – спросил я.

Я знал его еще со студенческой скамьи, мы дружили семьями, наши дети были почти ровесниками. Только вот профессиональные дороги оказались у нас разными. После перестройки он какое-то время еще занимался наукой в довольно престижном военном НИИ, а потом ушел в коммерцию. И не безуспешно. В последние десять лет возглавлял фирму, с обширными партнерскими связями за рубежом. Я же пошел по общественной линии, оброс новыми друзьями и связями, кое-чего добился и всегда чувствовал себя на равных с ним. Жизнь крутила нас обоих и так и эдак, годы мелькали с нарастающей быстротой, и все-таки в наиболее острые моменты мы всегда перезванивались и встречались. Я до сих пор дорожу его советами. Видимо, сегодня и он ощутил потребность о чем-то посоветоваться со мной или просто-напросто излить душу.

Я накрыл на стол, достал чашки, вынул кое-что из холодильника, заварил свой любимый «Эрл грей» и сел напротив него. Он повернулся ко мне: «Домашнее всё в порядке, спасибо. А на работе... С чего бы начать? А, ладно, начну сначала. Так что наберись терпения».

И он начал свой рассказ.

– Ты знаешь, мой офис находится в одном из переулков старого Арбата – наверное, по нему могла проходить булгаковская Маргарита, направляясь к дому Мастера. В последние год-два особняк оказался в соседстве с новыми шикарными зданиями, которые окружили его плотным кольцом. Внешне он, конечно, проигрывает этим дорогим высоткам, но дом заметный, да и место отличное. Я собирался в эту весну облицевать его, чтобы он был под стать новому окружению.

Об этом я думал и в одну из недавних пятниц, оставляя машину на нашей стоянке около офиса. В пятницу у меня, как правило, работы немного – так, текучка. А вечером собирался пойти с женой в Новую оперу, на Петровке, – там предстояло вручить престижную юридическую премию за минувший год одному моему давнему коллеге, юристу от бога и с характером, к счастью, не чиновничьим. Он и сейчас востребован властью.

Однако днем я обнаружил в компьютере запись о телефонном звонке, которую как-то мельком зафиксировал в сознании, но почему-то не смог отзвонить. Звонил наш с тобой сокурсник, мой сослуживец по НИИ. Вечером

связался с ним. Суть того, что он сказал, сводилась к следующему. Какая-то организация хочет завладеть моей фирмой и нашим зданием. Те, кто просил довести до меня эту информацию, рекомендовали срочно спрятать всю документацию на здание и на компанию, не звонить по мобильному телефону, так как он поставлен на прослушку. Они предложили мне свои услуги и помощь, поскольку занимаются защитой от таких недружественных поглощений и уже встречались на поле боя с этой организацией-поглотителем, назовем ее условно «Стратегия-бизнес».

Информация очень серьезная, она сразу заставила меня насторожиться.

Организаций, которые специализируются на подобного рода «поглотительном» бизнесе, довольно много, но «Стратегия-бизнес» – одна из самых больших акул в этих водах. Из конкурентов с ней никто не связывается – бесполезно. Чтобы хоть что-то узнать о ней, я полез в Интернет. То, что узнал, звучало неутешительно. Оказалось, что она считается причастной к скупке в 2001-2003 годах контрольных пакетов акций нескольких десятков городских предприятий с целью их закрытия и застройки их территории. Далее шло перечисление заводов, фабрик, контор.

На субботу я назначил встречу со своим юристом Марковым и бывшим генеральным директором моей фирмы Преображенским. У каждого из нас было акций поровну, и вместе мы держали пакет чуть больше контрольного.

Собрались, переговорили, решили действовать согласованно. Сделали копии всех документов, заверили их у нотариуса. Внешне все было спокойно, но внутри поселился какой-то холодок – как перед настоящим боем. Документы спрятали. Условились, что с понедельника нужно будет переговорить с бывшими сотрудниками фирмы, которые сейчас на пенсии, – у них было 10-15 процентов акций. Но этого достаточно, чтобы, опираясь на закон об акционерных обществах, созвать внеочередное собрание, то есть ввязаться в бой. А дальше – побеждает тот, у кого окажется больше сил, связей и денег. И Марков, и Преображенский повели себя достойно – активно включились в работу. В такой ситуации имело смысл бороться.

По каким-то другим делам я связался с одним из руководителей правительства Москвы, ему подчинялась структура, имеющая прямое отношение к московским имущественным вопросам. Я рассказал о своей ситуации.

– Знаем мы эту и подобные организации, – прозвучало в ответ. – Они разоряют промышленность Москвы и оставляют кучу безработных, но мы ничего не можем с ними поделать – все они поддерживаются наверху, на федеральном уровне, в Минэкономике. Там считают, что таким образом предприятия оздоравливаются. К тому же действует эта организация в пределах закона. А законы наши таковы, что мы защитить предприятия практически не можем. В результате за большие деньги скупается контрольный пакет акций, а потом, если компания сразу не сдается, ее банкротят. Когда закон принимали, слуги народа ратовали за обеспечение прав кредиторов. А получилось так, что по нему любой хваткий парень с улицы может в два счета обанкротить и пустить по миру хоть Билла Гейтса, живи миллиардер в России.

После этих слов вспомнились мне кадры захвата предприятий, их офисов, смены руководства, которые часто мелькают на экранах телевизоров, с участием судебных приставов и частей ОМОНа. Так захватываются предприятия организациями-поглотителями. Мурашки пробежали по коже – не хотелось бы попасть в такую ситуацию.

– Да, помню, – сказал я. – Согласно закону, если предприятие имеет долг более пятисот минимальных окладов и не выплачивает его три месяца, оно, считай, банкрот.

– Вот-вот! Главное – организовать долги, дальше – дело техники. А техникой они овладели в совершенстве.

– Так что, меня ждет тяжелая борьба?

– Боюсь, что так. Правда, нашим московским структурам, обеспечивающим экономическую безопасность предприятий, удалось с этими акулами кое о чем договориться. Например, о создании центра по переподготовке кадров и устройству их на работу. Ведь появилось много безработных. А вам я сове-

тую написать письмо обо всем в московское правительство – на всякий случай.

Написали мы такое письмо, рассказали о нашей фирме, о ее богатом и успешном прошлом еще до перестройки и реформ, когда отечественная промышленность просто грохнулась. Но сегодня оживают и экономика, и промышленность и становятся востребованы такие фирмы, как наша. На протяжении тридцати лет мы специализировались на поставках различных технических средств на строящиеся и реконструируемые объекты в нашей стране и вне ее. Должен тебе сказать, что география поставок у нас действительно была обширной – и Китай, и Индия, и Пакистан, и Болгария, и многие другие страны. Написали и о том, что именно сейчас, когда ожидается рост промышленности в области, которую обслуживает наша фирма, со стороны «поглоителей» совершается акция, без сомнения, нацеленная на овладение зданием, расположенным в центре Москвы, площадь которого более двух тысяч квадратных метров.

Однако события стали развиваться настолько стремительно, что каждый шаг нашей фирмы чуточку запаздывал. В конце недели мне предстояла поездка в Сибирь – на открытие школы молодых бизнесменов и политиков. Но именно в день отъезда пришло письменное требование от имени акционеров, обладающих чуть более десяти процентами акций (это оказались те самые пенсионеры, с которыми накануне наши сотрудники договорились о продаже их акций фирме), о созыве внеочередного общего собрания. В своих требованиях они изложили повестку дня с избранием нового Совета директоров и генерального директора и предложили уже свои кандидатуры. Было во всем этом что-то зловещее, нереальное. Но машина завертелась. Теперь, в случае если бы мы отказались от созыва собрания, они по закону имели право созвать его самостоятельно, при этом достаточно было бы тридцати процентов голосов. Бросились узнавать, как эти акции оказались у атакующих оппонентов. Оказалось всё очень просто – к каждому акционеру перекупщики приехали с нотариусом, готовым договором купли-продажи, пакетом долларов и предложили за процент акций баснословные для пенсионеров суммы, от которых те, естественно, не смогли отказаться. Фирма решила созвать собрание, в связи с чем стало готовиться решение Совета директоров, чтобы разослать уведомления акционерам.

Передвигаясь по сибирским дорогам, я разговорился с двумя сопровождавшими меня молодыми людьми. Разговор зашел, как всегда, о больном. И вдруг я узнаю, что они создали у себя компанию по недвижимости и очень хорошо владеют методикой и нападения, и защиты. Как только я заговорил о нашей ситуации, один из них сразу предложил прекрасный ход – организовать общество с ограниченной ответственностью по консолидации контрольного пакета акций. Если трое акционеров – я, Преображенский и Марков, владеющие контрольным пакетом акций, – объединятся, то практически можно защититься от нападения при грамотном ведении дела. Позвонил в Москву, но через некоторое время получил грустный ответ: и Преображенский, и Марков отказались. Спросил: какова мотивировка? Ответ невнятный. Неужели они уже избавились от своих акций? А ведь перед отъездом был разговор с обоими и я просил, чтобы, если они захотят продавать свои акции, они не спешили, есть другие желающие купить у них акции, и они могут только выиграть в цене.

Приехав в Москву, я узнал, что в мое отсутствие исчез Марков – он оформил отпуск и куда-то уехал. Как можно было в такой критической для компании ситуации, когда ежедневно требуется присутствие юриста, уехать, бросив все на произвол судьбы? Этого я понять не могу. Обычно так поступают ناشкодившие. Но сибирские ребята взяли над нами шефство, и мы постоянно ощущали их внимание, заинтересованность и помощь.

Наконец, мне позвонили из нападающей организации и попросили о встрече. Я назначил ее на следующий день.

- Давайте встретимся у нас, – предложил позвонивший.
- Нет уж, если это нужно вам, приезжайте к нам.
- Хорошо, – ответил он и, кажется, усмехнулся.

Через некоторое время вошла секретарь и подала факс от незнакомого человека: *«Выхожу на Вас с предложением по защите Вашего предприятия от вражеского поглощения (стратегия и тактика которого разрабатывались при моем непосредственном участии). Тезисно опишу сложившуюся обстановку: на данный момент экспресс-оценка Ваших активов составляет более четырех миллионов долларов. Консультанты, представляющие Ваши интересы, неадекватно реагируют на сложившуюся обстановку. До легитимного выхода на Ваше предприятие осталось 26 дней. Если Вас заинтересует мое предложение, буду готов встретиться с Вами. Координаты для связи... P.S. Просьба не звонить с Вашего мобильного аппарата, он стоит на биллинге. А также не назначать встречи на Вашем предприятии, ибо за ним установлено визуальное наблюдение. И не обсуждать данное письмо с консультантами и Вашим юристом Марковым, так как информация в течение одного часа попадет к поглостителю. С уважением – Андрей».*

Что это? Действительное желание помочь и заработать на этом деле или задуманный ход оппонентов усилить психоз? Но встречаться надо, может, будет дополнительная информация. Звоню Андрею (конечно, он не Андрей, настоящие имя и фамилия другие, и он сразу в этом признается, когда речь заходит о его пропуске через нашу охрану), прошу подъехать ко мне в офис, и через час мы ведем неторопливый разговор о его предложении. Передо мной – молодой человек, худощавый, несколько осунувшийся, нервно покашливает, голос грубоватый.

– Я готовил эту операцию, – начал он, – с сентября месяца. Хорошо изучил вопрос, хорошо подготовился, но сейчас меня уволили, так как произошла утечка информации и подумали на меня, поскольку я там недавно работаю. Я готов вам помочь выйти из этой ситуации.

– Каким образом?

– Это мои проблемы, у меня есть план.

– Сколько это будет стоить, и сколько на это понадобится времени?

– Стоить это будет сто тысяч долларов, а время... Мне понадобится полгода.

– Будут суды?

– Да, будет один, может быть, два арбитражных суда.

– Гарантии?

– Никаких.

После короткого молчания Андрей предложил решить проблему за половину суммы.

– А какова ситуация на этот час, сколько у них акций?

– У них уже контрольный пакет. Они действуют очень решительно.

– Это я оценил. А что, и Преображенский, и Марков тоже продали свои акции?

– Я же вам говорю, что у них контрольный пакет. Вы плохо представляете себе обстановку. Завтра они придут к вам и будут предлагать за ваши акции крупную сумму. – Андрей назвал цифру. – Их интересует только здание. Когда они его заберут, остальное вам вернут.

– А акции коллектива?

– Они их не интересуют, их интересуют только ваши акции.

– Почему вы думаете, что наши телефоны прослушиваются?

– Прослушиваются только мобильные телефоны, я сам делал заказ вначале на биллинг, а сейчас – на прослушивание. А вот городские телефоны не прослушиваются, это очень дорогое удовольствие.

– Сколько времени вы нам даете?

– Завтра до вечера еще будет не поздно. Если решитесь, позвоните мне по тому же телефону.

Проводив Андрея, связываюсь с приятелем, который проверял нападающую организацию по линии ФСБ.

– Олег, каковы результаты?

– Неутешительные для вас. Материалов много, практически на все их дела. Но все подчеркивают, что ребята действуют четко в пределах закона. Нужно предпринимать какие-то иные шаги. Давайте вместе подумаем.

Звоню другому приятелю, он приглашает приехать. У него в офисе встречаюсь с одним из руководителей Министерства по налогам и сборам. Он тоже подтверждает, что ребята действуют в пределах закона, и предлагает использовать одну зацепку.

– Какую?

– Ведь они сейчас действуют не от имени своей организации, а используют какую-то подставную?

– Да, пожалуй. Они на самом деле используют различные наименования организаций.

– Вот давайте мы и проверим: а как при этом проходят налоги? Кто и за что платит.

Но стремительность развития событий вынудила нас отказаться от этой помощи. Было понятно, что, используя тезис «нам нужно всего 75 процентов акций», противная сторона устраивает гонки между акционерами, заставляя каждого спешить с продажей акций. При этом велик риск кому-то остаться ни с чем. А слухи о больших деньгах заполнили все коридоры и комнаты в здании фирмы. Такое впечатление, что идет активная обработка наших сотрудников.

Назавтра встретился с главными лицами стороны нападения. В кабинет вошли двое, хорошо одеты, подтянуты, уверены в себе. Представились, мы обменялись визитками и приступили к делу.

– Мы хотели бы избежать осложнений для вас и предложить мирное решение вопроса. Сейчас положение таково, что у нас уже есть контрольный пакет, а у вас уже нет ни единого коллектива, ни единого Совета директоров. Поэтому мы предлагаем вам продать свои акции.

Что мне оставалось делать? Я сказал, что понимаю наше положение и готов обсуждать мирный исход. И все-таки не удержался от вопроса:

– А что, действительно, Преображенский и Марков продали вам свои акции?

– Мы не можем этого сказать, мы даем своим клиентам слово, что от нас не уйдет информация о них. От них – пожалуйста, это их дело. Ну, скажем так: у нас контрольный пакет акций. И потом – у нас сильный аргумент, которого нет у вас, – доллары.

– Это правда. Конечно, к нашему разговору я навел о вас справки, познакомился с методами вашей работы и, честно говоря, несколько удивлен, что вы работаете чисто по отношению к закону. Но тем не менее некоторые шаги я тоже предпринял. Хотя скажу честно: вступать с вами в драчку не хотелось бы – это может дорого обойтись в смысле финансов, да и здоровье дороже. А его мне бы хотелось побережь.

– Мы тоже кое-что предприняли на всякий случай, но тоже считаем, что лучше разойтись по-хорошему. (Через несколько дней я получил решение арбитражного суда, запрещающего какие-либо сделки со зданием фирмы. Видимо, это и было «кое-что» из предпринятого.) Мы предлагаем вам как генеральному директору хорошую сумму за ваши акции.

– Меня в этой ситуации интересуют не только мои интересы, но и интересы коллектива, – отвечаю.

– А нас ваши сотрудники больше не интересуют, нам нужно всего семьдесят пять процентов акций, и с вашими как раз будет достаточно.

Я уже осознал, что загнан в тупик, и всё же тянул свое:

– Вы поймите меня, я не могу бросить коллектив на произвол судьбы.

Один из них понимающе кивнул:

– Пожалуй, вы правы, мы предлагаем за их акции полсуммы от выплаченных пенсионерам.

– Нет, это не годится, – покачал я головой.

– Но мы не можем по-другому. Это противоречит коммерческим интересам.

– Однако вы хотите решить вопрос мирно?

Гости переглянулись, и после небольшой паузы старший из них изрек:

– Ладно, мы согласны на полную сумму. О каком количестве акций идет речь?

– О восемнадцати процентах...
– Они оформлены соответствующим образом?
– Да, все документы в порядке.
– Хорошо. Мы согласны, и, если вы согласны тоже, мы должны подписать с вами соглашение.

– Соглашение о чем?

– О наших дальнейших действиях в период подготовки внеочередного собрания и о наших взаимоотношениях после собрания. Мы берем на себя обязательства выкупить акции у вас и у коллектива, а также урегулировать отношения с вашими подрядчиками. Вы же должны взять на себя обязательства по сохранению помещений и не предпринимать никаких шагов до внеочередного собрания по отчуждению вашего здания. Ну и еще продумать ряд положений.

– Например?

– Например, порядок расчетов и передачи дел и документов.

На следующий день соглашение было подписано, все расчеты произведены, и на этом закончилась эта детективная история...

А во время подписания соглашения и расчетов позвонил Андрей и спросил: «Как дела?» Я ответил, что расчеты подходят к концу. Но на этом разговор не закончился. Андрей почему-то решил мне сообщить, что его вызывают в центральный офис, как он предполагает, для объяснения по поводу утечки информации и оформления подписки о неразглашении коммерческой тайны. На что я только пожал плечами. Меня это уже не интересовало.

Николай потянулся к чашке с остывшим чаем и, сделав небольшой глоток, замолчал, разглядывая заоконные сугробы, на которые кусты сирени отбрасывали синеватые тени.

Молчал и я, с грустью припоминая полемику в прессе среди политиков, среди депутатов, среди простых людей о так называемой «грабительской приватизации по Чубайсу». И никто, к сожалению, сегодня не хочет вспоминать о том, что Чубайс только выполнял закон, в котором один из вариантов приватизации был навязан как раз коммунистами, – ваучерная приватизация предприятий коллективами. Именно здесь и была заложена бомба для предприятий, для их будущего, когда коллектив не способен из-за своей бедности и неорганизованности защитить свою собственность. А государство – что ж, оно поощряет действия организаций-акул, потому что ему, государству, нужны эффективные предприятия, которые платят хорошие налоги.

– Знаешь, – задумчиво прервал тишину Николай, – до сих пор в ушах звучат слова моих оппонентов: «У нас есть сильный аргумент, которого нет у вас, – доллары!»



Кирилл КОБРИН

Европейский поэт XX века

Еще в юности меня завораживали их благородные имена, гордые, с прямою аллитерационной спиной, имена-знаки высшего качества, многогранного таланта, основательной культуры. Нельзя сказать, что я недооценивал их великих предшественников: звонкое словосочетание «Данте Алигьери» повергало ниц, из каржающего «Петрарки» прямо-таки торчали кусты лавра, вздымающийся «Тасс» дополнялся торжественным колокольным «Донном», а «Бодлер» переливался «Верленом» и выпевался в волшебную мелодию «Маллалалаларме». Но с этими все, в общем-то, было ясно – я читал вполне доступные переводы «Божественной комедии» и «Кошек» и догадывался, что за ними скрываются недостижимые поэтические высоты; недостижимые, но – постижимые.

А вот моих героев сопровождали загадки. Редкие переводы их творений, которые удавалось отыскать то в «Иностранке», то в какой-нибудь двуязычной антологии, выпущенной для удобства постижения иностранных языков учащимися филфака Запеченского пединститута, ставили меня в тупик – они не были похожи ни на что: отсутствовала привычная рифма, неизменный размер, да и темы с сюжетами казались чрезвычайно загадочными и не имеющими никакого отношения к жизни – моей и окружающих (не говоря уже о русской литературной традиции). Впрочем, кое-что было переведено дурашливым маршаковским языком, отчего зарубежное творение сразу приобретало удивительную интонацию детской считалки; но и это вызывало не раздражение, а восхищение: как это они там считают такое за поэзию? Иными словами, понять что-либо в их стихах было просто невозможно по крайней мере до тех пор, пока я сам не выучился с грехом пополам разбирать эти творения в оригинале. Что же, оставалось верить на слово комментатору-переводчику, который всякий раз уверял в непреходящем значении своего великого клиента, приводил восторженные отзывы ценителей, перечислял экзотические премии и удивительные жизненные перипетии. Последние увлекали не менее, чем звучные имена моих загадочных героев. Эти поэты жили совсем не так, как жили здесь их злосчастные коллеги, но и не так, как жили их обычные сограждане. Они – в наш демократический век! – посвящали стихи баронесам, а те давали им замки, где поэты в гордом одиночестве доживали до скоротечного смертельного недуга. Или же они приобретали вдруг невероятную славу, оборачивавшуюся неслыханными деньгами, и триумфатор покупал опять же замок, где проводил жизнь в изучении черной магии и размышлениях о судьбах Запада. Их рисовали великие художники. Порой они на равных говорили с вождями, случайно попавшимися на их горных путях. Даже если они страдали банальным алкоголизмом, то не делали из него содержания своих сочинений (подобно несчастному Есенину), оставаясь до конца приверженными высокой европейской культуре. Да, чуть не забыл – они постоянно цитировали Отцов Церкви, греческих поэтов, ирландских бардов, китайских императоров, немецких философов, причем так, как мы приводили шутки соседей по подвезду и университетских сокурсников. Даже Маркс в их устах звучал не хуже Фомы Аквинского.

Их звали Рильке, Дилан Томас, Йейтс, Т.С. Элиот, Унгаретти, Аполлинер, Лорка, Целан, Валери, Пессоа, Хаусман, Кавафис... Они родились в Лафарне, Праге и Александре, никогда не покидали родной город, шатались по всему свету, жили в замке Мюзот, ставили пьесы в Дублине, сражались на войне, ездили с лекциями по Америке,

сидели в парижском, лиссабонском кафе, умирали от белокровия, были расстреляны мятежниками, стивались, работали в издательстве, переживали религиозный кризис, посещали мужские бордели, писали, переставали писать... Они были «европейскими поэтами XX века», истинными титанами модернизма, теми, кто довел поэзию до края пропасти и оставил ее там. Эти стальные люди создали новое искусство, которое было не то чтобы «современнее» (как того требовал Рембо), оно было «последовательнее». Они знали, что им нечего терять, и они ничего не потеряли. Чудо заключалось в том, что они ничего и не приобрели – ими закончилась великая европейская поэзия. После них началась другая – не хуже, не лучше, просто другая. А они остаются в нашей культурной памяти как героические отцы, которых мы никогда не видели, почти не понимаем, но боготворим. Был, впрочем, и другой тип – полусумасшедшего модерниста-прозаика, который под звуки странных гимнов подельников по эпохе строил новые замкнутые художественные миры, вращавшиеся в совсем уже иных измерениях, тип Джойса, Кафки, Беккета, Белого, О'Брайена. Но о последнем – в следующей раз. Сейчас же обратим наши взоры на самого загадочного героя ушедшего времени – «европейского поэта XX века».

...утонченная республика моряков и поэтов.

Мартинус Нейхоф

Фотографию поэта Мартинуса Нейхофа я впервые увидел года три тому назад. Ничего поэтического. Пятидесятилетний человек с крепко сбитым, удивительно некрасивым лицом; пиджак, белая сорочка, галстук. Странно похож на инженера «из народа» с заводской Доски Почета конца сороковых – пятидесятих. Разве что взгляд – недоверчиво-ироничный, чуть насупленный, но, если присмотреться, теплый. Конечно, никаким инженером он не был, тем более – «из народа». Мартинус Нейхоф родился в Гааге в 1894 году в зажиточном культурном семействе; его дед основал издательство, которое, превратившись в книготорговую фирму, существовало до недавнего времени. В 2000 году в Петербурге, на мероприятии, посвященном первому изданию переводов Нейхофа на русский, я видел одного из руководителей фирмы «Martinus Nijhoff» – надежное голландское лицо, неброская, но элегантная и дорогая одежда, превосходные манеры; иными словами, все, что любого примирит с понятием «буржуазность». А что есть «буржуазность», как не хрупкий и надежный стержень столетий европейской городской культуры?

В том, что человек с обыденной внешностью стал главным национальным поэтом, нет ничего удивительного. Ведь речь идет о Голландии, о голландцах, нации крепко сбитых людей, от рождения имеющих свое, самое непосредственное, отношение к красоте, в доказательство чему совершенно не нужно даже вспоминать Вермеера или Хальса, достаточно лишь пройтись по голландскому городу, как правило – шедеврально целесообразного дизайнера и чистой красоты. Нравственная опрятность неотличима здесь от эстетической; вульгарность, грубость и кич надежно упрятаны в коллективном бессознательном, откуда достаются лишь в гомеопатических дозах для продажи туристам где-нибудь в квартале «красных фонарей». А в настоящей жизни по улицам на велосипедах ездят некрасивые шегольски одетые люди, твердо знающие свой долг и – что очень важно – границы долга. И Нейхоф, а уж он-то был отменным ездоком на велосипеде – в 1940 году его призвали в армию в звании капитана отряда велосипедистов, был одним из этих людей. И для этих людей он писал стихи.

Биография Нейхофа самая непримечательная. Учился в Амстердамском университете на юриста, сочинял, печатался, в зрелые годы закончил еще отделение филологии в Утрехте. Дважды призывался в армию, во время второй мировой был ранен. Дважды был женат, от первого, неудачного, брака имел сына, которого очень любил и – по воле супруги – почти не видел. Автор трех сборников стихов, двух поэм, нескольких небольших прозаических со-

чинений. Переводил, работал для театра. Умер в 59 лет от болезни сердца. Лучший, по мнению многих, голландский поэт прошлого века.

Теперь, благодаря тонкому и квалифицированному переводу Кейса Верхейла, Ирины Михайловой и Алексея Пурина, его достаточно представительное «Избранное» можно прочесть по-русски¹.

Превращение Нейхофа из хорошего поэта в большого поэта произошло в конце 20-х – начале 30-х годов, когда, выпустив две стихотворные книжки, он оказался перед странным для поэта прошлого века вопросом: «О чем писать?». Уже сам факт рефлексии над проблемой содержания, причем не содержания стихотворения, а содержания творчества, говорит о чуть ли не главной психологической черте Нейхофа – добросовестности. Ему, видимо, «не писалось» слепо-вдохновенно (как Верлену или Рембо) или «автоматически» (как сюрреалистам); формальный блеск скорее всего поэту просто надоел: и первая книга «Прохожий», и особенно вторая, с характерным названием «Формы», уже продемонстрировали, что в рамках традиции Нейхоф может почти все. Сонеты, баллады и терцины он изготавлял с необычайной точностью и изяществом, при том, что язык этих стихов прост – большая неожиданность для многословных двадцатых. Но прожить, питаясь сливками и бланманже, может только прожженный эстет. Нейхоф таким не был. Ему нужен был хлеб, причем тот же самый, который ели сограждане. В России Нейхоф наверняка обратился бы к «гражданственности», но, слава Богу, он был голландским поэтом, потому ему достаточно было посмотреть на жизнь, которая окружала его, на вещи, удивительные вещи этой жизни, созданные удивительными обычными людьми. Ну и, конечно, переоткрыть национальную литературную традицию, пусть небогатую, но органичную. Одновременно с этим Нейхоф проходит вглубь у героев европейского модернизма – Т.С. Элиота, Джойса, Андре Жида. Как это часто бывает у поэтов, на него влияют не только коллеги-литераторы, но и художники – представители так называемой школы «новой вещественности», и композиторы, прежде всего Стравинский (не у него ли Нейхоф позаимствовал страсть к лубочному пастишу, к сложному использованию «примитивных народных форм»?).

Есть два сочинения Нейхофа, в которых оттиснут момент поиска и нахождения «нового содержания» – стихотворение «Тупик» (1934) и новелла «Перо на бумаге» (1926). «Тупик», строго говоря, существует в двух вариантах: первый вошел в раздел «Восемь сонетов» последней книги Нейхофа «Новые стихотворения», второй также является составной частью цикла из восьми сонетов под названием «Ни свет, ни заря», который был написан несколько позже – в ответ на книгу выдающегося голландского историка Йохана Хейзинги «В тени завтрашнего дня». Сюжет «Тупика» прост – перед нами разворачивается домашняя сцена, точнее, кухонная, утренняя, за ежедневным ритуалом приготовления кофе. Поэт неожиданно спрашивает жену, о чем ему писать. Ответ в двух вариантах разный. В стихотворении 1934 года она отвечает «А?.. Не знаю». Два года спустя Нейхоф приписывает ей другую реплику: «Вновь свадебную песню». В остальном оба сонета почти одинаковы, вплоть до того, что первая строфа у них одна и та же. Вариант 1934 года, несмотря на кажущееся отсутствие ответа на вопрос «о чем писать?», собственно, является ответом. Поэт пишет о жизни, о ее мирных ежедневных ритуалах, исполненных непреходящей важности. Само место действия – кухня – избрано не случайно. Это не советская кухня 60-80-х, смесь паба и дискуссионного клуба, это – алтарь семейной жизни, ответственности, устойчивости человеческой культуры, алтарь высокой буржуазности, где совершаются традиционнейшие ритуалы приготовления пищи, напитков:

¹ Мартинус Нейхоф. Перо на бумаге. Стихотворения, поэмы, проза. Пер. с голландского Кейса Верхейла, Ирины Михайловой и Алексея Пурина. СПб.: Издательство «Филологический факультет СПбГУ», 2003.

Наливая
по капле воду в душистый аромат
кофейной гущи...

(*Сонет 1934 года.*)²

И медленно, гаданьями полна,
заваривая кофе нам, она...

(*Сонет 1936 года.*)

Именно здесь, в душном кофейном аромате, среди белых стен, основательных буфетов с расписными фарфоровыми тарелками и начищенных сковородок (известно, что голландцы еще в XVII веке имели особую склонность к кухонной утвари и содержали ее в образцовом порядке), поэт задает главный, мучающий его вопрос³. Как бы равнодушный ответ должен открыть ему глаза, вполне по дзен-буддистски. Ответ – само стихотворение. Вот об этом и надо писать – о кухне, о запахе кофе, о великой вещественности родного народа, о людях, которые каждое утро собираются вокруг кофейника. Здесь, в назывании самих предметов, людей, их положений и реплик, скрыта тайна, которую нельзя разгадать, но которую можно показать. Нейхоф с этого момента подходит к поэзии так же, как Витгенштейн подходил к философии: нужны не новые темы, необходимо расставить по местам и описать расположение уже существующих вещей. Говорить следует лишь о том, о чем возможно сказать. Все это отдаленно напоминает нам русский акмеизм с его культом вещей и недоверием к символистским спекуляциям. Если вспомнить, что начинал Нейхоф как ученик символистов, правда, французских, лишенных жизнестроительных фанатерий, то к нему вполне применима знаменитая формула Жирмунского – «преодолевший символизм».

В прозе возможность «нового содержания» обсуждается за восемь лет до «Тупика» – в новелле «Перо на бумаге». Это единственный образчик сюжетной (и то весьма относительно «сюжетной») прозы Нейхофа – тем интереснее его читать. Сначала представляется, что перед нами – смесь Кафки, Эдгара По и немецких романтиков. Зачин новеллы перекликается с известной дневниковой записью Кафки от 5 января 1912 года: «Когда кажется, будто твердо решил вечером остаться дома, надел домашнюю куртку, уселся после ужина за освещенный стол и занялся такой работой или игрой, по окончании которой обычно идут спать, когда на улице такая скверная погода, что лучше всего сидеть дома, когда ты так долго покойно просидел за столом, что уже нельзя уйти, не вызвав отцовского гнева, всеобщего удивления, когда и на лестнице уже темно и ворота заперты и когда, несмотря на все это, ты во внезапном порыве встаешь, надеваешь вместо куртки пиджак, появляешься сразу же одетым для улицы, говоришь, что должен уйти, и, коротко попрощавшись, действительно уходишь...». Вот как эта тема звучит у Нейхофа: «... я отправился поздно вечером, на последнем трамвае, в центр и оказался, сразу после полуночи, на аллее Вейверберг в Гааге... Я уже досадовал на себя за эту затею – захватить в такой час в город; ведь теперь мне придется возвращаться пешком,

² Нейхоф удивительно точен в деталях, его поэтические свидетельства вполне можно включать в книги по истории голландского быта. Точно так же, как в его стихотворении, готовили кофе в конце XVII века: «На столик ставили, помимо чашечек, фарфоровый сосуд с холодной водой, который служил для охлаждения первых. В центре помещали высокий трехногий кофейник из меди или серебра, наполненный молотым кофе... на который лили кипящую воду» (Поль Зюмтор. «Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта»).

³ В более позднем стихотворении кухня, где свистит чайник, видимо, по аналогии со свистком поезда, сравнивается с железнодорожным вагоном, в котором герои едут в «новую страну». Именно потому собеседница поэта «гаданьями полна», гаданьями о новой жизни в новой стране, в которой как раз и следует вновь сочинить «свадебную песню».

размышлял я, и насколько разумнее было бы остаться дома и продолжить работу при свете настольной лампы: я мог бы полистать тетрадку, куда записываю порой замыслы и наброски зарождающихся стихотворений; возможно, мне удалось бы среди них отыскать что-нибудь ценное...; если бы дело не сладилось, я мог бы привести в порядок корреспонденцию или хотя бы взять книгу и преспокойно читать в постели, пока меня не одолеет сон...». Сложно сказать, знал ли Нейхоф этот отрывок из Кафки. Первая публикация дневников Кафки появилась через одиннадцать лет после написания новеллы «Перо на бумаге», однако цитированный пассаж был напечатан раньше – в первом прозаическом сборнике пражского писателя «Созерцание», вышедшем еще до первой мировой. Так или иначе темы и даже интонации совпадают: герой внезапно вырывается из домашнего тепла на улицу, это действие перебивает привычный распорядок жизни, чистое усилие воли – выключить лампу, одеться, сбежать по темной лестнице, оказаться поздним вечером в чужом районе – и он уже вне конвенциональных обстоятельств, внезапно свободен от вечернего ритуала, готов к необычным событиям и таинственным встречам. Разница в том, что для Кафки эта ситуация важна сама по себе – он никого не встречает, с ним ничего не происходит, в лучшем случае он заходит к приятелю справиться о его делах. Для него ценен факт выпадения из рутины и открывающиеся за ним таинственные возможности, которые сладко волнуют кровь именно чистой потенциальностью. Нейхофу внезапная ночная прогулка нужна для того, чтобы вывести героя из круга «жизни» в пространство «чудесного», где возможна прогулка по центру Гааги с гаммельнским Крысоловом. То есть в сон. Его логика гораздо более сновидческая, чем у великого сновидца Кафки, ибо только во сне мы, завернув за угол Тверской, можем встретить Чубайса или Фантомаса. Собственно, «Перо на бумаге» и есть описание сна, а Крысолов – проводник по обморочно-простому его лабиринту. Лабиринт этот прост потому, что в нем нет ничего экзотического, никаких мистических руин, джунглей, подземных ходов или горных вершин; маршрут прогулки поэта с Крысоловом проходит по историческому центру Гааги, только вот зайдя в башенку у Тюремных ворот, герой оказывается почему-то дома. Здесь он обнаруживает самого себя, сидящего за письменным столом и сочиняющего... что сочиняющего? Не новеллу ли «Перо на бумаге»? Затем Нейхоф номер 2 сообщает Нейхофу номер 1, что его жена и сын приехали и уже уснули, пока он бродил по городу. Герой ложится в постель, а проснувшись утром, видит входящих в дом жену и сына, которые решили сделать сюрприз и вернулись из путешествия без предупреждения. То, что привиделось Нейхофу во сне, случилось в жизни.

Итак, перед нами описание сна. Герой, видимо, засыпает в тот момент, когда начинает сочинять новеллу «Перо на бумаге». Дальнейшее – поездка ночью в центр, встреча с Крысоловом, разговоры, странное возвращение домой, встреча с самим собой, жена и сын, мирно спящие в своих кроватях, – сон. Однако сон – вещий, ибо то, чего герой так желал – возвращение семьи, – действительно произошло утром. Значит, и разговоры с Крысоловом – вещице, ведь обозначенная в них новая эстетика была реализована Нейхофом через несколько лет. Собеседник советует поэту отказаться от эгоцентризма, что, заметим, в случае Нейхофа значило отказаться от увлечения декадансом и символизмом. «Описывай ощущения только других людей», – советует ему Крысолов. В сущности, речь идет о выработке нового взгляда на жизнь – не изнутри, а откуда-то извне, вполне в духе позднейшей философии Александра Пятигорского, который говорит о «позиции наблюдателя», находящейся одновременно снаружи и внутри объекта наблюдения. Эта вполне буддистская позиция предполагает в конце концов обнажение иллюзорности «я», отказ от него. О том же говорит и Крысолов: «Только так ты освободишься от самого себя, ибо такая цель». Крайнему эгоцентризму символизма Нейхоф противопоставляет крайний объективизм, исчезновение автора как индивида, с сохранением только его функции – письма. Так объективно может описывать

не писатель, а сама Культура⁴. Оттого совсем не странно выглядит совет Крысолова поэту – обратиться к истории страны, найти в ней подходящую фигуру «которая покажется тебе воплощением таких же чувств, что и твои, – к отечеству, к национальному гимну, к утонченной республике моряков и поэтов...». В любой другой стране, кроме Голландии, ситуация, когда национальный гимн может вызывать сильнеешие поэтические (и не только) эмоции, выглядела бы нелепой и чудовищно пошлой. Вообразите себе пушкинского пророка, которого шестикрылый серафим подвигает воспеть «Боже, царя храни»...

У Нейхофа «национальный гимн» и «утонченная республика моряков и поэтов» поставлены рядом совсем не зря. Отказываясь от «я», поэт подчеркивает свою принадлежность к народу, который ежедневно поддерживает уровень воды в системе каналов, созданной столетия назад; к народу, населяющему страну, которая находится ниже уровня моря и которая, согласно естественному ходу вещей, не должна существовать⁵. Здесь, в Голландии, наглядной становится простая истина: человечество существует *неестественно*, оно выживает лишь в результате невероятных (хотя на первый взгляд будничных) ежедневных усилий; эти «усилия» и составляют содержание Культуры. Принимая эту истину, сразу обнаруживаешь, как отпадает один из самых назойливо-идиотских вопросов: «А зачем нужна культура?». Растворяется и шпенглеровский пафос различения «цивилизации» и «культуры»; становится ясно, что драма гибели шпенглеровских «цивилизаций» вызывается ослаблением ежедневных человеческих усилий; погибают те, у кого опускаются руки.

Пафос созидания и судьбы, общечеловеческой и партикулярно-голландской, Нейхоф воплотил в стихотворении-гимне «Женщина-мать»:

На мост пришел я в Боммель посмотреть.
Увидел новый мост. Друзьями стали
два берега, что прежде избегали
рукопожатья. Четверть или треть,
должно быть, часа я сидел без дела
в траве – пил чай и созерцал простор.
И вдруг с реки как будто грянул хор,
так что в ушах обоих зазвенело.

То женщина с обветренным лицом,
ведя баркас, псалмы, как в храме, пела –
и пенье, приглушенное мостом,

до слуха с новой силой долетело.
О, это мать моя поет псалом, –
подумал я. Ты в длани сей, – гремело.

Это, конечно, «женщина-мать» всех голландцев, «родина-мать», проплывающая на баркасе под только что возведенным мостом, оглашающая окрестности псалмом. Труд и кальвинистская вера – вот что воплощено в этом, быть может, самом сильном образе Голландии. Похожий смешанный пафос строительства и веры, только не религиозной, а коммунистической, можно обнаружить в советском искусстве 30-х; он некоторым образом обратная сторона нейхофовского пафоса. Об этом следует помнить. Наш поэт жил в страшные времена и не понаслышке знал о них.

⁴ Здесь Нейхоф следует своему любимому Т.С.Элиоту, который говорил, что «единственным способом выражения эмоций в художественной форме является нахождение «объективного коррелята», иными словами – ряда предметов, ситуации, цепочки событий, которые могли бы стать формулой этой эмоции».

⁵ В стихотворении «Солдат и море» Нейхоф нашел очень точную формулу существования Голландии:

«И необоримую суть страны
своей я прозрел: упрямо
могучие дамбы возведены,
и русла прорыты прямо».

Если опуститься до поисков некоего «мессиджа» в творчестве Нейхофа, то он прост: мы живем в эпоху кризиса, нельзя сдаваться, нельзя отворачиваться от настоящего; настоящее следует переживать – в надежде на будущее. Мысль эта отчетливо выражена в лекции Нейхофа «О собственном творчестве», прочитанной в 1935 году: «...что же все-таки должна делать поэзия... Но нет, ни в коем случае не сдаваться. И не играть в хорошую погоду. Искусству уже нельзя быть утешением, полупробудившееся человечество нельзя одурманить поэтичным. Лучше считать себя Иоанном Предтечей, питающимся акридами и диким медом, одетым в верблюжий волос и вопиющим в безжизненном пространстве, со святой верой, что придет Кто-то сильнее меня, Чью обувь я недостойн буду понести. Бесконечно принижать себя, но твердо верить в порядок, в числа, в сотворенный человеком универсум, сооруженный его зрелой рукой, но незрелой душой. Уподобиться монаху, солдату, неизменно стремящемуся к порядку и дисциплине, пока еще существующим только в абстрактной мечте». И чуть раньше: «Поэзия должна работать на будущее, то есть представлять себе это будущее как нечто уже существующее и служить в нем квартирьером человеческой души».

Это суровый безблагодатный выбор, далекий и от охранительно-эстетствующих ретроспективных утопий, и от стального пафоса перспективных. Ни натужной революционности сюрреалистов, у которых Нейхоф учился многому⁶, ни пошлого сочувствия так называемому «простому человеку», крестьянину или пролетарию, неважно. Трезвость оценки собственных возможностей и желание послужить поэзии, родине, человечеству. «Порядок и дисциплина» вместо оргий «поэтичности», акриды и дикий мед. Как иронично отмечает Нейхоф, «о каком интересе к поэзии можно говорить сейчас, когда даже товарное производство перестает быть рентабельным». Это слова не вулгарного марксиста, числящего поэзию по разряду красивых надстроечных излишеств над крепким индустриально-аграрным базисом; это слова поэта, мастера самых утонченных поэтических форм, поэта, живущего в условиях кризиса, как Великого экономического, так и Великого мировоззренческого, поэта, желающего быть честным. Он знает, о чем говорит: не только поэзию, но и товарное производство. Он любит этот мир, созданный человеком, он любит Культуру, которая, по его мысли, давно превратилась для человека в Природу: «Человек наложил на мир некую техническую структуру, и эта структура функционирует столь же безукоризненно, как времена года, как рождение и смерть в природе. Трамвай – это звезда, полицейский – это звезда, хотя звезды эти и ведомы по своим орбитам силой, созданной самими людьми – их массами, их поколениями». И тем больше Нейхофу наблюдать кризис этого мира, этой Культуры.

Выход, как я уже говорил, он видит только один: в отказе от себя в пользу Культуры. Нейхоф снова повторяет эту мысль в лекции: «Все человечество заключено в каждом человеке, если только он освободится от рабства собственной личности, если только он чувствует себя в первую очередь порождением своего времени, своего сословия, своей работы и физического происхождения». В то же самое время в советском Ленинграде подобную аскезу разрабатывала Лидия Гинзбург в своих «Записных книжках»: беспощадная аналитическая машина ее письма наглядно демонстрировала, что личность, «я», является результатом социо-культурных и социо-психологических обстоятельств; она пошла даже дальше, заменяя социальным биологическое. Опыт Гинзбург – опыт тотальный и крайний, характерный для «человека 20-х годов», людей железной воли, доводящих до конца полученные от предыдущего поколения идеи. Нейхоф же, несмотря на то что был старше Гинзбург, был типичным «человеком 30-х», которым после идейного и экзистенциального

⁶ Например: «Сюрреалистические картины с их тишиной, лишенной эмоций ясностью, четкими предметами, в равной мере обыденными и таинственными, - предметами, которые, кажется, расставлены прямо во Вселенной и чьи холодные формы как бы указывают, где начинается Вселенная, не прекращающаяся также и внутри них (ибо они сами суть ее край, прозрачная поверхность), - созерцание подобных сюрреалистических картин и чтение современной прозы... доставляли мне великую радость...»

краха «поколения 20-х» пришлось в одиночку восстанавливать чуть ли не самые простые смыслы мира. «Люди 30-х» тоже порой доходили до пределов, некоторые из них, такие как Батай, например, даже выстроили свою философию на идее «пограничного опыта», но они были именно одиночки и взгляды свои – часто не отличавшиеся особой оригинальностью – формировали буквально с нулевой отметки, аб ово. Так человек после инсульта учится снова говорить или ходить, речь его косноязычна, походка крива, но это – его речь и его походка, которых он добился неустанными упражнениями и силой воли. Иными словами, дисциплиной, культурой.

Так и во взглядах Нейхофа не было ничего нового, но это были *его*, а не благоприобретенные взгляды. Отказ от личности он *прожил* после 1925 года, и все написанное им свидетельствует об этом. Даже эротическая суть любви подменяется у него любовью к налаженному быту, к порядку; в стихотворении «Ее последнее письмо» ушедшая возлюбленная говорит:

Шепни лишь имя – и я здесь уже:
цветут цветы, завесив пол-окна,
тарелки вновь чисты на стеллаже.

Ведь в этом звуке я как раз полна –
Не в том, за что меня так любишь ты:
Не в неге льна и юной наготы.

Юная нагота как эротический объект преходяща, чистые тарелки на стеллаже – вечны, пока существует Культура.

Неудивителен интересе Нейхофа к обычному человеку, к «человеку толпы», к «массовому человеку», который – несмотря на приписываемые ему разными авторами, от Ортеги до Сартра, грехи – не сдаётся, продолжает работать, тем самым поддерживая тончайшую, сложнейшую европейскую культуру. В его знаменитой поэме «Аватер» «человек толпы» представлен весьма романтически, чуть ли не в виде мелькающего на улицах и площадях двойника автора, эдакого «Вильяма Вильсона» из рассказа Эдгара По. Об «Аватере» много написано, но исследователи, кажется, не обратили внимания на то, что поэма представляет собой полемический ответ на другой рассказ По – «Человек толпы». Уже сравнение эпиграфов говорит обо всем. Эпиграф к «Человеку толпы» – цитата из Лабрюйера: «Ужасное несчастье – не имеет возможности остаться наедине с самим собой». Эпиграф к поэме Нейхофа взят из газетного отдела объявлений: «Ищу спутника». Голландский поэт возражает американскому романтику: Эдгар По видит в толпе ад, Нейхоф – чуть ли не спасение. Герой По преследует в Лондоне некоего старика, который одержим страстью слиться с толпой: без нее он впадает в уныние, теряет силы. Лишь в толпе ему хорошо; так он и кочует по лондонским кварталам в поисках скопища людей. Для героя По этот старик – «прообраз и воплощение тяжчайших преступлений», ибо «он не может остаться наедине с собой». Аватер Нейхофа, закончив работу, тоже бросается в городскую толпу; автор, преследуя его, бродит по улицам, разглядывает витрины магазинов, посещает парикмахерскую, сидит за столиком в ресторане (а Аватер меж тем поет там на сцене!). В обоих сочинениях преследователь бросает преследуемого; у По рассказчик погружается в раздумье о тяжчайших грехах «человека толпы», у Нейхофа он оставляет Аватера на уличном митинге Армии спасения и садится на поезд, уходящий в далекие края, возможно, в знаменитый Восточный экспресс⁷. Загадка «человека толпы» остается Нейхофом неразгаданной; он видит в нем скорее своего двойника, нежели воплощение всех грядущих и нынешних грехов, как Эдгар По.

В цикле стихов «Ни свет, ни заря», том самом, посвященном историку Хейзинге и его книге «В тени завтрашнего дня» (название которой можно

⁷ На обложке первого русского издания Нейхофа – маленькой брошюры, вышедшей в 2000 году в издательстве петербургского журнала «Звезда», – воспроизведена гравюра Макса Эрнста «Восточный экспресс». Удивительно точный образ.

перевести на русский и как «В тени утра», отсюда и тема поэтического цикла), эти «обыкновенные люди» показаны уже безо всякой романтической загадочности, скорее в духе «новой вещественности». Восемь сонетов на тему раннего утра, в них изображены спящий инженер, причесывающаяся девочка, вагоновожатый в трамвае; молодые супруги в спальне, бреющийся поэт, домработница, которая начинает уборку, и школьник. Восьмой сонет – тот самый поздний вариант «Тупика» с его торжественным концом: «...мне говорит: «Вновь свадебную песню». Не таинственный «человек толпы», а обычные люди, чей скромный вклад позволяет существовать Голландии, Европе, человечеству. Они изображены настолько прямо, что кажутся эмблематичными; даже не символ, а аллегория. Преодолев символизм, Нейхоф стал аллегоричным, вполне в духе воспетой его другом Хейзингой «Осени средневековья». «Ни свет, ни заря» – это «Лимбургский часослов» XX века.

И последнее. Вспомним фразу из лекции Нейхофа: «Трамвай – это звезда». А вот строфа из третьего «утреннего» сонета:

Что ж, в первом рейсе – как в чужой стране.
Вперед. Вагон скрежещет, навевая
Тоску по детству: режет ножевая
Сталь лед катка в предутреннем огне⁸.

Вот так, под дождем, на раннеутреннем трамвае, следующем строго по расписанию, Мартинус Нейхоф въезжает в чужую страну – русскую поэзию. Здесь уже есть свой трамвай, таинственный, ультраромантический заблудившийся трамвай Гумилева:

Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времен.

Теперь у нас их будет два: тот, который направляется в Индию Духа, и тот, что развозит ранних пассажиров неведомого будущего. Во втором, рядом с вагоновожатым, сидит образцовый европейский поэт, добросовестный рыцарь Культуры, хорошо одетый человек с удивительно некрасивым, совершенно непоэтическим лицом, Мартинус Нейхоф.



⁸ Какое фонетическое пиршество задали переводчики в этой строфе!

И т. д.

•
**Игорь Булатовский. ПО-
ЛУОСТРОВ.** СПб., «Гиперион», 2003.

•
Хваленое «ленинградское культурное стихосложение» всегда было вотчиной людей, филологически, в сущности, полудевственных, – дам обоего пола, старательно рифмующих квадратами на фоне решетки Летнего сада. И очень гордящихся тем, что умеют отличить ампир от барокко, хотя чем же тут уж так особо гордиться? К поэтической культуре, тем более к «петербургско-ленинградской поэтической культуре», все это имело только то отношение, что являлось продуктом ее полураспада, ее антропологического иссыхания. Вообще вся послевоенная история русской литературы была своего рода вялотекущей «войной за наследство»: умеющие отличать ампир от барокко бились с умеющими отличать сосну от березы за право наследовать Великой Русской Литературе, понятой как учебник для девятого класса. Когда-то, не помню уже по какому поводу, я, выпутываясь из сходного утверждения, в сердцах пошутил, что Великая Русская Литература XIX века, за чье наследство так ожесточенно сражаются «стороны», померла, не оставив детей и родственников, но это, конечно, не совсем так, иначе бы я не писал этих строк, а вы бы их не читали. Освоение «петербургской поэтической культуры» было только частным случаем этого унылого препирательства между советскими интеллигентами во втором поколении и советскими же интеллигентами в поколении первом – условно говоря, между эйдельманами и астафьевыми – с конца шестидесятых годов прошлого века определявшего литературную жизнь, и в некоторых смыслах даже не только «официальную». Однако спор был пустой. «Петербургская поэтическая культура» (не знаю, как назвать умнее,

но пусть пока будет так) никогда не была подарочным набором тем и приемов, никогда не была «культурной ленинградской поэзией». Основным, основополагающим качеством ее было упрямое следование некоей диалектической конструкции, которая проявляется с особой отчетливостью в Петербурге или, быть может, вообще является Петербургом: трагически (или трагикомически) клубящийся хаос, забранный решетками строго организованных форм. Не на фоне Летнего сада, а сам Летний сад – ночью, зимой... Сами по себе формы не имеют никакого значения – только как формы существования хаоса, формы его подкожного биения и щелевого выглядывания. В некотором смысле этот пленный, но живой и вечно голодный хаос пишет сам, а мы за ним только записываем. И в этом же смысле появление новых «петербургских» поэтов на каждом последующем историческом этапе обозначает прежде всего одну, для всех нас жизненно важную вещь – город, этот страшный, вонючий, любимый, цепями прикованный к дельте кит, жив, еще дышит, еще вздрагивает, еще скидывает с себя и давит людей, кормит их своим потом, своей кровью, своим болотным, блаженным выдохом-газом. Если я читаю стихи Игоря Булатовского, то первоочереднее, чем сами стихи (пусть простит мне их автор), именно это ощущение: город жив. Весьма сомнительное удовольствие сидеть на последнем, самом нижнем суку родословного древа – шавки подпрыгивают и норовят ухватить за штаны, и не в кого самортизировать, падая¹. Нет никакого удовольствия быть

¹ Просто для наглядности: Некрасов, падая и помня Бозио, зацепляется ружейным ремнем за оглушенного революцией Блока, а тот, когда приходит его черед, растопыривается на весу, растянут между «жидочком» Мандельштамом и «соблазнительной» Ахматовой. Соскользнувший «французский каблук» Ахматовой всей тяжестью вонзается в рыжее пролетарское плечо Бродского и т.д. Об этом-то «и т.д.»

(или чувствовать себя, что, впрочем, одно и то же) последним поколением, так что с радостью перехожу к следующему.

Игорь Булатовский родился в 1971 году. Как видно из этой даты, ранняя юность его пришлась на 90-е годы, годы неразберихи, крушения пусть поганых, но все же устоев, мелькания мод и, в общем-то, еще пущего одиночия, чем упорядоченные годы позднего советского демивьержества. В 90-х годах все население России оказалось «в эмиграции», и те, что не сдвинулись с места, – в не меньшей, если не в большей степени, чем те, кто уехал. Страна (уже) стала другой, они (еще) оставались прежними. Петербург всегда был «другим», даже будучи Ленинградом, а теперь стал другим вдвойне, втройне, расстояние от нас до него увеличилось еще больше и вышло за пределы выносимости, а значит, и за пределы страдания. В том, что город в стихах Булатовского – «чужой город», нет ничего удивительного: Петербург в петербургских стихах – всегда «чужой город», начиная с первого петербургского поэта Михаила Собакина (1720 – 1772). Город, не принадлежащий тебе – принадлежащий сначала чудотворному основателю, «российскому полубогу и мессии», потом стихиям, государственным или элементарным, а после семнадцатого года – только себе самому (отчетливо начало осознания этого у Вагинова). И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не людям, которые его по случайности населяют. Но никогда еще не был петербургский поэт «эмигрантом» в собственном городе, то есть человеком, ничего иного и не ожидающим от места, где он живет, кроме чуждости, кроме полуразборчивого гула чужого языка. Пассажиром. «Вжался в кресло пассажир / Чугунным изваянием, / И слезит оконный жир / У самых губ – дыханием. // Видит он свою в окне / Лишь голову пропащую, / В желто-розовом огне / Огромную, летящую...» Дорогого стоит и особую,

(но не т.п.), о его возможности, собственно, и идет у нас речь. Но как же весело представлять себе это дерево, усиженное ворочающимися грузными птицами, частично (см. основное изложение) в штанах.

дорогую ясность сердца показывает этот бесстрашный взгляд. Особую способность страдания за пределом страдания. Можно было бы даже назвать этот тон, этот взгляд, эту ходасевичевскую голову своего рода новоэмигрантской поэзией, условно говоря, «парижской нотой» какой-то, если бы это словосочетание не было зафрахтовано Георгием Адамовичем и не скреплено литературно-исторически с набором примет, которым петербургские стихи не могут и не хотят соответствовать². Город Булатовского, взятый как непосредственная среда обитания стихов, – это, конечно же, город, куда едут на троллейбусе и в трамвае: Ленинград новостроечно-го расширения («...Где пустырей и проспектов край / Намокшей лежит бумагой») или в крайнем случае «Питер»³ – фабричный, распивочный, рабочий, матросский («Деревьев чертеж и цех в разрезе / Ведет рейс-федер тени оград...»), а если и классический Петербург, то откровенно сфокусированный под литературной

² Кстати, отмечал ли кто-нибудь, что требования, выставлявшиеся Адамовичем к молодым эмигрантским поэтам (изящество, искренность, скромность и свежесть), практически идентичны мечтанию об идеальном матросике или жокее? Не приходится сомневаться, что «сформировать» реальных матросиков и жокеев в соответствии с этим идеалом оказывалось несравненно труднее, чем парижских поэтов. Если вообще удавалось.

³ «Питером» Петербург до революции называли матросы (и бравирующие «простонародным» великие князья Константиновичи, специализированные по военно-морской части), крестьяне-отходники, угрюмые мастерские. «Бока повытер» и т.п. Даже чисто географически «Питер» – это лишь часть Петербурга, а никак не целое – Нарвская застава, Балтийский завод и пр. Нынешнее, как бы само собой разумеющееся употребление слов «Питер», «питерский» на мой личный слух звучит отвратительно. Оно ведет свое происхождение из историко-революционных фильмов, было в 60-х гг. подхвачено несколько не разобравшимся поколением Бродского, а сегодня усиленно подкачивается извне – из Москвы и из самых из окраин. Они думают, что мы так говорим. Если мы так говорим, то очень плохо делаем.

лупой⁴. Может быть, именно из-за этой, сознательно выбранной или сознательно принятой крайности места и времени последняя книга Булатовского (и стихотворение, из которого цитируют предыдущие скобки) называется «Полуостров»: не в географическом смысле полуостров, а наполовину остров (уже? еще?) в вагиновском, гиперборейском смысле. Уже или еще? – это вопрос и к самому поэту, к его дальнейшему развитию.

Стихи являются стихами, если у них есть дыхание. В противном случае говорить о них нечего, сегодня, вне государственной (XVIII век) или общественной (XIX век) надобности, никакое высказывание само по себе не имеет такой важности, чтобы выговаривать его регулярными стихами. Индивидуальные «чувства и мысли» («люблю Любу», «закат очень красивый», «умение отличать ампир от барокко является таким же естественным качеством городского человека, как умение отличать сосну от березы – качеством человека сельского» и пр.), чтобы быть высказанными, совершенно не нуждаются в рифме и размере – без всякой информационной потери их можно изложить и более простыми способами, что все чаще и делается. В этом смысле сегодняшний «молодежный верлибр» является не антиподом, а естественным развитием «культурного советского стихосложения в столбик» или, в иных (условно говоря, «арионовских») проявлениях, его оборотной стороной. Только дыхание оправдывает применение такого в высшей степени неестественного способа изъясняться, как метрическое стихосложение. Почему? Потому что и мы принимаем участие в процессе дыхания поэта, и нам достается этот воздух, добытый им из звукового хаоса. Стиховое дыхание – вещь малоопределимая, но тем не менее совершенно реальная, физическая, возникающая не в звукоизвлечении, но между ним, не в согласных, но в гласных. Назначе-

ние согласных твердо встать и раздвинуться, выпустив гласные длиться и колебаться. Любые технические ухищрения, применяемые поэтом, служат одной-единственной цели: найти у себя (у себя в голосе, у себя в теле, у себя в пространстве, у себя во времени) места выхода воздуха и укрепить их, желательно навечно, фундаментами, подпорками и лесами. Индивидуальная поэтика и есть спецификация воздухообывающего оборудования. Техническая, стихотворческая оснащенность Игоря Булатовского так глубока, что почти незаметна, так естественна, что вызывает иногда подозрение в намеренной наивности⁵: «Деревья и цветы, трава, листва и злак, / Земля, песок и грязь, и лед, каким одеты / Смертельным солнцем там (иль космами кометы)?» Его филологическая искушенность (там, где она является инструментом, а не целью) позволяет откровенно, но не выпирающе использовать довольно экзотические техники (например, логаядические элементы⁶) и непри-

⁵ А иногда не вызывает.

⁶ Логаяд – термин из античного стихосложения, обозначающий сочетание неодинаковых стоп, правильно повторяемое из строфы в строфу. При переносе на метрическое стихосложение возникают теоретические сложности, связанные со свойством русских размеров переходить в определенных условиях один в другой, сливаться в дольники, разваливаться на тактовики и т.п. «Логаядические элементы» у Булатовского подразумевают вкрапления разноразмерности и притом только те из них, какие позволяют проследить возвращаемую закономерность. Например, стихотворение «Срезает угол день...» – полное повторение ритмического узора каждой четвертой строчки, не совпадающей при этом по узору с предыдущими тремя. В очень расширенном смысле это и есть «логаяд», а даже не «элемент». Я давно уже подозреваю в логаядических конструкциях последний резерв расширения метрического репертуара русского стиха, но использование этого резерва требует от автора отчетливого пространственного мышления, осознания текста не (только) как информационной последовательности, но как результата одновременного существования всех составляющих элементов. Возвращение метрических сочетаний – не фокус, а особый склад слуха и понимания, склонность к которому у Игоря Булатовского, по всей очевидности, присутствует.

⁴ Что иногда ведет к прямой стилизации, филологически чрезвычайно компетентной и искусной (см. например, написанную «за Комаровского» поэму «Цветочница»), но лично для меня не представляющей непосредственного интереса.

нужденно располагать интонационные или образные цитаты. Но самое главное – мы слышим дышащий голос и так ли уж (для нас) важно, с помощью каких приспособлений поэт этого добивается? Голос кажется тихим и прерывистым, смахивающим на медленную задумчивую скороговорку, я бы сказал, на гармоническое бормотание, если бы по случайности давней моды все на свете не именовалось (одобрительно) бормотанием. Однако стоит ли дальше об этом? Не лучше ли дать этому голосу дозреть, достичь полной определенности своего инструментария, самому разобраться со своей терминологией. Многие стихи «Полуострова» и почти все, написанные после него, позволяют говорить о сосредоточенном и осмысленном движении в эту сторону – к себе, к полной свободе дыхания.

Олег ЮРЬЕВ

Мытарства земные и небесные

●
Борис Евсеев. ОТРЕЧЕННЫЕ ГИМНЫ. Роман. ИД «Хроникёр», М., 2003.

●
Признание романной модели неким центром притяжения (мнений, споров, интерпретаций) расценивается нынче критиками и литературоведами как... показатель «упадка жанрового сознания в литературе». Недовольные романном бумом констатируют: «В современной литературе один жанр выдвинулся на несообразное по сравнению с предыдущей эпохой место, едва ли не поглотив всю литературу в целом... Этот жанр – роман. Ныне роман есть везде... Современный роман – наджанровое, сверхжанровое образование» (С. Зенкин. Введение в литературоведение. Теория литературы. М., 2000).

Внутренняя объемность в охвате жизненного материала, множественность сюжетных линий, типологичес-

кая многоуровневость, разветвленность структуры, многогранность, многоголосье – таковы основные признаки жанровой модели. Сразу подчеркну: с формальной точки зрения все они соблюдены в «Отреченных гимнах», и строгому критику здесь вроде бы придаться не к чему. Речь идет, если мы всерьез задаемся вопросом о состоятельности евсеевского романа как жанра, об ограниченности повествовательного синтеза – о целостности и слиянии авторского «я» с рассыпанными по тексту перипетиями, коллизиями, лицами и фигурами речи, событиями, душевными состояниями, языковыми жестами и поведением героев и персонажей и т.д. Впрочем, в данном случае, имея перед собой образец современной метапрозы («романа в романе»), лучше обратиться к авторской концепции жанра – на уровне авторского замысла и общих положений и высказываний «автора», зафиксированных в самом тексте.

Борис Евсеев не только вводит в свой роман «доподлинный» эпизод передачи таинственной незнакомкой «заготовок к роману» в виде документальных аудиозаписей (осовремененный вариантустаревшего «рукописного» мотива), но излагает под маской фиктивного автора предысторию замысла. Некий издатель находит загнанного жизненными обстоятельствами в затхлый подвал будущего романиста, дабы предложить ему стать литобработчиком коммерческого сюжета: «Вам надо написать крупную вещь. Роман, пожалуй, – рекомендует издатель. – И сюжет есть! А издательство наше роман с таким сюжетцем... э... вообще на такую тему враз и тиснуло бы».

Что это? Подтверждение выше процитированного прогноза о низвержении высокого жанра в пучины рыночной экономики? Не будем торопиться с ответом. Несмотря на гневное отторжение героем «гносного предложения», сопровождающееся пылкими сентенциями о чистоте жанрового канона, сам факт привлечения читательского внимания к этому «предложению» запускает механизм читательской рецепции в определенном русле. И действительно: почему сюжет романа обязательно должен быть некоммерческим (то есть вя-

лым, незанимательным)? Тема – скучной (то есть не злободневной для читателя)? А воссоздаваемые события лишены идейно-эстетической содержательности, динамики, драматических поворотов, сшибки характеров – короче говоря, всего того, что и составляет душу и плоть нашей современности?

«Какая тема? – то ли вопрошает, то ли восклицает «автор» в «Отреченных гимнах». – Никаких отдельных, вырванных из материи прозы тем для романов никогда в России не существовало. И хоть поговаривали умники, будто дал когда-то темуромана Гончаров Иван томному Ивану Тургеневу – я в это не верил. *Есть, есть в наших романах нечто неделимое, не рассекаемое на тему, фабулу, сюжет! Есть в них некое потаенное единство и слитность. Но слитность эта вовсе не темой зовется!*»

А чем же?.. Вчитаемся еще раз в выделенные фразы процитированного отрывка, прочувствуем их интонацию, ибо интонация – тоже образ, тоже мысль, а значит, если и не ответ, то хотя бы намек... «Ужели *слово* найдено»? Ну, конечно же, вот оно: «Этот стон у нас песней зовется». А вот и ряд: «стон – песня – гимн» (и наоборот), разомкнутый в противоположные концы обыкновенной российской истории, отражающий органическое единство ее антиномичных начал и жанровую специфику. Эфемерная «материя д.», запечатленная первоначально на магнитных пленках, перетекая в «материю романа» и растворяясь в ней, наполняет его (роман) предметно-изобразительные формы неким трансцендентным смыслом. Так создается эффект завершенной незавершенности – сотворения романа самой жизнью, разомкнутой в бесконечность, загадочной, странной, достигающей апогея в слиянии влюбленных душ, религиозных откровениях – и волей автора загнутой в рамочное пространство жанровой модели: «...роман вчерне схвачен, распихан и уложен по кусочкам в блокноты < ... > уничтожены те невидимые нити, что связывали меня (то есть фиктивного автора. – А.Б.) с самой плотью, с «материей» романа. С той «материей», что, почти целиком оставшись на касетах, три дня и две ночи мучила меня

невозможностью взвесить на ладони то умирающие, то вновь воскрешаемые души людские».

Итак, главной «авторской» целью «романа в романе» становится поиск «ключиков-подходов к чужим душам». В этом едином устремлении – а также открыто декларируемой «замене» привычной «конкретно-социальной действительности» как объекта изображения на сакральную и непознанную «материю д.» – создаются основы для внутренней слиянности разрозненных фрагментов художественного мира, сколков движущегося бытия. «Материя р.» – не просто отражение его материи, не только его аналог, но особая субстанция: живой, развивающийся по своим законам мир «авторской» души. И здесь особую роль начинает играть тот самый сюжет, о котором (совсем в духе нашего практичного времени) спорят герои в начале романа.

Завязку составляет попадание героя – правнука бывшего домовладельца и заводчика Василия Всеволодовича Нелепина – из тихой провинции в тревожный московский октябрь 1993 года. После пролога – с предысторией возникновения «этого романа» – перед нами возникают картины осады Белого дома, «хаос стрельбы» в сцене расстрела мирных жителей. Параллельно возникает альтернативная линия, где претворяется традиционная для русской литературы XX века ситуация нравственного испытания, однако теперь в мистическо-религиозном аспекте. Речь идет об испытаниях (а точнее, лабораторных исследованиях) сверхтонкой «материи души» в научной организации, отпочковавшейся от Минобороны и работающей под прикрытием полукommerческой фирмы «АБЦ-Холзан». Во время лабораторных опытов «испытываемого» погружают в трансцендентное состояние, чтобы на время «отделить» душу от тела и исследовать причудливую «материю д.». Таким образом, в социоисторическое пространство романа, вмещающее множество сюжетных линий (не только связанных с деятельностью странной фирмы, но и с работой «Аналитической газеты», жизнью провинции, а также с историей любви Нелепина и Иванны), влетают философыско-

фантастические мотивы, которые вызывают в читательской памяти недавние увлечения нашей интеллигенции. Природа души как особой материальной субстанции переходит у «автора» в предмет «научного» осмысления в фантастическом сюжете о фиксации души на пленке, своеобразной «записи» ее биологических свойств и т.п. Историко-философскую же подоснову религиозной линии составляет мотив *мытарств русской души, ее испытаний в огне политических расстрелов*.

Верхним – и высшим, согласно философскому замыслу писателя – становится в романе «сквозной» (и самостоятельный) сюжет о *мытарствах души*, видения которых возникают у испытуемых и записываются на пленку исследователями. Рассказ о мытарствах земных переходит в воссоздание картин мытарств, что выпадают покидающей тело душе.

«Вопрос о мытарствах сложен. Современный уныло-рациональный, «прогрессивный» ум с трудом принимает их, – отмечалось в публикации отрывка из романа «Литературной газетой». – Православие... стоит на пороге настоящего осознания всей значимости этого духовного подвига. Стоит хоть краем глаза заглянуть в труды Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, Иоанна Максимова, полистать «Добротолюбие», познакомиться с видениями св. Иоанна Милостивого, св. Макария Великого или блаженной Феодоры – и становится ясно: мытарства – пробный камень нашей веры, нашей души.

В романе «Отреченные гимны» все двадцать мытарств (*впервые в русской литературе столь серьезно выписанные*) имеют и еще один очевидный смысл: *за все на земле содеянное человеку придется так отвечать!*»

«Сквозной» сюжет об испытании мытарствами соединяет пролог и финал романа, неся идею не только ответа и ответственности человека за свои деяния и помыслы, но и спасения (по меньшей мере надежды на нравственное очищение и возрождение). Онтологическая парадигма романа задана еще мистическим прологом об отречении героя от жизни, отрыве души от изувеченного, израненного тела. Реализация метафоры «странствия души» совпадает с мы-

тарственной линией: герою кажется порой, что он действительно умер – где-то в Верхнем Предтеченском, близ Большого Дома. В конце романа читатель узнает, однако, что Нелепин был на самом деле испытуемым, подопытным: над ним, его душой, поначалу «работали» с приборами в лаборатории «фирмы», затем отцы церкви испытывали его душу. Закономерно финальное спасение героев (Нелепина и Ивановы), прошедших сквозь земные и духовные мытарства. Спасение приходит в финале вместе с отцом Иваном, священнослужителем, может, даже святым: идея спасения, как и в агиографии, проецируется на образы святых, райских мест.

Итак, романное действие от пролога до эпилога вбирает две взаимодействующие линии – земных и духовных мытарств. Очевидно, «автором» движет сверхидея: *собрание распадающегося мироздания* на высшей, не подвластной историческим катаклизмам, основе. Разрыву социоисторической реальности и призвана противостоять метареальность сюжета о мытарствах души и поиске духовной слиянности с миром. В русле традиции П. Флоренского возникает в финале романа образ воздымающегося к небу «огромно-живого столпа»: «Здесь-то, в этом высшем человеческом душепоточе, никаких сдвоенный, никакой борьбы уже не было. Только вечное ожидание! Одно бесконечное круженье! Только личное бессмертие – без права продолжения рода и без передачи одной и той же души разным вместилищам! Здесь летели души святителей и души юродивых, души невинно убиенных и пострадавших за веру...»

Роман Бориса Евсеева по замыслу призван посылно ответить на «зов литературного времени». Удалось ли это автору – судить читателю. В задачи критика, литературоведа входит обозначить внутреннюю цель, ее созвучие общей ситуации на небосклоне нашей изящной словесности и по мере возможности отстоять высокий порыв «Отреченных гимнов». А порыв такой есть, он сквозит в каждой главе романа – даже если волевая авторская длань опускает читателя вместе с затейливыми героями в самое чрево подземной Москвы, в логовища бандитов и провинциальные притоны местной

элиты. Но... сквозь это, сквозь! Туда, где чуть брезжит, разгораясь неугасимым светом, лампадка истины и красоты, высокой человеческой духовности. Брезжит сквозь неизбежность народных страданий (но не культ их!), политперевороты, расстрелы...

Светит, летится сквозь морок и хмарь извечных мытарств рода человеческого, не переставая дарить неизъяснимое блаженство, «словесная мелодия чудных и берегающих нашу душу и в небе и на земле ангельских песнопений: сиречь – гимнов».

Алла БОЛЬШАКОВА

Русские в Германии

DIE RUSSISCHE LYRIK. Herausgegeben von Bodo Zelinski unter Mitarbeit von Jens Herlth. «Bohlhau Verlag», Koln-Weimar-Wein, 2002.

«Вопреки мнению усталых, злорадно-равнодушных людей, грустно заявляющих, что стихи отжили свой век и вообще более не нужны, – я утверждаю, что стихи необходимы, естественны и вечны» ... Эта фраза З. Гиппиус и сейчас не утратила актуальности.

Свидетельство тому – выход в свет в Кельне книги «Русская лирика», одного из томов серии книг о русской литературе, предполагающей также тома «Русский роман», «Русская драма» и «Русский рассказ».

Само по себе появление такого рода книги, притом за рубежом, значит очень многое. Во-первых, оно говорит о возросшей роли поэзии и необходимости осмысления уже накопленного наследия. А во-вторых, давно известно, что именно лирика как наиболее субъективная форма творчества сложнее всего переводится и воспринимается иностранным читателем. Потому для понимания общего смысла употребленных поэтом слов, для проникновения во все глубинные прелести стиха (а русско-го стиха в особенности) читателю необходимы еще серьезные истори-

ческие, общекультурологические знания и хотя бы частичное представление о судьбе поэта. Именно целостной подачей материала и отличается представляемый сборник статей разных исследователей (в основном, немецких), охватывающий временные рамки с XVIII по XX век (от М. Ломоносова и Г. Державина до Д. Пригова и О. Седаковой). Статьи предваряет вводная глава, написанная одним из издателей – Бодо Зелински, обзор истории развития русской лирики от ее истоков до наших дней. Всего сборник содержит сорок девять трудов тридцати восьми авторов. Каждая статья посвящена анализу одного или нескольких стихотворений того или иного поэта.

Обращает на себя внимание помещенная в конце книги и занимающая без малого сто страниц библиография. Она содержит списки использованной литературы, сноски по каждой отдельно взятой статье и в полной мере демонстрирует объем и сложность выполненной авторами работы.

Построение книги отвечает основной ее цели: продемонстрировать с помощью наглядных примеров важнейшие литературные идеи и ценности эпохи, становление и развитие жанровых форм и рассказать о главных этапах творчества поэтов. Большинство анализируемых стихотворений обычно приводится во всех антологиях. Так, не вызывают недоумения «Вечернее размышление о Божием величестве...» М. Ломоносова, «Людмила» В. Жуковского, «К*» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» А. Пушкина, «И скучно, и грустно...» М. Лермонтова, «Сонет к форме» В. Брюсова, «Незнакомка» и «Двенадцать» А. Блока, «Письмо к матери» С. Есенина, «Бабий яр» Е. Евтушенко и др. Появление некоторых других стихотворений на первый взгляд не вполне оправдано. К примеру, что нам в первую очередь приходит в голову, когда мы говорим о И. Крылове? Знакомые каждому с детства «Слон и Моська», «Стрекоза и муравей», «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Мартышка и очки»... Но для анализа Хелене Имендерффер выбрала текст «Муха и дорожные», одно из относительно ранних и малоизвестных произведений Крылова. Басня

«Муха и дорожные» вошла в первый сборник И. Крылова, который принес баснописцу известность и вызвал нарекания со стороны противостоявших друг другу лагерей архаистов и сентименталистов. Отсутствие этой басни в числе наиболее часто печатаемых и цитируемых автор статьи объясняет проскальзывающими в ней эротическими мотивами («Учитель с барышней шушукают тишком ... Сам барин ... ушел с служанкой в бор искать грибов на ужин»).

Выбор Ульрихом Штельнером стихотворения «Недотыкомка серая» для анализа творчества Ф. Сологуба обусловлен тем, что Недотыкомка («существо без очертаний»), возникшая как персонаж романа «Мелкий бес», является как бы своеобразным представителем зла, темных сил, носит дьяволический характер. А «дьяволиада» и воспевание смерти («панихидная тоска» Сологуба) были характерными мотивами декаданса. Сам же мелкий бес, символический для Ф. Сологуба, не раз потом реализовывался как в стихах, так и в прозе автора.

«Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева (статья Олега Клинга) представляет собой образец позднего творчества поэта, одновременно содержа в себе новые устремления поэзии Гумилева (черты футуризма, имажинизма и даже сюрреализма) и «приметы былого»: символизма и акмеизма. Это одно из самых известных и сложных для понимания стихотворений Н. Гумилева получает в статье многостороннюю трактовку. Исследователь проводит много параллелей, касающихся как жанровой формы стиха (ее О. Клинг определяет как балладу, упоминая в связи с этим о развитии балладного жанра от бюргеровской «Леноры» и «Людмилы» В. Жуковского до «Перстня-страдания» А. Блока), так и его семантики. В качестве возможных прототипов Машеньки приводятся главная героиня повести А. Пушкина «Капитанская дочка», Мария Кузьмина-Караваева, Дева Мария и дантовская Беатриче. О Данте и его «Божественной комедии» упоминается также в связи со структурой стихотворения (центральный пункт обоих произведений – встреча с бывшей возлюбленной, которая ныне мертва, вагоновожатый – и провожатый Данте,

круги ада – и внутренний мир лирического героя как своеобразный ад).

Надо сказать, что еще одно существенное достоинство книги – демонстрация как во вступительной части, так и в отдельных статьях связи русской поэзии с европейской, преемственности идей и тем, философских взглядов авторов, а также причинно-следственных отношений в развитии жанров в России. Н. Некрасов, последователь ангажированной поэзии народной ориентации, как эпигон В. Жуковского и А. Пушкина – создателей поэзии «чистой», творцов «искусства ради искусства», апокалиптическое восприятие Ф. Тютчева, его экзистенциализм и «метафизика ночи» (созвучные тону Эдварда Юнга, Клопштока и Гердера, философии Шеллинга и лирике Новалиса); неточные рифмы А.К. Толстого и написанное без единого глагола стихотворение А. Фета, которые у современников вызывали зачастую только насмешку, а в начале XX века стали особенностями поэзии футуризма и символизма – все это получило отражение в отдельных статьях книги и связующими нитями проходит через всю ее структуру.

Кроме уже названных, во вступительной части составители затрагивают и еще одну особенность, также отражающую стремление к комплексному подходу в рассмотрении русской поэзии. Это влияние исторических событий опосредованно (через биографию авторов) или непосредственно на лирику (как на ее содержание, так и на общую идейно-тематическую направленность стихов). Особенно ярко его можно наблюдать в разделе, посвященном поэтам, писавшим в тяжелые для страны времена сталинских репрессий. Заключение и ссылка О. Мандельштама, Н. Заболоцкого и И. Бродского, эмиграция Д. Мережковского, К. Бальмонта, В. Ходасевича, Георгия Иванова, М. Цветаевой, ее самоубийство (как и В. Маяковского, и С. Есенина), расстрел Н. Гумилева – это тоже страницы истории русской лирики. Ведь история литературы могла пойти совсем по другому пути, сложись иначе жизнь творивших ее. Те или иные стихотворения зачастую либо бывали (в особенности на изломе истории) следствием пережитых поэтами со-

бытий, либо становились причиной изменений в их дальнейшей судьбе. И кто знает, что осталось бы нам в наследство от В. Маяковского, О. Мандельштама или А. Ахматовой, не случись в России революции...

К сожалению, не во всех статьях, посвященных творчеству перечисленных поэтов, авторы доводят намеченную проблему до логического завершения. Но этот «недочет» ни в коей мере не снижает общего высокого уровня сборника, скорее связан с тем, какую очередность задач принимает для себя исследователь: что выдвигает на передний план, а что не рассматривает, считая второстепенным или получившим уже достаточно полную трактовку в трудах предшественников.

Характерно, что несмотря на большое количество исследователей, принимавших участие в составлении сборника, их многоголосие не превращается в какофонию, а сливается в стройный хор. Каждый ученый строит работу на основе концепции, намеченной в объединяющей вступительной главе, развивая ее или давая свою, отличную от традиционной, трактовку материала. Такой принцип подбора статей позволяет избежать той узости взгляда, которая нередко встречается в больших сборниках, составленных одним автором.

Юлия ЧЕРНОВА

След в след

•
Афанасий Мамедов. ХАЗАРСКИЙ ВЕТЕР. Повести и рассказы. «Текст», М., 2000.

•
Афанасий Мамедов. ФРАУ ШРАМ. Роман. ИД «Время», М., 2004.

•
 Все вещи находятся в нас. Нет большей радости, чем при самопостижении обнаружить искренность.

Мэни-зэи

Объективности не обещаю. И не только потому, что она в принципе невозможна. Афанасий Мамедов –

мой любимый современный писатель, а также – друг моего детства (литературного, разумеется; подружился весной 1987-го), а также – мой соавтор (общая пьеса «Зажарить сокола», 1996), а также – пристрастный исследователь моих стихотворений (книга «Колыбельная для Одиссея», 2002). Писать о том, что любишь, – всегда писать почти о себе. Вот с этим *почти* я и попытаюсь разобраться.

Мамедов – автор двух романов. Первый его роман «Хазарский ветер» составлен из глав, печатавшихся в периодике как рассказы и повесть. И, как неоднократно отмечалось критикой, фрагменты жизнеописания героя романа, Афика Агамалиева, размещены внутри книги не в хронологическом порядке, а так, как они выходили из-под пера автора. Разновеликие осколки, оказавшиеся точно подогнанными, сложились в единую картину со сквозным, причудливо разветвленным сюжетом. Автор оставляет в этой картине несколько белых и прозрачных пятен, кажется, какой-то текст, связующий начало с концом, выпал из общего набора.

Второй роман Мамедова – «Фрау Шрам» (шорт-лист премии Букер-2003; изящная книга, выпущенная в серии «высокое чтение»; здесь же готовится к изданию новая книга рассказов А. Мамедова «Слон») – построен иначе: тут все «в притирку», без пропусков повествования.

Если о первых главах романа «Хазарский ветер» – цикле рассказов «Свадьбы», рассказе «Хазарский ветер» и повести «На круги Хазра» – много и подробно писала благосклонная критика, то о последних четырех рассказах книги, очень любопытных с моей, читательской, точки зрения, писалось гораздо меньше. Они, эти четыре завершающие главы романа, оказались *другими*, а потому не очень приняты и не очень-то поняты критикой.

Часть событий в этих четырех рассказах происходит уже в Москве, а это, согласитесь, не так экзотично, как в Баку. К тому же письмо стало взрослее, жестче, плотнее. Расширилось межстрочное пространство повествования, увеличился объем того, что остается за текстом. При этом резко снизилась заданная автором

скорость чтения. Автор написанного, как мне представляется, всегда задает читателю эту скорость. Я никого ни с кем и ничего ни с чем не сравниваю, но попробуйте по диагонали пролистать Джойсова «Улисса» – что останется? Ничего. Авторская мысль не всегда оказывается линейной. Плотное письмо, например, современная поэзия (а Мамедов, как мне кажется, гораздо ближе к поэзии, чем к прозе), чаще всего требует внимательного повторного вчитывания.

Если внимательно вчитаться в последние четыре главы-рассказа романа «Хазарский ветер», обнаружится, что каждая глава имеет внутренние смысловые подзаголовки, в каждой обозначены стихия и время года. Так, первый рассказ цикла – «Дедушкин дождь» – вода и весна. Второй – «Все равно шесть» – огонь и лето. Третий – «Время четок» – земля и осень. Четвертый – «Очертания облаков» – воздух и зима.

Все подвержено изменению – лишь мировой ритм вечен.

Весна, лето, осень, зима – годовой виток, кольцевая восточная модель мира, так отличающаяся от нашей – линейной западной. Мамедовская тема двойника (к ней мы еще вернемся) исключает дуальность происходящего: всякая вещь (или явление) может быть собой и в то же время другой. Мир не делится на «черное» и «белое». Мир одновременно и «черный» и «белый», и «да» и «нет», и «здесь» и «там».

В «Очертаниях облаков» Вагиф Исмаилович, отец Афика Агамалиева, просматривает на экране монитора черновик своей статьи «Аристотель»: «Над землей расположено 55 небесных сфер. Они подвижны, но вечны и неизменны, так как состоят из особого пятого элемента (после земли, воздуха, воды и огня), этот элемент Аристотель называет эфиром, «квинтэссенцией» и придает ему божественные свойства – неизменяемость, вечность, движение по круговым орбитам». Этот рассказ прозрачен, пронизан зимним бакинским ветром, в нем легко дышится.

Весь рассказ «вода» («Дедушкин дождь») – подсознательное ожидание южного весеннего дождя и обрушившаяся на Афика в конце рассказа гро-

за: «Дождь! Дождь за стеклом – больше глагол, чем существительное, глагол для живых и мертвых, примета места. Дождь за стеклом... Пролитивной. Настоящий. Можно, конечно, дать ему имя, но сколько было уже дождей и сколько имен они посмывали! Пусть этот дождь будет просто дождь. Просто дождь – и все».

Московские летние огненные искры рассыпаны по рассказу «Все равно шесть»: Афик жжет корабли, назревший разрыв героя с женой выжигает в нем восьмилетний кусок московской жизни.

Ключевой в этом квартете рассказ «земля» («Время четок») – осенняя московская подземка – «один из кругов Дантова ада», как мысленно называет ее Афик. Именно здесь, в духоте метро, чувствуя себя одной из «сельдей в бочке» вагона, герой увидел в темном стекле не написанную еще картину и пережил спонтанное (не побоюсь этого слова) озарение, обретая «способности к любви и радости»: «Меня бросает в жар, и я дышу тяжело и сбивчиво, как та рыба, которую тянут, колы она уже на крючке, как та рыба, которая одним глазом уже видит ловца, трепещущего от осознания, что бывают в жизни мгновения, когда ничего уже нельзя изменить, а другим – ослепительно яркий свет. Как та рыба, я хочу видеть лицо Евы, но тут понимаю, что у Евы нет лица, ее лицо засвечено, над отчетливым охристым воротом водолазки только овальный молочно-белый размыв...». И здесь же, чуть ниже, подробно описано состояние выхода из транса – боязнь потерять равновесие, полная потеря ощущения себя в пространстве и времени: «Никак не пойму, каким образом я проехал «Сходненскую».

Стою в центре зала. Боюсь пошелохнуться. Кажется, стоит только сойти с места, как тут же потеряю равновесие.

В одной руке сумка-портфель, в другой – книга.

Сколько времени я уже на «Планерной» – не знаю. Мимо меня текут люди. Оставляя следы на следах...»

То, что герой Мамедова пережил в этой самой низкой точке своей жизни несомненное откровение, подтверждает дальнейший разворот со-

бытий: жизнь Афика нормализуется, чужой город постепенно становится своим, у Евы появляется лицо любимой женщины, пишутся и продаются картины, заканчивается вечное бездомье. Однако к хеппи энду в традиционном его смысле все это никакого отношения не имеет. Мне кажется, права Наталья Малыхина, писавшая: «Афанасий Мамедов попытался дать своей книге счастливый конец – с любовью, творческим и материальным успехом, как это было принято в «романах воспитания». Но недаром читатель видит это счастье не «живьем», а на видеопленке, в далеком обнищавшем Баку, со стариками-родителями, которые побаиваются видеоманитофона. То ли правда – это счастье, то ли фильм такой, голливудский, с хеппи эндом. А тут еще врываются в комнату дети, с упоением играющие в бесконечный сериал «Санта-Барбара»...»

Я не случайно назвала эти четыре завершающие книгу главы квартетом. У каждого рассказа своя музыкальная тема, заботливо аранжированная автором.

В первом рассказе (вода, весна) – это стук дождя и белый джаз, звучащий из автобусного радиоприемника. Водитель протирает лобовое стекло «в темпе «аллегро».

Во втором (огонь, лето) – «музыка» головной боли и черный джаз (в тон масти купленного героями котенка – из главы в главу романа, меняя пол, рост, характер и окрас, переступает *кошка* – священное у древних египтян животное, сшивая главы ниткой своих следов): «Элла Фицджеральд пела колыбельную».

Третий рассказ (земля, осень) озвучен стуком колес поезда метро, тяжелым дыханием пассажиров, облепивших Афика, перебором вариантов перевода на азербайджанский русского слова «тоска». А еще здесь неслучайно звучат «Времена года» Чайковского и музыка Шенберга, которую герой романа никогда не слышал.

В заключительной главе (воздух, зима) музыка звучит с видеопленки, присланной Афиком родителям из Москвы. Пианист исполняет «Манию Жизели», эта мелодия и это место в романе акцентированы автором. И еще здесь звучит, конечно, ветер. Зим-

ний бакинский ветер со снегом.

Каждый из этой четверки рассказов, в отличие от рассказов, открывающих книгу («Свадьбы», «Хазарский ветер»), выстроен так же, как весь роман целиком: фрагменты калейдоскопа событий расположены без соблюдения хронологической последовательности, в течение описываемого времени параллельно впадают воспоминания героя, вызванные той или иной ассоциацией. Поток времени раздваивается (растраивается и т.д.). То же самое происходит с героями романа.

Тема двойника, впервые осторожно опробованная еще в повести «На круги Хазра», нарастает к концу романа и переходит в следующий роман Мамедова «Фрау Шрам»: «Тот, кто занял мое место, спит спокойно на моей кровати, накрывшись моим пододеяльником (одеяло вытащил: жарко ему, северянину), положив голову на мою же подушку с моей же наволочкой. Спит он – головой в ту сторону, где у меня всегда было изножье... может быть, во сне ему не двадцать восемь, а сорок два, он любящий отец, немного охотник, немного хранитель очага, немного преподаватель того самого института, который сам некогда окончил, – и, готовясь к очередной лекции, перечитывая «Ночные бдения» Бонавентуры, отводит взгляд куда-то чуть в сторону и представляет лицо одной из своих студенточек... или, закрыв глаза (вот точно так же, как они у него сейчас закрыты), слушает «Мой конец – мое начало» Гийома Машо. Может быть, кто знает, ведь там, на оборотной стороне век, возможно все, возможно даже – он видит сейчас тот же самый сон, что видел я в поезде или в самолете: ведь мир прозрачен, мир порист и сквозист, и в момент, когда он принесет жертву, он проснется». Это одна из последних сцен в романе, когда Илья Новогрудский, учась сложному искусству возвращения в точку отсчета, пробует «разобраться» с тем, кто занял его место в комнате на Патриарших прудах – молодым свердловчанином-екатеринбуржцем.

Поэтическое слово всегда неоднозначно (я настаиваю на близости романов Мамедова к поэзии). Тема двойника (не путать с шизоидным раз-

двоением личности) позволяет взглянуть на одни и те же события как минимум с двух, зачастую противоположных, точек обзора. Услышать (напомню о музыкальной компоненте текста) происходящее стереофонически.

В выше процитированной сцене, где главный герой романа разглядывает спящего двойника, отчетливо работают детали эпизода: сон, жертвоприношение во сне, рондо средневекового композитора, черепаховые очки (циферки на дужках в точности совпадают с телефонным номером самого Ильи Новогрудского в Баку), тридцать второй обертон, до которого добраться не дано никому, оставленный нательный крест... ряд možно было бы продолжить.

Атомы жизни постоянно расшатывают наше привычное, сросшееся с представлением о себе имя в этом пористом и прозрачном мире. Так Афик Агамалиев превращается в Илью Новогрудского: «...И раз восемь оттрекся от своего полного имени» («Люби и ошибайся»).

Метафизика Мамедова удвоена его метагеографией: «Потому что два города во мне, и я такой, каким они меня сделали» («Все равно шесть»).

Двоится не только герой Афик-Илья, но и читатель романов Мамедова. *Первому* читателю достается отфильтрованная «фальсифицированная автобиография» (о ней предупреждает нас сам герой в начале романа), написанная более чем живописно, с гибким сюжетом, обилием литературных приемов, разнообразие которых порою даже отвлекает от сути. То есть *первому* читателю достается тот самый текст, который Илья Новогрудский только намеревается написать и который этот *первый* читатель находит в романе в (как бы?) законченном виде.

Второму, более внимательному, читателю открываются маскарад, карнавал, захватывающая игра с литературными шедеврами («Чемодан» и «Компромисс» Довлатова, коротасаровский «Экзамен», «Король, дама, валет» и «Дар» Набокова), бесчисленные ходы, переплетения, ловушки и... как итог посвящения – становление на путь.

Название первой части – анабазис, выделенное автором, – это не только

название цветка, путешествия в глубь страны, но еще и посвящение, инициация. Снизшедшее откровение, по заверению знающих, мало чего стоит, если не приносит зримых плодов. Результатом посвящения, пережитого Афиком Агамалиевым в конце первого романа, является, смею утверждать, второй роман. Каникулярная кинематографическая история превращается в мистерию – роман «миста» Ильи Новогрудского: «Я иду не спеша по Малой Бронной. Я не знаю, куда иду, куда мне лучше идти, знаю только – надо добраться до утра до чего-то нового, а там поглядим, там посмотрим. В этом «поглядим-посмотрим», в этом взгляде, отведенном куда-то чуть в сторону, я уже без помех слышу Илья Новогрудский. Я иду по улице, по которой шагает вместе со мной мой роман. Эта улица, и эти фонари, и дождь, и мой роман говорят мне, что у меня нет другой дороги, кроме той, по которой я иду».

Пропуская главное, критики с удивительным единодушием почему-то больше всего обращали внимание на специфический антураж, социальную направленность, марш-броски в большую – родную и не очень – историю, экзотику любовных отношений.

Главная тема двух романов – победа над самим собой, по Мамедову – становление на путь. И эта тема решается писателем в двух романах поразному.

Афик Агамалиев – более цельная личность, чем Илья Новогрудский. В какой-то степени он жертва обстоятельств, той самой большой – родной и не очень – истории, он и в Москву-то попал после сумгаитского погрома. Он ошибается, но находит в себе мужество исправить ошибку и только после этого переживает «спонтанное озарение» в московской подzemке: видит Еву с размытым лицом, видит мальчика с шестью нанизанными рыбами (а рыбы, как известно, – символ просветления не только в христианстве, но и в буддизме).

«Мисту», участнику мистерии, Илье Новогрудскому повезло больше – судьба подкинула ему наставника – Христора Мустакаса. Все что от Новогрудского требуется, – «поймать быка», «встать на путь», как объясняет ему буддист Мустакис: «...тогда он предуп-

редил меня, сказал, что этот год будет для меня переломным, и, если я достойно выдержу все испытания, – непременно избавлюсь от сидения на двух стульях и наконец выйду на свою дорогу («поймаю быка»).

В романе «Фрау Шрам» больше масок, чем лиц. Это условие романа, с которым нельзя не считаться. Двойственность происходящего не дает однозначного ответа на вопрос: сняли свою маску, отказался ли от чужой истории главный герой романа. Но ведь это неважно, если: «Из всех возможных вариантов активирования реакции, отступившей внутрь тела и продолжающей существовать в нашем подсознании, – лично я теперь отдаю предпочтение игровой терапии и главным в игре, затеянной нами, считаю СТИЛЬ, СТИЛЬ как способ существования в изолгавшемся мире», – говорит Илья Новоградский. И я с ним согласна.

Почти согласна.

Ирина НЕРОНОВА

Король умер. Да здравствует король!

●
Наталья И в а н о в а. СКРЫТЫЙ СЮЖЕТ. Русская литература на переходе через век. СПб., «Блиц», 2003.

●
В XIX веке литературному критику полагалось иметь «систему». Более или менее отчетливое литературное мировоззрение, круг представлений о том, что хорошо, что плохо в художественной словесности, канон достойных внимания тем, священных имен, образцовых произведений. Таков был «скрытый сюжет» критика. С этим инструментарием можно было без опаски приблизиться к новинкам. Литературно-критические системы распались примерно тогда же, когда был утрачен вкус к систематической философии. Понадобилось судить о романе или поэме по их собственным внутренним законам. Пришлось отка-

заться от притязаний учить писателей, как им надо писать. Пришлось – я чуть было не сказал: отринуть всю традиционную литературную критику. В России, однако, попятное движение после 1930 года привело к тому, что литература под вывеской социалистического реализма стала последышем второстепенных представителей русского классического реализма XIX столетия, а социологическая критика выродилась в идеологическую.

С тех пор утекло много воды. Что же осталось? Поводом для этих размышлений послужила книга Натальи Ивановой «Скрытый сюжет. Русская литература на переходе через век». Что означает название книги? О какой русской литературе идет речь? Должны ли мы оценивать книгу критика по правилам самой критики – следуя знаменитому принципу, о котором писал Белинский: съешь сам!

Книга представляет собой итог многолетней работы (Н.Б. Иванова выступает как литературный критик с 1973 года). Это собрание статей, опубликованных в периодической печати за последние примерно пятнадцать лет. Значительная часть, если не большинство, обсуждаемых статей появилась в журнале «Знамя». Много успело за эти годы поблекнуть. Так быстро! Увы, это в порядке вещей. В начале 30-х годов минувшего века в Москве была выпущена книжка «Как мы пишем»: о своей работе рассказали «мастера современной литературы». Что осталось от этих мастеров? Лишь два-три имени уцелело в памяти неблагодарных потомков. Темпы смены литературных поколений с той поры чрезвычайно ускорились. Никто не знает, вспомнят ли о ком-нибудь из нас, не исключая великих и славных, через какие-нибудь двадцать лет. Но критика способна если не подарить бессмертие писателю, то хотя бы продлить его присутствие в литературе. Критика может пережить литературу. Многого, о чем трактует Н. Иванова, подернулось ряской забвения, во всяком случае, представляется не столь уж значительным. Тем не менее книгу читать интересно.

Ремесло литературного критика требует самоотверженности. Скажем сразу о том, что выгодно отличает автора от большинства ее коллег в

России. Это прежде всего сознание роли критики, ее задач. Понимание простой истины, что литературно-критическая статья не может быть поводом для самолюбования. Понимание того, что существует разница между профессиональной критикой и эссеистикой. Что суждения критика должны обладать известной определенностью, ведь в переводе с греческого «критиковать» и означает «судить». Читатель, для которого критик является литературным гидом, ожидает внятного ответа. И, наконец, недурно было бы помнить о том, что пишущий о литературе должен сам уметь хорошо писать. В отличие от множества критических отзывов, журнальных, газетных, электронных рецензий и т.п., статьи, вошедшие в книгу Натальи Ивановой, написаны ясным, непретенциозным, неболтливым, свободным от вульгаризмов, попросту говоря, нормальным русским языком. Редкое качество.

Книга состоит из четырех частей: «Линии» (краткое предведение автора поясняет, что, собственно, она понимает под «сюжетом»: «критические сюжеты возникают внутри литературной реальности... остается их распознать»); «Хроники» (обзор литературы по годам: 1986–2000); «Персонажи» (статьи об отдельных писателях); «Споры» (несколько работ о полемике последних лет). В книге обсуждается или хотя бы упоминается почти все обратившее на себя внимание за два последних десятилетия. При этом, однако, автор сознательно или невольно ограничивает круг своих интересов. Русская литература полностью выключена из европейского культурного и литературного контекста. Слово она существует где-то на дальних островах. Это, конечно, лишает книгу целого измерения. Другая особенность состоит в том, что в поле зрения критика попадает лишь та часть современной русской литературы, которая существует в России (исключение составляют три покойных писателя-эмигранта: Фридрих Горенштейн, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский). Наконец, вовсе не рассматривается переводная беллетристика, чье влияние и на писателей, и на читателей в нашей стране всегда было очень велико.

Книга приглашает к дискуссии – и я надеюсь, что так и произойдет. Общее возражение (сформулирую его сразу же) сводится к следующему: интерпретаторская критика преобладает над критикой литературных произведений как таковых. Когда читаешь критическую статью, любопытно, конечно, узнать, что скажет критик о новом романе неизвестного NN. Но еще интересней его взгляды на литературу *in toto*. Ведь мы живем в эпоху, когда читать художественную литературу слишком часто бывает куда скучнее, чем читать о литературе. Одна их главных установок автора книги «Скрытый сюжет» угадывается без труда. Это установка на интерпретацию. Критик охотно включает разбираемое произведение в актуальный социально-политический контекст, и художественная проза предстает как нечто вторичное по отношению к общественной жизни, как комментарий к переменам, которые совершаются в стране.

Статья «Сомнительное удовольствие. Избирательный взгляд на прозу 2003 года», посвященная нескольким модным писателям, главным образом В. Пелевину, не вошла в сборник, она появилась совсем недавно (в январском номере «Знамени» за 2004 г.), но может служить характерным примером такого подхода. «Самый серьезный и самый каверзный вопрос прозы года – это, получается, вопрос все-таки не художественный, а идеологический. Не вопрос уровня или качества текста, а вопрос <...> критики либерализма, либеральных реформ и их последствий». Этот вывод в конце статьи выдает автора с головой. То, что Иванова приписывает прозе, хорошей или плохой, не есть вопрос прозы, но установка самой Ивановой. Вслед за своими авторами она хочет быть злободневной. Может быть, это необходимое качество для литературной критики; мне, впрочем, кажется важной способностью, не игнорируя современность, подняться над актуальностью. Получается, что литература – симптом чего-то. В данном случае – кризиса либеральных реформ и т.п. Вам как будто хотят сказать: именно этим она интересна, в этом ее ценность. Если это *только так*, стоит ли читать такую литературу, от

которой завтра ничего не останется. Литературный анализ в собственном смысле, стилистика, поэтика, философия творчества, наконец, представление о литературе как о суверенном творчестве с собственными задачами, творчестве, для которого нет заместителей, – все это не то чтобы несущественно, но как будто вовсе не существует для критика. Важно не «как», а «о чем». Лишь изредка и неуверенно автор разрешает себе то, что когда-то именовалось эстетическим разбором.

Критик рискует попасть впросак, когда приходится говорить о собственно литературных проблемах. Статья «Преодолевшие постмодернизм» впервые опубликована в конце 90-х годов. К этому времени термин «постмодернизм», некогда введенный в литературный оборот Ж.-Ф. Льютаром, но быстро утративший свой первоначальный – и вообще скольконибудь определенный – смысл, окончательно вышел из моды. Автор статьи по-прежнему говорит о нем так, словно это слово еще что-то значит. Что же именно? Ветхая крыша: под рубрику постмодернизма подверстывается все что угодно, в том числе и то, что давно сделалось устойчивым достоянием прозы: нелинейное повествование, эксперименты с романым временем, ироническая рефлексия, пародирование классических образов или попросту исчерпавших себя, затасканных приемов. «Постмодернистами» оказываются весьма разнокалиберные литераторы: тут и славный Вл. Сорокин, и Валерия Нарбикова, и Татьяна Толстая, и Марк Харитонов, и еще дюжина мало похожих друг на друга писателей. Преодоление постмодернизма, по логике статьи, – это попросту чувство собственной исчерпанности (кто его не испытывал?) либо смена вышедшего из моды платья. Хорошо было бы учредить премию тому, кто внятно объяснит: что это такое – постмодернизм?

Можно спорить по поводу некоторых явно завышенных оценок. Военный роман ныне покойного Георгия Владимова, образец добросовестной эпигонской прозы, причислен (в статье «Дым Отечества») к главным достижениям современной литературы. Преувеличенно апологетическим

выглядит отзыв о романе Татьяны Толстой «Кысь». Статья «Цветок зла», отсылающая к Бодлеру, посвящена писателю, который вовсе не заслуживает обсуждения, – Эдичке Лимонову.

Ошибки? Есть, конечно, и ошибки, у кого их нет. В статье «Почему Россия выбрала Путина» рассказано о гротескной ученой конференции в Париже, посвященной творчеству коммерческой писательницы Мариной. В числе выступавших фигурирует докладчица Анн-Лор Энгель (на самом деле – Аннелоре, распространенное немецкое женское имя). Говорится о кильском университете «имени» Кристиана Альбрехта (все равно что назвать Карлов университет в Праге университетом имени Карла; на самом деле имя монарха, при котором был основан университет, по западной традиции служит наименованием университета). Здесь же упомянут университет «имени» никогда не существовавшего Леопольда Францена (Franzens – старинный родительный падеж от имени Франц).

Укорять автора, почему она не упомянула то-то, не коснулась той или иной темы, не положено. Все же бросается в глаза, что, создав что-то вроде краткой энциклопедии новейшей российской словесности, Н. Иванова обходит большой нерв современной литературы, ту самую веревку, о которой не говорят в доме повешенного. Похоже, что критик не слишком доверяет призывам покончить с разделением литературы на серьезную и массовую. (Они раздаются вот уже полвека.) Но как-то не решается сказать вслух о том, что представляют собой эти заклинания: приказ капитулировать перед рынком. Какая-то странная наивность сквозит в некоторых объяснениях (см. «Мой алфавит...»): «Массовая литература не виновата в том, что Настоящая Серьезная Литература теряет своих читателей. У каждой – они свои. Демократия вульгарна...» и т.д.

Литературному бизнесу в России скоро будет уже двести лет. Но мы окунулись в эпоху небывалого господства рынка над литературой. То, что называлось Читателем, сейчас называется Рынок. Не критики и уж, конечно, не сами писатели определяют реальный сиюминутный облик лите-

ратуры, ее витрину. Это делают жадные и беспринципные издатели. Когда мы говорим о вымирании культурного читателя, это просто означает, что для нас закрыт Рынок.

Все, что объединяется под названием кольпортажа, ширпотреб, масслита, – короче говоря, литературную пошлятину, – можно разделить на две главных струи: примитивно-развлекательную и скандальную. Рынок не просто обеспечивает им режим наибольшего благоприятствования. Капитализм в сегодняшней России следует моделям минувших веков: это рваческий, нацеленный на сиюминутную прибыль капитализм в условиях не успевшего стать на ноги правового государства. Все, что противостоит рынку, попросту сметается с пути. *L'art pour l'art*, искусство ни для чего: только для продажи.

Кажется, что это процесс, с которым никто не может бороться. В одной из статей книги «Скрытый сюжет» Наталья Иванова возвращается к надоевшим пророчествам о смерти литературы. Король, конечно, не умер. Но если литература, заслуживающая этого имени, все еще жива, то потому, что она научилась существовать вопреки, а не благодаря рынку – вопреки глубоко враждебной ей действительности.

Борис ХАЗАНОВ

Остров Крым и сад над ним

●
**А.П. Люсьй. КРЫМСКИЙ
ТЕКСТ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.**
СПб., «Алетейя», 2003.

●
Книгой «Крымский текст в русской литературе» издательство «Алетейя» открыло новую серию, которая так и называется: «Крымский текст». Ее автор, выходец из Симферополя Александр Люсьй, мыслит литературу вписанной в пространство и считает, что геопэтика (не путать с гео-

политикой!) позволяет разгадать немало литературных секретов. Во времена старые, советские, о его опусе можно было бы говорить как о работе по литературному краеведению: в своем пространным повествовании автор, кажется, не обошел стороной ни одной сколько-нибудь заметной фигуры литературного Олимпа, в чьем творчестве отразился «волшебный край». Однако по обилию цитат, по богатству игры со словами и литературно-историческими смыслами эта книга целиком лежит в нашем времени. Более того, она сама способствует активному переосмыслению русской культуры и включению ее в современную картину мира.

Опираясь на высокий знаковый статус полуострова, автор конструирует «крымский» текст по аналогии с выделенными ранее в филологии «петербургским» и «московским» текстами. Стихотворные произведения, а также великолепные сады, памятники архитектуры, море и горы, воспетые самыми разными поэтами, интересуют его в контексте крымского культурного кода в русской литературе и таврического мифа.

Словом «миф» сегодня обозначают очень разные, иногда полярные вещи. Его могут употребить, к примеру, как синоним «выдумки». А могут, наоборот, использовать в библейском смысле как память о том, что когда-то открылось. «Миф» Люсюго лежит между этими крайними точками: он своего рода рабочий инструмент, призванный объяснить феномен литературы о Крыме. И в то же время он – один из участников шутовского хоровода современности, и в любую минуту может обратиться в ничто, в симулякр, в утративший свою реальность образ.

Крымский миф, по Люсому, – это миф о путешествии и изгнании. Так было в дореволюционной России. Так было, добавим от себя, и при советской власти. Скажем, сюда по настоянию КГБ был переведен с тамбовской кафедры знаменитый святитель-хирург Лука (Войно-Ясенецкий). «Крым – это «Крайний Север» античности (и здесь вход в Аид), Крым – это «Крайний Юг» петербургского мифа (и здесь могла бы быть столица государства Российского). Таким образом,

задается проблема «точки зрения» – структура привносимого извне взгляда», – размышляет в предисловии о движении авторской мысли Мария Загидуллина.

Уже в первой главе возникает фигура «полузабытого, но гениального», по выражению Ю. Лотмана, «шишковиста» Семена Боброва, первопоэта Крыма. Отзвуки бобровской «Тавриды», утверждает Люсый, слышны в любых стихотворениях, связанных с полуостровом. Его поэма – всеобщий учебник (не только истории, литературы, мифологии, религии, философии, но и географии, ботаники, зоологии, топонимики). Возвращение бобровского «слоγοпада» в культурный обиход представляется А. Люсому своевременным и закономерным, в чем с ним нельзя не согласиться.

На смену энциклопедизму Боброва приходит романтизм К. Батюшкова, чья «Таврида» – образ страны счастливых влюбленных и поэтов, места «последних даров фортуны благоклонной».

Пушкинский Крым (этому посвящена третья глава) оказывается тесно связан с домом Ришелье, единственным европейским домом в Гурзуфе. «Петербургское» сознание поэта, считает автор, встретилось здесь с идеей равноценности природы и культуры, что и обусловило рождение хронотопа «счастливейших минут» с его диалектикой мотивов «покоя» и «воли», «бегства» и «сидения сиднем». Пушкин завершил формирование образа романтической Тавриды и одновременно задал «туристическую» матрицу: перед нами европеец, с любопытством рассматривающий местные достопримечательности, заранее готовый к радости и к разочарованию.

Крымский текст между тем движется дальше: Туманский, Грибоедов, Адам Мицкевич... О крымском путешествии польского поэта Р. Якобсон писал: «Это, по-видимому, единственный случай в истории литературы, когда путешествие, обогатившее мировую поэзию шедевром, было принято по инициативе полиции. Острота парадокса усугубляется еще и тем, что этот шедевр, «Крымские сонеты» Мицкевича, был обращен к его «спутникам путешествия», боль-

шинство которых находилось на службе у тайной полиции».

При помощи такого рода цитат Люсый выстраивает полусы мифемы: райского сада и места изгнания. В этой связи очень важно приведенное автором книги замечание крымских психиатров: «Почти все ученые и писатели, почтившие своим вниманием Крым, указывают на странное ощущение, возникающее у них на этой земле: с одной стороны, объективный творческий подъем, с другой – желание, полностью выразившись, умереть. Такое сочетание Эроса и Танатоса рождает особое чувство агональности, присущее лишь некоторым другим зонам Средиземноморья».

Среди множества возникающих в книге имен – Гоголя, Жуковского, Белинского, Леонтьева, Л.Н. Толстого, Тютчева, А.К. Толстого, Некрасова, Фета, Вяземского, Бунина, Анненского – особое место занимает Волошин. Как считает автор, поэт ниспроверг весь предыдущий опыт культурного освоения Крыма. О своих предшественниках и их произведениях легендарный житель Коктебеля говорил: «Все они славят красоты южного берега, и восклицательных знаков в стихах так же много, как в картинах тощих ялтинских кипарисов. Среди этих гостей бывали, несомненно, и очень талантливые, но совершенно не связанные ни с землей, ни с прошлым Крымом, а потому слепые и глухие к той трагической земле, по которой они ступали».

Свой поэтический долг поэт увидел в том, чтобы стать голосом этой земли. И это ему отчасти удалось: в начале века Коктебель был никому неведомой глухой деревушкой. Сегодня благодаря прожившему долгие годы в этом уголке Максимилиану Волошину и его стихам он превратился в один из самых памятных символов русской поэзии. Творческое воображение поэта буквально преобразило ландшафт: оно вяло его по образу символических форм культуры. Хотелось бы привести здесь только один упоминаемый Люсым эпизод. Волошин увидел в абрисе скал горы Карадаг свой профиль (ранее в этих очертаниях усматривали пушкинский профиль) и заставил в это поверить других.

И все-таки свое намерение поэт исполнил лишь отчасти: богемный «кимеризм» Волошина неотделим от туристического дискурса и отдыха в Крыму. Одни приезжали сюда лечиться водными процедурами, другие возили детей, третьи появлялись в поисках экзотики и любовных приключений. В одной из главок автор отслеживает советских и постсоветских поэтов, затерявшихся в общей массе отдыхающих. Возникают имена Чичибабина, Бродского, Микушевича, Чухонцева и даже мало кому известного Коробова. Почему-то автор прошел мимо Евгения Сабурова, хотя его история достойна упоминания. Известный поэт и экономист в начале 90-х целых полгода фактически возглавлял правительство Крыма. Можно сказать, что, сливая поэтические и политические коды, он удерживал экономику полуострова на плаву.

Так, постепенно, через многие поэтические остановки, мы добрались до современного Крыма. Сказать, что сегодня полуостров переживает непростое время, значит не сказать почти ничего. Став предметом политических вождений, зоной большого религиозного напряжения и национальных разборок, он для миллионов россиян превратился в далекий остров. Но не в тот аксеновский «Остров Крым» – воображаемый оплот Белой армии, а в некий анклав с непонятным – в том числе и в культурном плане – будущим. В этой связи мифическая модель сада – Рай – на фоне гибнущих парковых ансамблей (по мнению Люсого, соотношение сознательных и несознательных мотивов в ходе последовательного уничтожения Нового Кучук-Коя могло бы стать предметом специального исследования по социально-эстетической патологии) побуждает автора книги сделать неожиданное заявление: «Пришло время для компьютерной карнавал-реставрации Садов Тавриды».

Подобных неожиданных заявлений в книге немало. Заманив читателя, автор углубляется в стародавние времена – в историю приключений сурожан в Кремле, в экуменические поиски князя Николая Голицына, в празднество на Ходынке по случаю заключения мирного договора с Турцией. Крымская история, архитекту-

ра, ландшафт воспринимаются Люсым как единый текст. Мысль автора легко перетекает от истории к современности, от общественного к личному и теряется в крымском саду расходящихся тропок.

Крымский текст превращается в симулякр. И возникает наивный вопрос: а был ли ребенок?

Борис КОЛЫМАГИН

Потерянная связь

●
«PARIS-ПАРИЖ. ПО-РУССКИ О ФРАНЦИИ». № 1, 2001. № 2, 2003.

●
 Когда берешь в руки новый журнал, то прежде всего, разумеется, обращаешь внимание на его оформление, и лишь затем задумываешься о концепции.

Журнал «Paris-Париж» оформлен с отменным вкусом. Это и хорошая полиграфия, и эффектная, но не крикливая глянцевая обложка, и большое количество фотографий, цветных репродукций, рисунков.

Что касается содержания, то оно весьма разнообразно. Валерий Прийменко, главный редактор журнала, французский петербуржец, уже более двадцати лет живущий во Франции, осуществил попытку охватить культуру этой страны в целом, представить и литературу, и искусство, и философию, и историю. Есть у журнала собственная драматургия, тщательно продумана архитектоника.

Литературе, к сожалению, отведено немного места. Небольшие отрывки из романов Франсуа Каванны «Руссаки», Амели Нотомб «Оцепенение и трепет», Мишеля Луйо «Лотарингия» и Алена Боске «Прощание» не могут дать полного представления о произведениях, но, похоже, такой цели и не ставилось, ведь главное, по мнению Валерия Прийменко, как можно глубже и шире знакомить читателя «с разнообразными процессами культурной жизни во Франции – современной и

исторической». Более выигрышно, на мой взгляд, смотрятся стихи, рассказы и дневниковая проза. Например, ироничные и мудрые высказывания «Из записных книжек» Алена Боске: «В раю мне будет скучно: там уже не на что надеяться»; или: «Будь моя воля, я каждую неделю покупал бы себе два часа одиночества и два часа тишины. Будь я предпринимателем, я открыл бы в пригороде магазин, вокруг которого посадил бы цветы. И вот какую вывеску повесил бы я на своем магазине: «Одиночество и тишина – на любой вкус». Думаю, у меня нашлось бы несколько клиентов» (№ 2). Интересны размышления петербургского поэта и критика, работавшего в последние годы жизни литературным обозревателем в «Русской Мысли», Манука Жажояна (1963 – 1997): «Париж – нелепый, пресный, предельно эфемерный город. Он лишен запаха, он неосязаем, беспутен – и вполне возможно, что прекрасен; но его красота лишена дерзости, лишена простодушия; она, эта красота, помещански робка. Я не хочу сказать, что Париж мог бы пригреть, но не пригревает. Нет, он именно не может, не способен пригреть. Это столица деградации. Это город, где теряется самое дорогое для меня – лицо. Да, это город, где нет лиц» (№ 1). Такое субъективное восприятие, пожалуй, правдивее и глубже привычной хвалебно-восхищенной интонации в разговоре о Франции. Хотя вполне оправдано восхищение, когда речь заходит о культуре этой страны, скажем, в заметках искусствоведа Натальи Бродской о Лувре, о музее Клюни, Жаклин Разгонниковой о «Комеди Франсез», Франсуаз Баке о Соборе Парижской Богоматери, художника Сергея Голлербаха о Доме творчества братьев Герра: значение деятельности французского слависта Ренэ Герра, целую жизнь посвятившего изучению, сохранению и изданию литературы русской эмиграции первой и второй волны, трудно переоценить. Нынешняя русская проза, представленная в журнале именами Анатолия Гладилина и Дмитрия Бортникова, по-моему, оставляет желать лучшего.

Значительное место в «Париже» отведено критическим статьям. Здесь и размышления академика Жана-

Мари Руара о нашумевшем фильме «Восток – Запад» и «О судьбе романа в XXI веке»; и статья Жана-Батиста Арана о получившем за роман «Я ухожу» премию Гонкуров писателе Жане Эшенозе и многое другое. Но самое большое внимание Валерий Прийменко уделяет интервью, беседам с французскими и русскими литераторами о взаимовлиянии культур России и Франции, о возможности продолжения диалога, возможности восстановить потерянную связь. Вопрос, который Прийменко неизменно задает в разговоре, выявляет, на мой взгляд, концепцию журнала в целом. Это вопрос о налаживании новых культурных связей между двумя странами, попытка нащупать художественное сродство Парижа и Петербурга, наиболее ярко выраженное в творчестве поэтов «парижской ноты», дать представление российскому читателю о современном литературном процессе во Франции. Оказывается, и французские писатели не имеют представления о художественном мире сегодняшней России, затрудняются назвать какие-либо имена, кроме Солженицына и Виктора Некрасова. «Я плохо знаю современную русскую литературу» (из интервью В. Прийменко с Жаном-Мари Руаром). «Русскую современную литературу я совершенно не знаю» (из интервью специального корреспондента журнала «Paris-Париж» Филиппа Веше с Жаном Эшенозом). Ситуацию комментирует петербургский прозаик Самуил Лурье: «За последние тридцать лет реальный идейный контакт между культурами утрачен. <...> То ли потому, что действительно никаких философских иллюзий, чтобы не сказать идей, во Франции или во всей Европе не осталось, поэтому нам нечего заимствовать, нечего оспаривать, нечему подражать; то ли потому, что мы уже настолько стали равнодушны к любым формам духовной жизни, что чужая духовная жизнь нас просто не занимает, а мы являемся обыкновенными потребителями эстетических ценностей» (№ 1). Думается, однозначного ответа здесь быть не может. «Paris-Париж» – журнал, смело поставивший проблему, и не просто поставивший, а предлагающий реальный путь к преодолению культурного разрыва.

Поэтому тут есть статьи, посвященные живописи, скульптуре, истории Франции. В первом номере – «Париж в акварелях и рисунках Г. А. В. Траугот». Это издательский псевдоним художников из Петербурга братьев Александра и Валерия Трауготов, работающих в основном над оформлением книг. Париж в их восприятии совсем иной, чем, скажем, в восприятии Манука Жажояна. Пейзажи Трауготов чувственно-зыбкие, яркие и одновременно прозрачные, пропитанные движущимся теплым воздухом. Такой Париж способен «пригреть». Несмотря на то, что преобладают темные тона, образ города романтичен и свеж.

Статья Марины Магидович посвящена двум другим художникам, отцу и сыну, Александру и Кириллу Арнштамам. Оба живут в Париже. Александр – автор замечательных декораций к балету «Нана», Кирилл иллюстрирует современные французские романы. Цветные репродукции позволяют увидеть различие в творческой манере отца и сына.

Вместе с Натальей Бродской у читателя есть возможность заглянуть в мастерскую нормандского скульптора Розлин Гранэ; ее работа «Похищение под зонтиком» использована в оформлении обложки второго номера журнала. Мир в стремительном движении пытается передать Гранэ. Ее гипсовые персонажи будто вырываются из рук своего творца незаконченными, чтобы куда-то бежать; фигуры нарочито неряшливые, взъерошенные, в рваных, развевающихся на ветру одеждах. Поверхность гипса пористая, шероховатая, со впадинами и сколами.

Загнаны в журнале философские и религиозные проблемы, уделено внимание и архивным разысканиям. Любопытен отрывок из доклада Мишеля Нике, где речь идет об отклике французского декадента Жозефа Пеладана на трактат Л. Толстого «Что такое искусство?» Писатели расходят-

ся во мнениях о природе красоты и назначении искусства. Не искусство должно спускаться к зрителю или слушателю, а наоборот, считает Пеладан, отвергая толстовскую идею «опрошения».

Доктор философских наук Наталья Автономова в статье «Об открытости западной мысли» размышляет о доступности современной европейской философии для российского читателя. Не в смысле наличия на прилавках книг, а в смысле качественного перевода, нахождения адекватного философского языка «постмодерна», что представляет большую трудность из-за отсутствия у нас соответствующего лексикона, так как русская философская мысль, по мнению Автономовой, значительно отстает от западной и находится в настоящий момент в лучшем случае в состоянии «модерна».

И в первом, и во втором номерах помещены исследования о Пушкине, – возможно, отсутствие таковых редколлегия журнала сочла бы дурным тоном: французского филолога Луи Мартинеза (переводчика «Доктора Живаго») – о политике и религии в творчестве Пушкина и Леонида Шура – «Пушкин в архивах Франции», об автографах и неизвестных вариантах некоторых стихотворений поэта, хранящихся в библиотеках Франции и частных собраниях.

Проект Валерия Прийменко, безусловно, интересен как попытка возобновить традицию, восходящую к эмигрантскому периоду первой половины XX века. Правда, желание дать по возможности полную картину культуры современной Франции приводит к некоторой пунктирности; к тому же хотелось бы увидеть на страницах издания больше словесности. Но это лишь пожелание. Главное – «Paris-Париж» – журнал с собственным лицом и четко выраженной идеей.

Анастасия ЕРМАКОВА

Уважаемые читатели!

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

ОКтябрь

можно оформить в любом почтовом отделении России
по Объединенному каталогу «Пресса России» зеленого цвета.

Индекс для Российской Федерации –
73293

для подписчиков Москвы – стр.282

для остальных регионов – стр.242.

В странах СНГ подписка оформляется
по местным подписным каталогам.

Подписной индекс –
79209.

По льготной цене в редакции
(ул.Правды, 11/13)

можно:

- подписаться на журнал с очередного номера,
- купить отдельные номера текущего года,
- подобрать заинтересовавшие вас номера
прошлых лет.

Справки по тел. (095) 214 31 23

В розницу наш журнал продается:
в сети книжных магазинов «Букбери»,
в магазине «Проект О.Г.И.» – Потаповский пер., 8/12, стр.2.

За рубежом журнал «Октябрь» распространяет
американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc.3020
Harbor Lane, North Minneapolis, MN 55447 USA.

Tel. (612) 550 09 61, fax (612) 559 29 31.

В Москве тел. (095) 777 65 58, факс (095) 318 08 81).



СОЛДАТ

Четыре вьюги.
Четыре грома.
Четыре года
Ты не был дома.

"Жену обнимешь,
Увидишь сына,
Медаль покажешь
За штурм Берлина..."

Гремели трубы.
Звучали речи.
Ты жил в преддверье
Заветной встречи.

Однополчанам
Пожал ты руки.
Эх, кабы встреча
Да без разлуки!..

Владимир Лифшиц
"Октябрь", № 10, 1945 год



Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь, 2004. № 6. 1-192
Отпечатано в ОАО "Типография "Новости"